

НАДЕЖДА

ХРИСТИАНСКОЕ
ЧТЕНИЕ



ВЫПУСК 2



*Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою*

НАДЕЖДА

Христианское Чтение

ВЫПУСК 2

НАДЕЖДА

Составитель сборника
Зоя Крахмальникова

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1979
Frankfurt/Main
Printed in Germany

ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ,

ИЗДАВАЕМОЕ

ПРИ

САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ.

1867

СЕНТЯБРЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФИИ ДЕПАРТАМЕНТА УДѢЛОВЪ, ЛИТЕЙНАЯ, № 39.

Титульный лист одного из предшественников
данного сборника,
издававшегося с 1821 по 1917 года.

Иже во святых отца нашего
Григория архиеп. Фессалоникийского П а л а м ы

О М И Л И Я 37

*На всечестное Успение
Всепречистыя Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии*

И любовь и нужда понуждают меня сегодня обратиться с речью к вашей любви, не только потому, что я и желаю по моей любви к вам и долженствует мне, согласно священным законам, вложить в ваш боголюбивый слух спасительное слово и этим напитать ваши души, но и потому, что если что долженствует и любимо мне, так это вместе с похвалою от Церкви поведать величие Приснодевы и Богоматери. И, таким образом, эта любовь, будучи не единичной, а — двойной, побуждает, призывает и принуждает и непреклонно требует должного, хотя она и не в силах постичь то, что — выше слова, как ни глаз не может прямо взирать на солнце; поскольку же, в равной степени, с одной стороны — не возможно выразить словами то, что — выше слов, с другой же стороны — возможно, по человеколюбию восхваляемых, приносить им восхваления, то если отнюдь невозможно постичь непостижимое и словами воздать долг, то, по крайней мере, будет возможно любовь к Богоматери выразить в посильных восхвалениях. Если же честна смерть и преподобных, и память праведника (совер-

шается) с похвалами, то не насколько ли более — Святой святых и благодаря Которой — всякое освящение святым, хочу сказать — память Приснодевы и Богоматери подобает нам совершать с величайшими восхвалениями? Так это мы и делаем, празднуя сегодня Ее святое Успение или Преставление, которым Она малым чем отстояла от Ангелов, и всех Ангелов и Архангелов и над ними сущие сверхмирные силы без сравнения превзошла Своею близостью к Богу, сущему над всем, и от века написанными и совершаемыми относительно Нее чудесными вещами: потому что ради Нее — божественные пророчества боговдохновенных Пророков; чудеса, предъявляющие будущее великое чудо вселенной — Сию Приснодевственную Богоматерь; смены народов и положений, прокладывающие путь к совершению нового (необыкновенного) Таинства в отношении Нее; установления Духа, различным образом предъизображающие будущую Истину; конец, а лучше сказать — начало и корень бывших ранее чудес — исполнение обещания Божьего, данного Иоакиму и Анне, тогда сущим старцам, исполненным крайней добродетели: что они, бывшие бесплодными от юности, имеют родить в глубокой старости, и то родить Ту, Которая бессеменно родит Сына, безначально рожденного от Бога Отца прежде всех веков; затем, обет родивших так чудесно Ту, Которая имеет еще чудеснее родить, обет, заключающийся в том, чтобы отдать Данную Давшему Ее; в силу сего достойнейшего обета необыкновенное переселение Богоматери еще от детского возраста из отеческого дома в Дом Божий и чудесное пребывание в самых Святой Святых в течение длительных периодов, где под наблюдением Ангелов была питаема неизреченной пищею, от которой Адам не успел вкусить,

иначе бы он не лишился жизни, как не лишилась ее Сия Пречистая, хотя и была от его рода, и затем дабы показать, что Она — его дочь, нечто малое уступая природе, как и Сын ее, ныне от земли на небо преставилась.

Но, вот, после оной неизреченной пищи, последовало устройство относительно обручения Сей Девы, исполненное величайшей тайны, и целование (Благовещения) странное и превышающее всякое слово, бывшее чрез Архангела, пришедшего с небес, и Божий замысел и слова, сводящие на нет осуждение Евы и Адама и исцеляющие бывшее на них проклятие и превращающие его в благословение; ибо Царь всего, как предрек Давид, восхотел таинственной красоты Сей Приснодевы, и, преклонив небеса, сошел и осенил Ее, или лучше сказать — возобитала в Ней воипостасная Сила Всевышнего, ибо не чрез мрак и огонь, как это было в отношении богозрителя Моисея, и не как это было в отношении Пророка Илии — чрез бурю и облак явил Он Свое присутствие: но непосредственно, без какого-либо прикрытия, сила Всевышнего осенила всепречистое и девственное чрево, и ничего не было между сим, ни воздуха, ни эфира, ни чего-либо из чувственных тварей, или находящихся над ними; и это не — осенение, но — прямое соединение. Поскольку же всегда в природе бывает так, что то, что осеняет, тем самым налагает на осеняемое свою форму и свой образ, то не только соединение, но и формирование произошло во чреве, сформированное на основании того и другого: т.е. силы Всевышнего и оногo пречистого и девственного чрева, было воплотившееся Слово Божие*, и на земли явилось и общалось с

* В сравнении с изданной книгой „Беседы Святителя Григория Паламы“ (Монреаль, 1975, с. 113), в оригинале руко-

людьми, обожествляя наше естество, и даруя нам, по слову божественного Апостола, то — „в няже желают Ангели проникнути” (1 Петр. 1, 12). И сие есть превышающее естество прославление и преславная слава Сей Приснодевы, перед Которой уступает всякий ум и слово, хотя бы он был и ангельским. А то, что было после неизреченного рождения, какое бы, опять, выразило слово? Потому что сотрудничая и со-страдавая чрез Нее совершенному высокотворяющему истощанию Слова Божиего, Она справедливо и со-прославилась и со-возвысилась с Ним, приобщаясь превосходным приростом величий. Но и после восшествия на небеса Воплотившегося от Нее, Она превышающими мысли и слова принадлежащими Ей от Него величиями, так сказать, как бы соперничала с Ним выдержаннейшим и многовидным подвигом в добродетелях, молитвами вместе и заботами о всем мире, и советами и поощрениями, даваемыми проповедникам Слова Божия, во все концы земли; и Она единая была подпорою и вместе утешением для всех, как для слышащих о Ней, так и для видящих Ее, и всеми способами способствовала Евангельской проповеди; и таким образом явила жизнь в высшей степени подвижническую и образ жизни превосходный как в душевном устройении, так и в слове.

Вот посему, смерть Ее была жизненной, представляющей в небесную и бессмертную жизнь, и памятование этой смерти является радостным праздником и всемирным торжеством, не только обновляющим в памяти чудесные дела Богоматери, но также и пред-

— писи выпали две строки: „...воплотившееся Слово Божие. Таким образом неизреченно возобитало в Ней, и из Нее произошло носящее плоть Слово Божие, и на земли...” — И з д.

ставляющим общее и новое стечение священных Апостолов, (взятых) от всех народов, на всесвященное погребение Ее, как и богооткровенные славословия в честь Ее из уст боговдохновенных оных (Апостолов); почетная ангельская стража и воспевание вокруг Нее и служение предпосылающих, последующих, помогающих, препятствующих, защищающих, отражающих, и совоспевающих и содействующих всеми силами тем, которые воздавали честь живонаначальному и богоприемному сему телу, спасительному врачеству нашего рода, предмету торжества всей твари, — воющих же и противостоящих скрытою рукою Иудеям, богоборческою рукою и волею наступающим и противящимся; в то время как Сам Господь Саваоф и Сын Сея Приснодевы невидимо присутствовал и воздавал исходную честь Матери, в руки Которого и предала Она блаженный Свой дух, благодаря которому не много времени спустя и сочетанное с ним Ее тело было перенесено в присноживое и небесное селение, как это естественно и ныне в соответствии было с оным Таинством, которое имело действие в отношении Ее. Потому что многие от века обрели божественное благоволение и славу и силу, как и Давид говорит: „Мне же зело честни быша друзи Твои, Боже, зело утвердишася владычества их. Изочту их, и паче песка умножатся” (Пс. 138, 18). Многие, по Соломону, стяжали богатство и многие дочери „сотвориша силу”; Она же всех превзошла и находится выше всех мужчин и женщин, и то настолько, что это и сказать невозможно: потому что Она единственная, став посредницей между Богом и всем людским родом, Сына Божия сделала Сыном Человеческим, людей же сотворила сынами Божиими, землю онебесив и людской род обожив, и Она единственная из всех явилась

по естеству и в то же время выше всякого естества — Матерь Божия; вследствие же несказанного Своего рождества, Она стала Царицей всякой мирной и премирной твари; и таким образом тех, которые ниже Нее, в Своем лице возвысив и явив на земле послушание, не столь земное, как — небесное, и Сама став участницей лучшего достоинства и высшей силы и царского посвящения действием с небес Божественного Духа, Она стала Царицей возвышеннейшей над возвышенными и блаженнейшей над блаженным родом.

Ныне же и небеса имея подобающим жилищем, как соответствующим Ей царским дворцом, туда Она днесь преставилась и предстала одесную всех Царя, одетая в одежду позлащенную и преукрашенную, по слову сказанному о Ней Пророком Псалмопевцем. В выражении же: „одежда позлащенная” — разумея Ее богосиянное тело, „преукрашенное” всеразличными добродетелями; потому что Она единственная ныне с богопрославленным телом имеет пребывание с Сыном; потому что ни земля, ни гроб, ни смерть не могли окончательно удержать живоначалное и богоприемное тело, и обиталище более любимое (Богу), чем небо и небо небес. Потому что, если душа, имевшая в себе обитавшую Божию благодать, разрешаясь от здешней жизни, восходит на небо, как было очевидно явлено на основании многих фактов, и мы веруем в это, то как бы не только приявшая в Себе Самого пречечного и едиnorodного Сына Божия, вечный Источник благодати, но и родившее Его т е л о, не будет взято от земли на небо? И будучи еще трехлетней и не заключая еще в себе пренебесного Обитателя, и не родив еще Плотноосца, Она обитала во Святая Святых, уже таковыми и толикими дарами став превосходной

и по телу, ужели же Она станет землею, подвергнувшись тлению? И кто бы из разумно исследующих дело, нашел бы смысл в том, чтоб дело обстояло так? Посему родившее тело справедливо со-прославляется богоподобной честью с Рожденным им; и со-воскресает, — согласно пророческой песни, с прежде воскресшим после трех дней Христом, — Кивот Святыни Его; и доказательством для Учеников Ее воскресения из мертвых бывают плащаницы и погребальные одежды, единые оставленные в гробе, и единые обретаемые в нем для пришедших искать (тело Владычицы), как раньше было и в отношении Сына Ее и Владыки. Но для Нее не было нужды, чтобы Она еще некоторое время, — как была нужда для Ее Сына и Бога, — задержалась в земле; посему Она н е м е д л е н н о была взята от гроба в пренебесную область, откуда снова испускает на землю светлейшие и божественнейшие сияния и благодати, просвещая сим весь земной удел, и от всех верных поклоняемая, восхваляемая и воспеваемая. Потому что, когда Бог, пожелав поставить образ всего прекрасного и Свое подобие открыто представить и Ангелам и людям, тогда Ее до такой степени, воистину, всепрекрасной соделал, сочетая (в Ней) в целокупности все черты, которыми все Он украсил в отдельности; явив в Ней мир, созданный из сочетания видимых и невидимых прекрасностей; лучше же сказать, — явив Ее общим сочетанием и высшею красотою божественных и ангельских и человеческих всех прекрасностей, украшающей оба мира, от земли восходящей и даже до неба достигающей, и Своим ныне вознесением от гроба на небо даже его превосходящей, и соединившей дольний мир с горним, и вселенную исполнившей Своими чудесными делами, так что если малым чем Она была меньше

Ангелов, как было сказано в начале, имею в виду - тем, что вкусила смерти, но это лишь прибавило к превосходству Богоматери над всеми; отсюда и справедливо все торжествует и совершает торжество победы над смертью.

Подобало же, следовательно, чтобы Вмествившая Все-Исполняющего и Сущего над всем, и Сама превзошла все и была выше всего Своими добродетелями, величием Своего достоинства. И, следовательно, Той, Которая все те дарования, - которые, будучи разделены всем от века прекрасным существам, довели им для того, чтобы они прекрасными были, дарования, которыми обладают в отдельности все угодные Богу, как Ангелы, так и люди, - прияла в их целокупности единая, все осуществила и даже с избытком, скажу так, преуспела во всем, - подобало возобладать также ныне и этим, как бы качеством, сущим над всеми иными, именно: *стать бессмертной после смерти и единственной с телом пребывать на небе вместе с Сыном и Богом.* и изливать оттуда на почитающих Ее изобильнейшую благодать: тем самым даруя им способность восходить к Ней, сущей Солнцу таковых великих благодатей; подобало, чтобы Она, к превосходным дарам присовокупив Ее более усиленное чувство милосердия, никогда не прекращала сей обильной милости к нам и богатой щедрости. Итак, если кто воззрит на сие средоточие и источник всякого блага, тот признает, что Дева даровала то же совершенство в добродетели тем, которые живут добродетельно, что и солнце производит в смысле чувственного света и по отношению к живущим под ним. Если же кто, взирая на чудесным образом воссиявшее для людей от Девы Сей Солнце, Которое обладает всем и Своим естест-

вом превосходит те качества, которые усвоены Ей по благодати, перенесет свой мысленный взор на Нее, тот тут же провозгласит Деву – *Небом*. Настолько же Она стяжала более блистательное наследие в сравнении со всеми божественно-облагодатствованными, находящимися, как под небом, так и над ним, насколько небо – больше солнца, а солнце – светозарнее неба.

Какое слово изобразит, о, Богомати Дево, Твою богосиянную прекрасность; потому что то, что относится к Тебе, невозможно представить ни в мыслях, ни в словах? Однако, при Твоем человеколюбивом допущении, это возможно воспеть: потому что Ты – и Вместилище всех благодатей и Исполнение всякой благородной красоты, и Скрижаль и одушевленный Образ всякого блага, и всей прекрасности, как единая удостоившаяся принять все благодати Духа; лучше же сказать – и единая имевшая чудесно обитавшего во чреве Твоем Того, в Ком – сокровища всех благодатей, и состоявшая чудесной скинией Его; и к Нему сегодня путем смерти в бессмертие отошедшая, и справедливо от земли на небо преставившаяся, дабы в пренебесных скиниях на вечные времена обитать с Ним, оттуда заботясь о наследии Твоем, и неусыпными молитвами к Нему умилоствляя Его о всех. Как из всех приближающихся к Богу Она – наиболее близкая, так и больших, чем прочие, Богородица удостоена достоинств, я имею в виду не только – больше прочих людей, но – и самых всех ангельских иерархий. Потому что, вот, о высочайшем из их чинов Исайя так пишет: „И Серафими стояху окрест Его” (Ис. 6, 2); а о Ней вот, Давид говорит так: „Предста Царица одесную Тебе” (Пс. 44, 10). Видите ли разницу положения? На основании сего можете за-

ключить и о разнице в состоянии достоинства: потому что Серафимы – вокруг Бога; близ же Его Самого находится только всех Царица, Которой и Сам Бог восхищается и восхваляет Ее, как бы возвещая Ее окружающим Его (небесным) силам, и говоря, согласно реченному в Песни Песней: „Как прекрасна Ты, Ближняя Моя”, светлейшая света, более исполненная цветения, чем – Божий рай, более прекрасная, чем весь видимый и невидимый мир! Не только же Она – близ Него, но, по справедливости и – одесную Его; потому что там, где Христос на небесах воссел, т.е. – одесную Величия, там и Она предстала, ныне взойдя от земли на небо; не только потому, что Она любит Его и исключительным образом взаимно любима Им, что следует на основании и самых законов естества, но – и потому, что Она воистину – Престол Его; а там, где воссядет Царь, там и Престол Его стоит, Сей Престол и Исайя видел между Его херувимским хором и нарек его „высоким превознесенным”, являя превосходство Богоматери над небесными силами. Посему и вводит самых, восхваляющих за Нее Бога и говорящих „Благословена слава Господня от места Его” (Иезек. 3, 12). Патриарх же Иаков загадочным образом был зрителем его: „Яко страшно место сие”, сказал, „несть сие, но Дом Божий, и сия Врата Небесная” (Быт. 27, 18). Давид же иным образом изобразил это: сочетав в своем лице множества спасенных и употребив как бы некие струны или различные голоса, от различных родов приведенные Сей Приснодевой в гармонию единой веры, приступает к всегармоничной песни в восхваление Ее, говоря: „Помяну имя Твое во всяком роде и роде: сего ради людие исповедятся Тебе в век, и во век века” (Пс. 44, 18).

Видите ли, что вся тварь славит Матерь-Деву, и не в

проходящие лета, но во веки, и в век века? Из этого можно заключить, что ни Она не перестанет во все века благодетельствовать всей твари, и не только говорю в отношении нас, но и в отношении самих духовных и надмирных (ангельских) чиновачалий: потому что вместе с нами и они по причине только Ее являются участниками (обожения) и прикасаются к Божеству, к Сему неприкосновенному Естеству; это отчетливо представил Исайя: потому что он видел, что Серафим не непосредственно взял уголь с жертвенника, но взял при помощи клещей, при помощи которых коснулся и уст пророческих, давая (ему) очищение; сие видение клещей тождественно с тем великим зрелищем, которое видел Моисей: — купину огнем горящую и неопалимую. Кто же не знает, что Сия Девственная Матерь является и оной купиной и этими клещами, неопально зачавши Божественный Огонь, зачатую Которого служил Архангел, который посредством Нее сочетал с человеческим родом Этот Божественный огонь и этим отгял грех мира, и силою сего неизреченного соединения очистил нас? Итак, Она единая является границей между тварной и несотворенной природами, и никто не пришел бы к Богу, если только чрез Нее не был бы истинно озарен истинно-божественным озарением; ибо говорится: „Бог посреде его, и не подвижится” (Пс. 45, 6). Если же воздаяния бывают в соответствии с мерой любви к Богу, и любящий Сына бывает возлюблен Им и Его Отцом, и становится обителью Их Обоих, таинственно обитающих и ходящих в нем, согласно Владычному обетованию, то кто возлюбил Его больше, чем сделала это Его Мать? И не только по той причине, что Он был единственным у Нее, но и потому, что Она единственная родила без супруга, так что Ее любовь заключала

в себе двойную любовь, какую имеют и отец и мать к своему чаду. И, с другой стороны, кто — больше Матери был бы возлюблен Единородным, и то — неизреченно происшедшим от Нее е д и н о й в последние времена, как Он предвечно произошел от е д и н о г о Отца? Как ни быть умноженными сверх к подобающему расположению также и проявлениям долженствующей Ей, на основании закона, чести, со стороны Того, Который сошел для того, чтобы исполнить закон?

Итак, как посредством Ее единой пришел к нам, явился на земле и жил среди людей Тот, Который до Нее был невидим для всех — так и в будущем непрестанном веке всякое проистечение божественного озарения и всякое откровение божественных тайн, и всякая форма духовных даров, п о м и м о Ее не будет иметь места ни для кого. Но Она, первая, при яв полнейшее исполнение Исполняющего вселенную, устанавливает для всех меру полноты, распределяя каждому по силе его, согласно соответствию и мере чистоты каждого, так чтобы Она была хранительницей и распорядительницей богатства Божества. Потому что поскольку и это является вечным законом на небесах: чтобы меньшие чрез больших имели участие в Сущем, находящемся за пределами их, — несравненно же больше всех является Девственная Матерь, то, следовательно ч р е з Нее станут участниками те, которые будут причастниками Бога; и объявят Ее Местом Невместимого те, которые ведают Бога; и непосредственно после Бога Ее восхвалят те, которые восхваляют Бога. Она — и Основание тех, которые были прежде Нее и Предводительница тех, которые после Нее, и Ходатаица вечных. Она — Тема Пророков, Начало — Апостолов, Утверждение — Мучеников, Фундамент — Учителей. Она — Слава сущих на земле,

Радость — сущих на небе, Красота — всего творения. Она — Начало и Источник и Корень неизреченных благ. Она — Верх и Совершенство всего святого.

О, Дево Божественная и ныне Небесная, как я изреку все то, что относится к Тебе? Как прослаблю Тебя, — Сокровище славы? И самая память о Тебе освятила памятующих; и самое стремление к Тебе сотворило ум озаренным, сразу же возвысив его к божественной высоте, чрез Тебя просвещается душевное око; чрез Тебя озаряется дух наитием Божественного Духа; потому что Ты стала Управительницей и Совокупностью благодатных дарований; не в том смысле, чтобы сохранять это за Собой, но для того, чтобы всю вселенную исполнить благодатию; потому что заведующий неистощимыми сокровищами назначается ради распределения их: потому что для чего, конечно, хранил бы он запертым то богатство, которое не уменьшается? Посему, щедро удели всем людям Твоим, всему достоянию Твоему милость и Твои дарования, о, Владычице! Разреши охватывающие нас узы! Зриши каковыми и коликими бедствиями мы изнурены: и личными и чужими, и внешними и внутренними. Твоею силою перестрой все это на лучшее: граждан и единоплеменников смягчая друг в отношении друга, нападающих же извне на подобие диких зверей, прогоняя. Соразмерь с нашими страданиями Твою помощь и лечбу, даруя душам и телесам обильную благодать, довлеющую для всего; и если бы мы не вместили ее, сделай нас более способными для вмещения, и отмерь таким образом, чтобы Твоею благодатию спасенные и укрепленные, мы славили Предвечное Слово, из Тебе ради нас воплотившееся, со безначальным Его Отцом и Животворящим Духом, ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь.

Архимандрит С п и р и д о н

ИЗ ВИДЕННОГО И ПЕРЕЖИТОГО

Воспоминания проповедника-миссионера в Сибири

ЧИТИНСКАЯ ТЮРЬМА

Это был магометанин. Не было случая, чтобы он когда-либо оставлял духовно-нравственные беседы и церковную службу. В церкви он начинал молиться по-своему, потом постепенно переходил и на наш христианский обычай молиться. Молился он всегда искренно и горячо. Один раз он пожелал видеть меня, чтобы по душе, как он говорил, побеседовать со мной. Его звали Али. Али начал со мной говорить о том, как ему нравилось, когда я в беседе с арестантами говорил, что, кроме нашего земного мизерного мирка, существует и бесчисленное множество миров с их солнцами, которые имеют бесконечное множество оттенков разных цветов. Если бы было возможно, — говорил я им, — снарядить такую экспедицию, которая с одной планеты на другую переносилась бы с быстротой светового луча (а световой луч в секунду проходит 280 тысяч верст), и если бы эта экспедиция странствовала по этим мирам сто миллионов лет, то она

Из журнала „Христианская Мысль”, 1917 г.

О к о н ч а н и е. Начало см. „Надежда”, вып. 1, 1977.

топталась бы только на одном месте, потому что перед нею раскрывались бы еще и еще тысячами непочатые части вселенной! И все эти миры, если бы были населены, подобно нам, разумными существами, то они, жители бесконечных миров, не могли бы иметь более чистой и совершенной по святости и по своему моральному совершенству религии, как христианство.

Али заинтересовали мои слова, и как-то он спрашивает: „Если христианство есть такая великая вера во Христа, что она самая святая и совершеннейшая во всей вселенной, то разве, когда мы умрем, так будем верить по-христианскому? А где же будет тогда наш пророк Магомет?“ — „Добрый Али, и Магомет ваш получит там по своим делам, я, дорогой мой, не думаю, чтобы он Богом был окончательно отвергнут. Бог, как Истинный Отец Людей и Творец вселенной, всех любит, милует и о всех промышляет, заботится, рождает, кормит, выращивает и по делам всем все воздает“. — „Батюшка, а наш мулла говорит, что только одни магометане спасутся и после смерти к Богу пойдут, а другие, как христиане, евреи, китайцы, пойдут шайтану“. — „Милый Али, ты — женатый?“ — „Да, женатый. У меня три жены есть“. — „Скажи мне, Али, если у тебя от всех трех жен были бы дети и из них два, три были бы слепы, как ты думаешь, всех бы ты их считал своими детьми или нет?“ — „Конечно, все мои дети и я, как отец, любил бы всех, а слепых еще больше“. — „Так, Али, и Бог нас всех, без исключения народностей и вероисповедания, любит такую бесконечную любовью, что наша самая сильнейшая любовь, сравнительно с любовью Божией, то же, что осколок льда с солнцем!“ Али при этих словах молитвенно поднял руки и, приложив их к го-

лове, медленно произнес: „Аллах! Это так учит христианство?” – „Да”, – ответил я ему.

„Подождите, подождите, батюшка, я еще хочу вас спросить. Почему же вы, христиане, не лучше нас живете? Мы водку не пьем, а вы почти все и бабы ваши окончательно спились. Мы более вас справедливы, верны, а вы почти все сделались самые жестокие, неверные, лживые и обманщики. Наши бабы так скверно не живут, как ваши. Ваши все, особенно городские, имеют мужей, а ходят к другим и грешат бессовестно. Наши муллы не пьянствуют, не ругаются матерью, а ваши попы, вы, батюшка, извините меня, как свиньи напиваются. Почему же вы так живете? Почему же вы не живете по своей христианской вере?”

Мне было сказать ему нечего.

„Знаешь, Али, у всякого есть своя воля и свобода и поэтому каждый живет так, как ему хочется”. – „Нет, батюшка, так могут жить одни звери, животные и птицы. Для человека прежде всего должен быть Бог. Я думаю, – продолжал магометанин, – у Бога больше воли и свободы, а Он не грешит, знает, что Он Бог. Так и христианин должен не грешить, зная, что он христианин. Ты мне батюшка, достань ваше Евангелие на татарском или на турецком языке, такое Евангелие есть?” – „Есть”, – ответил я.

Простившись с магометанином, я поехал в город, заехал в библейское общество, купил на татарском языке Евангелие и через ученика миссионерской школы отправил ему в тот же самый день.

Приезжаю опять в тюрьму, устраиваю с арестантами беседы. Смотрю, моего Али нет. Через два дня после этого служу Литургию, Али моего и тут нет. Я задумался о нем, но не решился даже спрашивать надзирателя. На следующей неделе я опять приехал в

тюрьму и с собой привез о. Ивана, священника из бурят. Смотрю по сторонам храма и снова не нахожу этого Али. Уже через месяц Али приходил ко мне в церковь, молился по-магометански. По окончании Литургии магометанин подошел ко мне и спрашивает меня: „Батюшка, мне можно у вас покаяться?“ — „Можно“, — говорю. — „Ну, так я хочу покаяться“.

Арестант с горячими слезами высказывал свои грехи. Наконец вздохнул и сказал: „Мне учение Христа очень нравится: пожалуй, я скоро буду христианин“. — „Нет, Али ты мой дорогой, подожди креститься, а вот постарайся хоть один месяц так жить среди арестантов, как вот учит Евангелие“. — „Хорошо, — ответил Али. — Я так и буду жить; будут меня бранить, ругать, а я за них буду молиться, буду им все приносить, убирать, не буду сердиться, буду всех любить и пойду со своими арестантами мириться. Я вот месяца два как с ними побранился; значит, пока креститься не стоит?“ — „Да, пока повремени, дорогой Али“.

Али вышел из церкви и отправился в свою камеру. Проходит месяц, другой, а я Али не вижу. Как-то служу вечерню, смотрю: Али стоит в церкви. Кончилась вечерня, Али ждет меня: „Я, батюшка, — забасил Али, — еще хочу покаяться“. — „Хорошо“, — ответил я. Али в эту исповедь с самого детского возраста свои грехи высказал. Когда кончилась исповедь, Али поднялся на ноги и промолвил мне: „Я скоро буду христианином. Я как стал жить этот месяц по Евангелию, то куда и скорби, и печаль девались, мне хочется всех любить и всем делать только добро“.

Через месяц после этого я его крестил.

Арестант этот был человек в высшей степени красивый и интеллигентный. Его горе — kleптомания: „Не могу, не могу жить, — говорил арестант, — без того, чтобы не украсть. Были дни в моей жизни, когда я, как ребенок, предавался отчаянному рыданию. Что я буду делать? К каким врачам ни обращался, чьи советы ни применял к себе, и все бесполезно. Что я буду теперь делать?“ — „Молитесь ли вы Богу?“ — спросил я его. — „Нет, вот уже лет 10 я не ходил в церковь, не исповедывался, не причащался Св. Таин и никогда не молился за все это время“. — „Милый мой, просите у начальника тюрьмы, чтобы он разрешил вам сидеть некоторое время в одиночном заключении, я буду к вам ежедневно ходить и там вдвоем будем молиться“. — „Мне как-то стыдно, неловко просить начальника об этом, он не поймет меня и будет смеяться надо мной“. — „Зачем смеяться? Ведь тюрьма по своему назначению есть исправительное учреждение“. — „Да так-то оно так, но...“

Я понял, что ложный стыд удерживает его от того, чтобы он, как интеллигентный человек, решился обратиться к начальнику, чтобы он разрешил ему сидеть в одиночном заключении для молитвы. Тогда я предложил ему другой выход. „Ну хорошо, — сказал я ему. — Так вы во время моей церковной службы приходите в алтарь и станьте где-нибудь в уголке и принуждайте себя к молитве“. Арестант согласился. После трех служб он подошел исповедаться и причаститься Св. Таин. По прошествии дней пяти я его опять увидел в тюрьме. Когда он увидел, что я вошел в церковь, то последовал за мной. Я только что вступил в алтарь и начал раскрывать Престол, как вдруг что-то

повалилось у моих ног. Взглянул и увидел, что это лежит молодой красавец, который со слезами благодарит меня: ему с того дня сделалось очень легко, словно какой-то камень свалился с его души. Я бросился ему на шею и начал его целовать. Мне было очень радостно за него. Когда он поднялся на ноги, кровь хлынула ему в лицо и слезы по этому лицу оставляли свои тонкие следы. О, как он был тогда красив! Как какой-нибудь ангел с неба слетел. Таким он мне казался тогда.

*

Другой арестант был русский сектант. Все время моего последнего пребывания в этой тюрьме, он ходил на мои духовно-нравственные беседы и ни одной моей церковной службы не опускал. Ему очень нравилось, когда я говорил арестантам о том, чтобы жизнь их согласовалась с Евангельским учением. Он ухватился за эту мою мысль, когда я в своей проповеди высказался так:

„Смотрите, мои узники, как Христос, ради нашего спасения, подчинился всем законам человеческой жизни, кроме одного — греха, с той целью, чтобы как можно ярче доказать этим Свою любовь к нам. Если Законодатель временно, в земной Своей жизни, умалил так низко Себя, что Бог, воплотившийся в нашу человеческую природу и совершенно подчинившийся ей, — повторяю, кроме греха, — был одним из беднейших сынов человеческих, то мы, взирая на такую Его беспредельнейшую любовь к нам, не обязаны ли ради сей любви пренебречь не только родителями, женою, детьми, благами мира сего, но и своею собственною жизнью, чтобы быть со Христом? Узники мои! Я взы-

ваю к вам, топите ваши скорби, ваши страдания, ваши муки в волнах вашей любви к Христу. Ради Христа можно отречься от всего и даже от самого себя. Он есть наше утешение, наше воскресение, наше нахождение самих себя в Нем”.

Эти слова тронули арестанта-сектанта, и он попросил меня прийти к нему в одиночную камеру. Когда я пришел к нему, то сектант возрадовался моему приходу. Сектант-арестант попросил меня сесть рядом с собой на полу его маленькой каморки. Я сел. Арестант вынул из своего засаленного кармана Св. Евангелие и, открыв его, нашел 4-ю главу от Иоанна, указал мне 24-й стих. Я его прочел. „Батюшка, ради Христа, растолкуйте мне его. Что это значит: 'Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и истине'. Что это такое: 'поклоняться духом и истиной'?" — „Сын мой милый, — ответил я, — это значит, что вся жизнь верующего христианина должна быть духовной, подобной жизни Христа Бога, и настолько эта жизнь христианина должна быть цельной и богоподобной, чтобы в нее никакая фальшь, никакая ложь, никакой обман и соблазн не могли проникнуть, и она, как жизнь христианина, должна быть жизнью Сына Божия, по образу Единородного Сына Божия Христа, Который и есть одна в полном смысле слова Истина. Когда мы эту Божественную Христову жизнь будем воплощать в своей жизни, тогда мы и будем поклоняться истиной, т.е. совершенствовать в усыновлении себя Богу. Истина наша есть беспрестанное усыновление себя Богу”.

Говоря это, я взглянул на сектанта, а у него слеза за слезой крупными каплями падают на страницу Евангелия. „Дорогой батюшка, — сквозь слезы промолвил сектант, — почему это нам не говорят священ-

ники? Если бы они нас учили правильно понимать Св. Евангелие, то жизнь наша изменилась бы. Я не раз вас слышал и не раз видел ваше отношение к арестантам, и меня это страшно всегда поражало. У вас ведь, батюшка, нет различия между людьми, арестант ли он или начальник тюрьмы — у вас одни и те же отношения. Мы до слез рады, когда вас слушают и с вами беседуют свободно русский арестант, бурят, китаец, магометанин, раскольник, православный, лютеранин, еврей, католик — для вас все одинаковы и ко всем вы, как родной, наш общий брат, относитесь. Вот это-то нас и радует. Но теперь я вас буду спрашивать, а вы отвечайте мне”. — „Хорошо”, ответил я.

— Скажите, Христа ради, грешно ли воевать?

— Да, думаю, что грешно.

— Грешно ли судиться?

— Да, по учению Христа для христианина война и суд в его жизни не должны быть.

— А развод? — спросил меня арестант.

— И развода, по учению Спасителя, в жизни христианина не должно быть.

— А государство?

— Это для естественного человека, то есть не для христианина, оно есть высшая форма общественной жизни; для христианина же — тот сырой материал, из которого ученики Христа должны проповедью и своей личной жизнью создавать материал для Царства Христова на земле!

— Я ведь, батюшка, — начал говорить сектант-арестант, — с самого юного возраста ищу Бога. И вот смотрю, смотрю и нигде Его не вижу.

Я говорю ему:

— Друг мой милый, если Его в самом тебе нет, то и нигде Его не найдешь. Его прежде всего нужно в са-

мом себе искать. Если Его там нет, то нужно эту старую жизнь разрушить в себе и начать такую, в которой был бы Бог. Бог вне нас есть, только дает нам о Себе знать изнутри нас самих. Другого познания Бога нет.

— Как это хорошо. Действительно, познать и знать Бога только тогда можно, когда будешь жить жизнью Христа?

— Верно.

— Но почему же, батюшка, почти никто не живет жизнью Христа? Или же действительно трудно, или даже, быть может, невозможно почти жить таковой жизнью? — спросил арестант.

— Жизнь наша должна всячески проникаться Христом, а для этого нужно, прежде всего, добровольное, но и бесповоротное решение со стороны человека следовать за Христом. Что бы с вами, люди, мир ни вытворял, вы раз навсегда без всякого раздумья и сожаления должны бесповоротно исполнять учение Христа. Грозит ли вам за это учение ссылка, каторга, виселица, смерть — для вас все это этапы. Синедрионы, Анны, Пилаты, Каиафы, расставленные и стоящие на страже своих земных интересов, выслеживающие учеников Христа, все они должны быть не страхом, не ужасом, а предметами радости и прославления своего Господа.

Арестант заплакал:

— Вы знаете, моя душа от ваших слов наполняется радостью. Теперь позвольте, батюшка, быть перед вами откровенным. Я прежде был православным, а потом оставил православие. Жил я в своем городке, не скажу — богатым, но с малыми средствами челове-

ком. Состоял я при своей церкви ктитором, так, лет семь. В нашей церкви было два священника, диакон и два псаломщика. Псаломщики, что говорить напрасно, были оба трезвые, да и жизнь вели благочестивую. Один старший священник был очень скуп и любил копейку. Второй предавался чересчур пьянству и, как вдовый, частенько крутился с женщинами. Диакон же, кичась своим голосом, нарочно перед обедней выпивал по целой бутылке за каждую литургию. Каждый почти праздник они в церкви и за церковью ссорились, один другого попрекали, бранили и были случаи, что дома у себя и дрались.

У диакона была большая семья. Бывало, диаконица придет к нам в семью да и плачет горькими слезами. Я его детей чуть не кормил. Дрова, хлеб, соль, все почти нужное доставал им, и что же? За добро диакон отплатил мне злом, а батюшки это зло закрепили на мне: вы знаете, батюшка, что они сделали? Они подговорили диакона, чтобы он меня убил, и за что же? Что я якобы делаю ему благодеяния из-за того, что живу с его женой. Да ведь знаете ли, батюшка, у меня своя жена такая красивая, что я даже и мысли-то не имел никакой плохой. Но диакон так был настроен другими, что я даже стал его бояться. Однажды диакон напился пьяный и стал ночью бить у меня окна, а я вышел, да и толкнул его, а он каким-то образом повалился, да прямо в колодец. Оттуда-то его вытащили уже мертвым. Меня осудили на каторжные работы на восемь лет. Священники вместо того, чтобы защитить меня, сами стали свидетельствовать против меня. Тут-то я и отрекся от православной веры. Я буду продолжать свой рассказ?

— Продолжайте, — попросил я его.

— Я, батюшка, должен сказать и то, что, по моему

мнению, сектанты более живые искатели Бога, они желают все пережить личным своим опытом, исследовать христианскую жизнь. Правда, у сектантов нет Евхаристии, нет священства, но, положа руку на сердце, ведь православные, несмотря на Евхаристию и законное священство, несравненно хуже живут сектантов в смысле религии. В православии нет жизни, нет движения вперед. Как бы сектанты ни уклонялись в сторону от Православной Церкви, по крайней мере они уклоняются не в язычество и из религиозной христианской полосы не выходят. Зато православные уклонились, и почти все, то в какой-то спиритуализм, то в теософию, то в грубый и научный материализм, а христианство им так наскучило, что они от одного чтения Евангелия в церкви позевывают, а во время церковной проповеди все уходят. Эх, батюшка, на что ни посмотришь, то только приходится пожимать плечами. Если кто сам решился искать спасения, решился жить по учению Христова слова, тот только и живет, а Церковь Православная мало ему в чем помогает, потому что живых примеров не стало. Вот года три тому назад открыли мощи св. Серафима. Все пишут, все говорят, все кричат: вот в Православной Церкви, и только в Православной, являются святые мощи, вот явился Серафим Саровский и т.д.

Все благочестивые православные возрадовались этому явлению и целыми тысячами богомольцы потянулись к нему в Саровскую пустынь. Я тогда еще был на свободе и вот теперь только я вспомнил, сколько писали о его чудесах, исцелениях и т.д. Но ни один архиерей, ни один проповедник, ни один духовный писатель не сказал, что не для того явились эти мощи св. Серафима, чтобы телесные наши недуги и болезни врачевать, нет, а для того, чтобы мы так же

жили, так же любили Христа, так же молились Ему и любили своих ближних и врагов, как жил, любил Христа и врагов своих Серафим Саровский. За тем, чтобы к руке сего святого не прикасались бы деньги, эти деньги несчастные. Пусть бы мощи мощами были, но зачем возле и около тех святых устраивать торговлю их святостью!

Всю свою жизнь этот святой жил в крайнем нищелюбии, посте, милосердии и т.д. А как умер, полежал несколько лет в земле, смотришь, уже тот святой является каким-то притоком материального богатства, предметом торговли со стороны духовенства, местом таких грандиозных зданий-монастырей, разных гостиниц, что они по своему богатству равны царским дворцам. Да может ли в тех дворцах с крестами и колокольнями находиться и жить жизнь духовная, отшельническая? Так и во всем: и в вашей церковной службе и в вашей Православной Церкви. Вот как я представляю жизнь современных православных.

Нужно сознаться и здесь, что во многом арестант-сектант прав, возражать ему было нечего. Поговорили, да поскорбели мы с ним, что теперь чистого христианства нет на земле, и порешили с ним взяться за свою собственную жизнь и перенести ее с широкого пути на путь узкий, Христов. Как это сектант ни относился скептически к Православной Церкви, а все-таки пожелал у меня исповедаться и причаститься Св. Таин. После принятия им Св. Таин, он сам не раз сознавался передо мною, что без сего таинства нельзя христианину быть. Нужно сказать правду, что сей сектант был один из примернейших по своей религиозности арестантов во всей Читинской тюрьме. Я много работал с узниками. Передо мной прошло много узников, я более других тюремных священников счаст-

лив тем, что пользовался большой любовью к себе со стороны узников.

Нужно еще сказать и то, что у арестантов у многих редко душа для кого открывается настежь. Меня же арестанты любили и, любя меня, открывали мне свои тайны.

*

Священник П.Г. Этот батюшка был городским священником, любил его и местный епископ. Он был вдовцом. Был на миссионерских курсах в Казани. Как миссионер, он, пожалуй, был слабоват; как рядовой батюшка, он был ничего себе, подходящий. Часто ходил он с крестными ходами, был он кое-куда частенько командирован. Любил он широко жить, был гостеприимный такой и немножечко любил хвастнуть чем-нибудь. Если его везет куда-нибудь по городу извозчик, то он обязательно вместо тридцати копеек даст рубль или два: квартировал он всегда у евреев, никогда у русских, награды он любил больше, чем самого себя.

Когда была русско-японская война, он в то время пристроился к какому-то Красному Кресту, в качестве письмоводителя. Часто я его видел у некоторых членов местной духовной консистории, в госпитале. Ума большого в нем не было, но всегда был себе на уме, хитрил, льстил, подмазывался, когда нужно подпоить, то он и это сделает. В годы нашей революции он всячески старался применяться к самым выгодным для него обстоятельствам: сегодня он — ярый правый, завтра он — крайний левый, послезавтра он — благочестивый беспартийный батюшка и т.д.

Выбрало его епархиальное начальство секретарем в

сиротское епархиальное попечительство; когда приходила к нему ревизия, то он умел угостить ревизоров — и дело в шляпе.

После того проходит этак месяцев восемь. Председатель этого попечительства случайно проходил мимо казначейства и встретил казначея. Последний заявил председателю, что Синод последние деньги, несколько тысяч, выслал им, я уже, сказал казначей, имею об этом сведения. Председатель подобным известием казначея был ошеломлен, поскольку ему, как председателю, об этом не было ничего известно. „Как? — в испуге вскрикнул казначей. — Вы уже несколько десятков тысяч получили от меня!” Председатель ужаснулся: „Кто же получил эти деньги?” — спросил он. — „Ваш письмоводитель с удостоверением от вас, за подписью вашею”. — „Ничего подобного, я ничего не знаю, господин казначей, что вы говорите?” — в испуге стал отказываться председатель. Казначей повел его в свой кабинет, показал ему все от имени его удостоверения на получение денег и все те требовательные бумаги на эти деньги, на которых значились имена всех членов этого комитета за личной подписью как самого председателя, так и других членов. Когда председатель увидел и убедился в преступном подлоге своего секретаря, или делопроизводителя, то так и ахнул! Сейчас же поспешил об этом сообщить местному епископу, последний — прокурору, и пошла писать...

Когда арестовали сего батюшку, тогда он, вынужденный ли страхом или желая своим покаянием смягчить отношение судейской администрации, написал на имя прокурора покаянное письмо, в котором, кроме сего преступления, открыл еще новое: а именно он сознался в похищении 12 тысяч из того госпиталя, где

он состоял письмоводителем, или делопроизводителем.

Когда его посадили в тюрьму, то узнали арестанты о его вине и решили сделать ему какую-то пакость. Слышал я, что они на него, кажется, целый ушат помоев вылили. Осудили его в ссылку на 7 лет в Енисейскую губернию.

Оказывается, что там, где он стоял на квартире, он увлекся молодой еврейкой и хотел с нею ехать в Америку. Я, со своей стороны, не могу судить его. Дело в том, что подобное увлечение в нем было вызвано вдовством; как молодого священника, нужно было бы его пожалеть. Молодой священник, красивый, здоровый, почему бы ему вторым браком не жениться, и он был бы, может быть, самый примерный батюшка! Сами мы сознаем — кто из нас без греха, даже из живущих в монашестве? Жаль мне было о. Петра!

*

Ваня Бочаров дивный был гимназист, ему было 17 лет от роду. Отец его был тоже ссыльный, но благочестивый и набожный человек. У него было много детей. Благодаря своим необыкновенным способностям по различным техническим специальностям, он имел свою мастерскую и своих рабочих. Любимая его, среди других специальностей, была специальность золотых дел мастера. Вот его-то старший сын гимназист Ваня и является, так сказать, героем нашей повести. Когда была в 1905 г. у нас революция, то она докатилась и до Восточной Сибири, где сразу, как грибы, появились почти во всех сибирских городах с.-д. комитеты, стали организовываться демонстрации, устраиваться политические митинги и т.д. Ваня

был мальчик весьма впечатлительный, нервный и отчасти раздражительный.

Как-то он однажды встретил меня и, поздоровавшись со мною, спросил меня: „Отец Спиридон, как вы думаете, будет ли какая-нибудь польза от того, что я примкну к революционной партии?“ – „Я не знаю, мой Ваня, но я просил бы тебя этого не делать“. – „Почему?“ – „Да просто потому, что я чувствую, что дело будет плохое“.

Много и неоднократно я беседовал с ним по этому делу. После этого с ним разговора прошло месяца три. И что же? Я слышу, что этот Ваня наповал уложил из револьвера самого полицмейстера г. Читы. Когда за ним погнались солдаты, то он вбежал в мастерскую своего отца и бросил в этих солдат бомбу, осколок этой бомбы оторвал у Вани, кажется, левую руку, несколько месяцев он лежал в больнице, когда же поправился, то посадили его в тюрьму. Просидел там несколько времени, и суд его приговорил к смертной казни через повешение.

Утром рано, часа в четыре, вызвали на прощание с ним отца, мать, сестер, маленьких братьев, а вот тут стоял иеромонах из читинского архиерейского дома, о. Иаков. Родители Вани очень горячо плакали, а он целовал всех своих родных и, простившись с ними, сказал:

– Дорогие родители, братья и сестры мои! Вы видите, что у меня даже и слезинки нет, я верю, что мы перейдем из этой земной жизни в другую. Если меня и будут на том свете судить как убийцу, то я с дерзновением буду оправдываться и буду доказывать, и скажу, что я убил того, который был провокатором из провокаторов. Сколько бы он еще отправил на каторгу людей, а теперь я последний иду от его руки,

я его убил, вешает и он меня, но зато сколько спаслись от него, я прошу вас, не плачьте.

О. Иаков предложил ему исповедаться и причаститься Св. Таин, но он наотрез отказался и, взглянув сердито на священника, сказал: „Не возмущай мои торжественные последние минуты”. Сказав это, он стал на стул, накинул на себя петлю, толкнул ногами из-под себя стул, несколько раз перевернулся, то в одну сторону, то в другую, и через несколько минут уже очутился в телеге. Отпевать его было строго запрещено, но нашелся священник и ночью отпел его.

НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА

В Нерчинской тюрьме был арестант, заслуживающий особенного внимания. Арестант этот был святой человек. Вот что рассказал он мне:

— Я, батюшка, был богатым человеком. Скоро я потерял родителей, остались мы с сестрой вдвоем. Сестра моя на 14-м году умерла от сыпного тифа. Остался я один. Опекуншей моего состояния была тетя, сестра моей матери. Я был от природы жалостивый к людским страданиям и не мог равнодушно смотреть на нужды и слезы человеческие. Однажды я просыпаюсь и слышу, что тетя с кем-то разговаривает, и часто ее разговор прерывается плачем. Я насторожился. До моих ушей долетает другой чей-то голос, тоже прерывался и он плачем. Я страшно заинтересовался. Через несколько минут все смолкло. Я встал, оделся, умылся и вышел к своей тете. Тетя поздоровалась со мной. Я не утерпел и спросил тетю: „С кем и о чем, вы, тетя, разговаривали сейчас?” — „Ты знаешь, Ваня, та барышня, с которой ты хотел познакомиться, она

утонула, и вот сегодня, рано утром, ее вытащили из городского пруда”. — „Как? Что ты, тетя, говоришь? Это та барышня, что хотела ко мне прийти?” — спросил я. „Да, — ответила тетя, — она самая”. Я сейчас же пошел на то место, где ее вынули из воды и положили. Действительно, она еще лежала на том месте. Пристав тут стоял. Я поздоровался с ним, так как он был мне знакомый. Я не мог на эту несчастную девушку смотреть, мне было ее очень жаль. Пристав мне и говорит: „Вы знаете, Иван Петрович, вот сейчас я в ее кармане нашел одну записку, в которой она прокликает весь мир, доведший ее от голода броситься в пруд; она была проститутка, как я ее знаю, она сбилась с пути так около года”. Я не вытерпел, слезы подкатились к горлу и я заплакал. Мне было очень жаль их. Я с этого дня решил помогать этим несчастным людям. Я ходил по гостиницам, раздавал им деньги, других выкупал из этого засасывающего болота, некоторых одевал, кормил и лечил. Скоро меня они узнали и к моему дому повалили десятками. Свидетель Бог, я не соблазнился ими, мне было их очень жаль. До 92-х этих несчастных женщин я выдал с маленьким приданым замуж, лечил человек триста, похоронил несколько десятков, и все это я делал на свой счет. Хотел было на свой счет для них выстроить больницу, для старых больных приют и богадельню, но вот случилась со мной беда. Кто это сделал? Я до сего времени не могу знать. Вы знаете (арестант заплакал), я в 10 часов вечера возвращаюсь из театра, и что же? Я на своей кровати увидел одну из этих несчастных женщин, лежащую с выпущенными внутренностями, и я так ужаснулся, что не мог пошевелиться с места. Я заявил полиции. Полиция ко мне была не равнодушна за мою любовь к этим несчаст-

ным женщинам. Многие из содержателей этих домов были страшно рады этому моему горю. Меня судили, и суд признал меня виновным в этом убийстве, и я был присужден к 12 годам на каторгу. Вы знаете, наш дорогой батюшка, нет больше несчастных людей, достойных Божьего и человеческого сострадания к себе, как эти несчастные женщины. Если мне и пришлось из-за них пострадать, то я благодарю моего Господа за то самое, что я из-за них пострадал. Еще к этой моей радости приложилась новая радость — тетя продала мое имение и все деньги потратила на спасение этих несчастных людей. Милый батюшка, нет более несчастного, нуждающегося человека в христианской деятельной любви к себе, как эти падшие женщины. Я более чем убежден, что они мученицы-страдалницы, и Христос скорее других их простит. Вы знаете, сколько дней иногда они живут впроголодь, нет у них ни рубашонки, ни юбочки, большая часть из них сироты, выброшенные на улицу нищетой, а то и мачехой своей, и вот эти несчастные из-за куска хлеба продают свое тело, продают и свою душу. Если вы их встречаете грубыми, злыми, нахалками, страшными циниками, то ведь это от того, что они на мужчин смотрят, как на своих тиранов, кровожадных зверей, терзающих их своими страстями, точно какие-нибудь хищники! Часто, удовлетворившись, мужчина начинает их бить, издеваться над ними и т.д. Но если бы вы знали, сколько из них есть кротких, смиренных и покорных своей судьбе, и, как овечки бедные, идут добровольно на зарез, и на такой зарез, когда жизнь их сама превращается в тупой нож, и иногда этим тупым ножом жизнь режет их целые десятилетия. Вот, мой милый батюшка, что значит проститутка.

Кончил свой рассказ арестант. Я молчал, молчал и

он. Через несколько минут я вздохнул и вскинул свои взоры на него, и увидел, что лицо его сияло какой-то внутренней радостью. Я поцеловал его и сказал ему: „Милый мой друг, неси свой тяжкий крест до конца, настанет день и эта девушка перед Праведным Судьей оправдает тебя, и не только оправдает, но и наведет на твою светлую голову венец нетления”. Арестант поклонился мне, и я вышел от него, нагруженный тяжелым и легким впечатлением от его рассказа.

*

Когда я начал совершать в тюрьме вечернюю службу, то подходит арестант-церковник ко мне и докладывает, что один из арестантов хочет меня после службы видеть: как сказать ему? Я сказал, что согласен принять его. Кончилась служба, арестант этот остался в церкви, ждет меня. Я его пригласил в алтарь.

Арестант: „Вот, батюшка, я вчера вас слышал, а сегодня пришел спросить вас, вы можете меня допустить до исповеди, я лютеранин и хочу пред Богом во всех своих грехах покаяться, чтобы ни одного греха не было на мне, чтобы я ничего не утаил перед Богом”.

„Хорошо, мой друг, — ответил я, — только вот эти четыре дня ты походи в церковь, помолись Господу Богу и тогда у меня исповедайся”.

Арестант: „Я хотя и лютеранин, но верую в Христа и Его почитаю за Бога”.

Я: „Это хорошо, мой друг, вера в Христа есть наша жизнь”.

Арестант: „Я бы просил у вас, батюшка, говорить с вами откровенно”.

Я: „Пожалуйста, я буду очень рад”.

Арестант: „Вера в Христа, вот вы сказали, есть наша жизнь; если это перенести на практическую сторону нашей повседневной жизни, то она как раз заговорит обратное; она скажет, что вера во Христа есть смерть – вот почему этой жизнью не живут люди. Если бы мир начал сейчас жить верой Христовой, то такая жизнь осудила бы нашу настоящую жизнь со всеми ее культурными ценностями на вечную смерть; поэтому в глазах нашей жизни Христос есть носитель смерти, и ничего нет удивительного, что в настоящее время весь мир распинает Христа. Я о других не буду вам говорить, я скажу вам о себе. Я был из среднего класса, получил среднее образование, – казалось бы, жить да прославлять Бога, но я пошел „широким путем”. Несмотря на то, что я женился, что я имел хорошую супругу, я стал предаваться разврату. Прежде я скрывал от своей жены свои преступления, но потом уже больше не мог их укрыть, и в конце концов жена моя узнала, не только узнала, но на месте преступления меня застала. Жена моя сначала сердилась на меня, ругала меня, а потом примирилась со мной и моей развратной жизнью. Только она с того дня, как застала меня, больше со мной не жила. Дошел я, батюшка, до того, что все мне опротивело, я стал ненавидеть женщин. В один день я встретился с одной своей знакомой, которая мне заявила, что она беременна, и беременна от меня. Я струсил. Вот, думаю, навяжется на меня, и тогда кричи – караул! После этого ее заявления прошло дня четыре, я встретил ее на берегу реки: гуляли мы с ней, должно быть, до двух часов ночи. Здесь я имел с ней грех и после греха так ее возненавидел, что взял да и столкнул ее с кручи вниз. Утром, слышу, повсеместно идут толки о том, как раз-

билась одна девушка. Не успел я и чаю попить, как меня, раба Божия, взяла полиция и посадила в тюрьму. В тюрьме я просидел месяца два, потом меня судили и на 8 лет осудили на каторгу. Вот что значит разврат! Когда я подумаю теперь о своей прошлой жизни, то в моей мысли она мне кажется таким грязным болотом, что, право, даже не верится мне, что я так жил. Мне не верится, что моя жизнь была таким сплошным кошмаром. Неужели по самой природе жизнь наша, а моя в частности, такая гадкая, что даже стыдно мыслю обернуться в прошлое?"

„Но вы, мой друг, когда-нибудь не замечали в себе контраст в самих ваших стремлениях?" – спросил я. „Неоднократно", – ответил мне узник. „Если бы вы идейной стороне ваших стремлений, идущих вразрез с обычными стремлениями, дали перевес в ваших поступках над последними, то, наверно, жизнь бы ваша имела какую-нибудь ценность", – сказал я. „Батюшка, вот как заключили меня в кандалы и как обернулся я на себя и увидел, что прежняя моя жизнь не только навеки искалечила меня, она оторвала меня от жены, детей и лишила меня свободы, но даже совершенно обезличила меня: тут-то я возопил к Богу! Тут-то я и понял, что жизнь без Бога – есть само существо, пляска пьяных, кошмар больных, погоня за миражем, игра в жмурки. С того времени я стал горячо молиться, читал Св. Евангелие, и вы знаете, с этого дня жизнь моя стала реальнее, ценнее прежней. Если Бог даст, как окончу свой срок наказания, то решусь чисто практическим путем жить по учению Христа".

Так говорил арестант. Настал день его покаяния. Оно длилось полтора часа. О, как мне было радостно смотреть на него! То место, где он стоял на коленях,

было увлажнено горячими слезами. Его рыдания потрясали самое существо. Если бы перед ним лежал его умерший отец, и любимый его сын, то он так горячо не плакал бы, — как он рыдал, несчастный, во время покаяния! Через два часа после этого он причастился Св. Таин. На душе у меня было светло за него. Я был рад, что эти узники, закованные в кандалы идут впереди нас, священнослужителей, свободных мирян, идут ко Христу, идут путем покаяния, в сонм Его святых. В Царство Божие и в кандалах можно свободно идти, и никто там не скажет: зачем сюда пришел в кандалах преступник? Никто не скажет там, что ты — арестант, что ты — лишенный всех прав состояния. Царство Божие открыто для всех, но в него можно войти путем покаяния, а не путем социальных или классовых рангов. Когда мне пришлось оставить эту тюрьму, то этот арестант из своего окна со слезами кивал мне головою, прощаясь со мной.

*

С этим человеком я встретился при следующих обстоятельствах. В одной из тюрем Нерчинской каторги произошел среди арестантов бунт. Арестанты разбились между собой на два лагеря, и один против другого восстал свирепо. Тогда мне было предписано экстренно выехать на каторгу в эту тюрьму. Я немедленно выехал. Тюрьма была оцеплена солдатами. Арестанты, разделившись на две части, стояли на дворе. Когда я вступил в тюрьму и обратился к арестантам, то одна часть арестантов, окружив меня, стала внимать моей пастырской проповеди. Когда я увидел, что арестанты пришли в умиление, тогда я обратился с призывом: к другой партии, враждебной первой, что-

бы и она слушала слово Божие и чтобы они между собой прекратили всякую вражду и помирились. В это время главарь второй партии Сахалинец грозно ответил мне русским трехэтажным словом и поднял кулак вверх. Тогда я сошел со своего места, пошел прямо к нему и упал во всем священническом облачении к его ногам и, стоя пред ним на коленях, ответил ему:

„Сын мой милый! Я на коленях стою перед тобой, молю тебя, послушай меня, исполни мою слезную просьбу, измени свою жизнь, будь другим существом! О если бы сейчас, в этот момент, увидела тебя твоя родная мама, что я стою перед тобой на коленях, то она не устояла бы на ногах, а если она уже умерла, то от одной сердечной тоски о твоей душе, она несколько раз повернулась бы в могиле”.

Так умоляя арестанта, я достиг своей цели, арестант поднял меня и мы со многими другими, стоящими возле него арестантами, двинулись к тому месту, с которого я начал им всем говорить проповедь. После этой проповеди этот самый арестант при всех дал мне свое верное арестантское слово, что он слагает с себя прежнюю свою обязанность.

После всего этого, вечером того же дня мы отпели несколько душ арестантов и сейчас же начали совершать всенощное богослужение. Во время службы я произнес еще две проповеди. По окончании службы арестанты пожелали у меня исповедаться, а на завтрашний день и причаститься Св. Таин. Пожелал и этот узник последовать их примеру. На следующий день в девять часов утра я вхожу в церковь и вот в церкви встречаю сего арестанта. Он, увидав меня, подошел ко мне и шепотом говорит: „Батюшка, я исповедаться и причащаться не могу, мне стыдно перед арестантами”. — „Друг мой родной, послушай меня сегодня

так же, как ты послушал меня вчера. Зачем менять Христа на ложный страх! Послушай меня, радость моя, исповедайся и причастись”. Арестант понурил свой взор и как бы нехотя ответил: „Исполню вашу просьбу, я уже 37 лет как не был на исповеди. Еще когда я был в гимназии, то только тогда и причащался”. Я сейчас же повел его в алтарь и там его исповедал. Исповедь его была трогательна!

Нужно сказать то, что этот арестант получил высшее образование, первый раз он попал в тюрьму совершенно невинно, и когда просидел в ней три месяца, то оттуда вышел таким озлобленным, что для него уже не было ничего святого. Он был прежде сослан за убийство на Сахалин. Через некоторое время он бежал с Сахалина. Всех побегов из тюремной жизни он совершил семь или восемь. Все эти побегии залиты человеческой кровью. Он не щадил ни старых, ни малых. Во многих тюрьмах он был большим Иваном, т.е. тюремным царьком. Ему беспрекословно подчинялись все арестанты той тюрьмы, в которой он находился. На Сахалине он собственной рукой многих арестантов давил как мух. Все арестанты этой тюрьмы боялись и уважали его, как своего неограниченного начальника. В одной Сахалинской тюрьме он самостоятельно вынес шести арестантам смертный приговор и они в назначенный час покончили жизнь самоубийством. Когда я, кроме него, исповедал еще общей исповедью несколько арестантов, которые вчера вечером не явились на исповедь и которые мне уже были известны из неоднократных исповедей, я приступил к началу служения Литургии. После чтения Св. Евангелия я произнес проповедь о всепрощающей любви Христовой к кающимся грешникам. Когда кончилось запричастное и я вышел с чашей Господней к пред-

стоящим, то и тут я произнес десятиминутную проповедь. Начал я причащать арестантов, доходит очередь и до этого узника. Когда он открыл рот и я вложил в его рот лжицу со Святыми дарами, то тотчас же арестант этот закачался, налились его очи слезами и он в этот момент затрясся всем своим существом. Только что отошел от Чаши Христовой и глянул на икону Спасителя, то поднял вверх свои гигантские руки и громко во всеуслышание закричал: „Христос! Христос! Ты ли меня простил! О, Боже! Ты ли меня, такого страшного убийцу, разбойника, простил?! О, Господи! Я, как грецкая губка, весь пропитан человеческой кровью; я около ста душ погубил невинно, невинно погубил. Я неоднократно обкрадывал храмы! О, Господи! И Ты меня простил?! О, милосердный Господи! Я насиловал свою мать, сестер, детей, я предавался скотоложству. О, кто со мной сравнится во грехах — и Ты, и Ты, Господи, простил меня?! Слышишь ли Ты, Господи, что я всю свою жизнь хулил Тебя, проклинал Тебя и Ты, Христос, все-все мне простил?! Твоя, Господи, любовь ко мне настолько велика, что я ее не вынесу, не вынесу, не переживу сегодняшней день, я умру, она погубит меня!”

При виде такой небывалой сцены я не мог дальше причащать арестантов, я ушел в алтарь и там, склонив свою голову на престол, нервно заплакал. Арестанты подняли в церкви такое рыдание, такой рев, что мне казалось весь храм превратился в какой-то страшный гул, раздирающий сердце. Здесь стояли некоторые частные богомольцы, из них несколько женщин впали в истерику.

Кончилась служба, я услышал во дворе этой тюрьмы какой-то шум. Я подошел к окну и что же я увидел? Этот арестант на коленях ползал перед другими

арестантами, прося их, чтобы они во всем простили его. И возле этого арестанта собралось такое множество арестантов, что здесь двор тюрьмы представлял собою сплошную живую массу людей и все они, как ласточки возле своего гнезда, вились возле этого узника. Одни из них его целовали, другие сами заражались его покаянием, каялись в своих грехах и проклинали свою преступную жизнь, а некоторые из них, поднимая свои взоры к небесам, молили Бога, чтобы Он простил им грехи их.

Во время моего обеда у начальника сей тюрьмы, этот арестант явился к начальнику и просил позволения побыть у него некоторое время в одиночной камере. Сей арестант писал мне много писем и последнее его письмо гласило, что он, как кончит свой тюремный срок, отправится в Валаамскую обитель.

*

Мулла. Этот мулла, как он рассказывал мне, был сослан в каторгу за какой-то бунт в Ферганской области. Удивительный этот мулла! Сколько в нем доброты, духовности и необыкновенной кротости. Он меня встретил на каторге. „Батюшка, я желал говорить вам”. — „Хорошо, дорогой мулла, в чем могу служить вам?” — „Это мини домой надо, жена есть, дети есть, кишмиш есть, надо домой”. Говоря это, мулла плакал, и мне до глубины души было жаль его, особенно когда катились слезы по его убеленному сединой старческому лицу. „Я, — продолжал мулла, — семь год каторги. Ферганско область наша жил. Бог молился мулла. Наша бунт был, меня каторгу судил”. При нем был еще один татарин, и вот он мне рассказывал о нем, как и за что осудили его. Жаль

мне было муллу. Он действительно какой-то внутренней духовностью, как магнитом, влек меня к себе. Я до глубины души был очарован им. Я решил спросить его, почему он такой симпатичный, добрый? Он ответил мне: „Утро я молился Бог, обед я молился Бог, вечер я молился Бог, ночь молился Бог, это такой моя стал. Два раза Аллах моя видел!“ Сказав это, мулла, приложив руки к глазам, заплакал. Я понял, что его таким добрым сделала молитва, и он два раза в жизни сподобился, удостоился видеть Святое Видение. Я поцеловал муллу. Когда же вышел мулла из каторги и явился ко мне в Читу, с читинским муллой, то, свидетель Бог, я его встретил как своего родного отца, и мы в это время бросились один другому на шею, орошая один другого горячими слезами. Он приходил ко мне на квартиру несколько раз. Когда же он уехал домой, то в год четыре письма посылал мне и при каждом письме в конверт клал шелковый тоненький носовой платок. В своих письмах он благодарил меня и затем каждый раз звал меня к себе в гости. Писал мне даже в Каменец-Подольский. Вот уже три года, как я от него ничего не получаю: по всей вероятности, он отдал свою душу в руки „Аллаха“. Дивный этот мулла, его лицо, его движения, его взор свидетельствовали, что он воистину был великий молитвенник Божий. Бывало, когда он приходил ко мне один на квартиру, мы только лишь один на другого смотрели и вместе с ним плакали. Его лицо настолько было одухотворено, что я впивался в него глазами и мне все хотелось и хотелось смотреть на него. Да не лишит его Господь Бог Своей богатой милости. Этот мулла был второй Корнилий Сотник, только тот был военный, а этот священник, мулла магометанский.

Этот человек был глубоко проникнут сознанием своей греховной вины. Каждый раз во время моего появления на каторге он ни о чем не говорил со мною, как только о своих грехах. Он боялся, как бы его грехи не противостояли Божью милосердию к нему. Убеленный сединою, он был как младенец по своему характеру. По всей вероятности, каторжная жизнь довела его до такого детского состояния. Вот что он мне рассказывал: "Вы знаете, батюшка, наказал меня Бог за мою гадкую развратную жизнь; я ведь какой душегубец, о душегубец! Я с одним доктором двадцать семь лет занимался одними абортками. Прежде я боялся Бога и собственной своей совести заниматься этим делом, и не раз по этому вопросу говорил с своей женой; не оставить ли мне эту специальность. А жена-то моя была женщина не русская, а крещеная еврейка, она даже и слушать об этом не хотела. Когда я ей скажу что-нибудь, то она сейчас начнет мне говорить о детях, о их образовании, о квартире, что вот ей тут плохо живется, квартира стала тесная, нужно купить свой дом, открыть где-нибудь в городе лавочку, и начнет всякую всячину причитывать, а ты слушаешь, слушаешь, плюнешь да и опять за то же самое дело. Собрал я за все годы своей специальности тысяч тридцать, а доктор — тысяч двести. Вот как мы драли за свое дело. Были такие пациентки, что по пятьсот, а то и больше платили нам. Однажды я слег в постель и чуть не умер от брюшного тифа. Тут пробудилась моя совесть и я стал со слезами просить Бога, чтобы Он поднял меня, и если я выздоровлю, то больше не буду заниматься этой специальностью. Через три месяца я поднялся, выздоровел. Жена и доктор опять принудили меня взяться

за это дело. Однажды мы у одной богатой женщины вынули аборт 6-месячный. Когда доктор положил его в таз, по мне побежали густые мурашки, мне было жаль этого живого ребенка, у меня навернулись слезы на глазах. После того, как доктор совершенно освободился со мной от этой постыдной специальности, я не утерпел спросить доктора: "К. В., скажите пожалуйста, отчего моя совесть неспокойна от этих вот абортов. Вы знаете, сколько мы молодых человеческих отпрысков отправили на тот свет". Доктор так и покатился со смеха, слыша от меня, по его понятиям, такое суеверие. "Да вы спросите свою жену об этом, так она вам скажет то же, что и я скажу вам. Вы, как будто и образованный, — говорил доктор, — а не понимаете самой азбучной истины. Если бы вы взяли микроскоп и посмотрели на ту массу сперматозоидов, которые без нас самой природой целыми тысячами выбрасываются на свободу, т. е. на окончательную смерть. Кроме сего, сколько ты сам выбросил этих маленьких душонок и человечков; так при чем же тут совесть? Ведь человек — это ком мировых сил, сошлись, образовали ту или иную форму по своим составным элементам, вот и все". Как доктор ни пытался убедить меня, что делать аборты и получать за это большие деньги хорошее дело, я в душе своей не верил ему. Не верил ему потому, что вся интеллигенция, в частности медики, совершенно отвергли веру в Бога, как Творца природы. Пробыв у доктора часа два, я отправился к одной пациентке. Оттуда я вернулся к себе домой. Не успел я и вступить в свою квартиру, как жена была до того на меня зла, что взяла в руки урыльник и сует мне в лицо, а сама-то порусски ругала меня. Я не вытерпел, взял из-под стола бутылку, да и ударил ее. Попал прямо в висок.

Через минут десять она была уже трупом. Я подумал, подумал, да и убил своего пятилетнего мальчика. Перед этим я думал так: меня сошлют, матери нет, он останется один... и решил убить. Меня осудили почему-то на 18 лет каторги. Вы знаете, батюшка, когда я ложусь спать, то мне представляется большая котловина, наподобие озера, и вот из этой-то котловины подымается все ее дно и это дно – сплошные дети. Один из них только что зарождается, другие уже имеют маленькую форму, иные уже сформировавшиеся, а среди них находится моя жена и мой пятилетний сын, и все они, то язычки свои вытягивают и ко мне их направляют, то своими ручонками грозят мне. Ах! какой кошмар я всю ночь вижу. Погибла, погибла моя душа!” Арестант заплакал. Я его убедил исповедаться, причаститься Св. Таин и как можно чаще молиться Богу. Прошло после этого шесть месяцев, он умер. Я убежден, что его покаяние будет принято Богом.

*

Арестант этот средних лет, крепко сложен. Во время исповеди арестантов я слышу звон кандалов. Обращаюсь назад, смотрю: стоит патруль с арестантом. Я еще не успел сообразить, зачем патруль с арестантом пришел в церковь, как слышу: ”Батюшка, эй, батюшка! Я хочу исповедаться. Я магометанин, хочу свои грехи рассказать”, – сказал перс. – ”Хорошо, друг мой, я тебя исповедаю”. – ”Давай сейчас, мое сердце болит, тяжело мне”, – промолвил арестант. Я подвел его к аналою и хотел было без наложения эпитрахили исповедать его, но он заметил это и говорит: ”Твой фартук клади на меня”. Я возложил на него эпитрахиль. Перс пал на колени и так го-

рячо исповедался у меня, что я даже желал бы перед смертью так исповедаться, как он исповедался. Когда я кончил исповедать магометанина, то он встал, поцеловал крест и Св. Евангелие и говорит мне: "Теперь мне легче стало на душе. Вы, батюшка, завтра или сегодня зайдите ко мне, я один своя камера живу".

Я на следующий день действительно зашел к нему. Перс просил меня сесть на стул, а сам стоя начал мне говорить так: "Я, батюшка, много раз читал Коран, читал и Евангелие ваше. Наш Коран велит бить людей-гяуров, не магометан, а ваше Евангелие бить другой народ другой веры не велит. Я думал, думал, да и сказал себе: нет, Христос честнее и больше людей любит, чем наш Магомет-пророк. Мир ему. Я так думал: если моя дети жил плохо, я сердился, если дети после хорошо будут жить, любить меня, делать что я им скажу, я опять буду любить их и прощу их. Так и Христос говорит: покаяться нужно и Бог простит. Это я понял, что Евангелие вернее, чем Коран. Я теперь сказал все свои грехи Христу, Он ведь меня слышал?" — "Да, говорю. Он все знает и все слышит". — "Это для меня еще лучше, — сказал магометанин, — пусть Он знает, что я Ему все сказал, и я теперь верю, что Он простит меня. Он Сам говорит, что Он Сын Божий, это для меня важно, я перед Сыном Божиим исповедался. Теперь больше такие дела не буду делать. Это на душе много тяжело. Я сам хотел свое горло резать, так было тяжело". — "Может быть, ты будешь христианином?" — спросил я его. — "Я теперь мало есть христианин; если посмотрю, буду теперь молиться Богу, будет все хорошо, на сердце моем будет светло, то креститься я не буду, а так буду жить по учению Христа, если будет тяжело, то я крещусь.

Я удивлюсь, что христиане имеют такую веру и так живут скверно... Наша магометанская вера хуже, а живут крепче вас. Если бы все персы стали христианами! Тогда бы так не жили бы, как вы живете. У вас, у русских, есть такой великий Бог Христос, а вы живете так, как будто у вас никакого Бога нет. У вас пьянство, воровство, людей бьют, женщины бегают, мужья другая жена бегает, детей маленьких бросают на улицу, дети родителей не слушают, родители детей клянут. У вас люди молятся мало, попы с мужиками ссорятся. И что это такое? Это не христиане! Зачем это? Я, батюшка, слышал, что скоро все не христиане будут христианами, а христиан Христос от Себя прогонит. Это правда?" – "Не знаю, мой друг", – ответил я.

Простившись с ним, я отправился на свою квартиру. Действительно, как-то делается грустно на душе. Язычники и те нас обличают в нехристианской жизни. Куда же после этого дальше идти? Дальше этого идти нельзя. Подумаешь, подумаешь, да и тяжело чувствуется как-то на душе. На самом деле, во что теперь превратилась наша жизнь? Вся земля наша русская усеяна церквами, монастырями, разными часовнями, а как посмотришь-то на самую жизнь нашу, то как ни оправдывайся, а приходится сознаваться, что мы не только не христиане, но мы никогда не были ими и не знаем, что такое в действительности христианство! Но отчаиваться пока не следует, будет время и пшеница Христова покажется на ниве русской жизни. Я более чем уверен, что Бог любит Россию и не даст ей окончательно погибнуть.

Арестант-святотатец. Слыша мой призыв к покаянию грешника, арестанты плакали и когда я окончил свою проповедь, то один арестант остановился, и пока все арестанты не вышли из церкви, стоял неподвижно; но как только он увидел, что никого нет в церкви, кроме меня и одного надзирателя, он подошел ко мне и, взяв у меня благословение, спросил меня: можно ли мне завтра один часок уделить для него? Я согласился. Начальник был в этой тюрьме гуманный, позволил ему зайти в свой кабинет, где я временно помещался. Здесь-то арестант в своих откровенных беседах со мной чувствовал себя весьма свободно и вот он начал мне говорить следующее: "После ваших бесед и проповедей я почувствовал в себе мучение совести. Заколыхалась во мне моя совесть. А до сего времени я чувствовал себя совершенно спокойно. Вы знаете, батюшка, — продолжает арестант, — я с юности своей стал охотиться за чудотворными иконами, мне хотелось сразу быть богатым. Я с этой целью жил в разных монастырях в качестве послушника. Жил и в Киевской лавре, в Почаевской, в Одессе, на Афонских подворьях, в Курском монастыре и в других, где находятся чудотворные иконы. Несколько раз я посягал на Курскую чудотворную икону, два раза на Казанскую, в лаврах было совершенно невозможно, но я хотел в Киевской лавре забраться в ризницу, где хранятся большие ценности. Мне известно, что там есть золотые подарки русских князей, но все было трудно и невозможно. Я считал похитить эти вещи не большим злом. На самом деле, какой же грех? Ведь эти ценности совершенно не нужны Богу. Если ты хочешь из своего имущества уде-

лить что-нибудь на святое дело, то отдай бедным, нуждающимся в куске хлеба. Это будет приятнее в глазах Божиих, чем ты золотом, бриллиантами украшаешь излюбленные иконы. И спросите их, батюшка, для чего они это делают? Икона от этого ценного их украшения святее и чудотворнее не будет, а будет только своим блеском вводить богатых в заблуждение, а бедных в искушение”. Я: ”Почему вы так думаете?” – ”Да ведь богатые своими богатыми приношениями желают задобрить Божию Матерь, они Ей делают этим одолжение, что вот, мол, за мое к Ней такое вещественное исключительное отношение Она будет обязана мне то то, то другое сделать, так как я Ей делал ценные подарки. А бедные, нуждающиеся в куске черствого хлеба, соблазняются этими богатыми украшениями икон и не только думают, но и вслух говорят: ”Да что эти чудотворные иконы, они – Матушки, сами-то в золотых и в драгоценных камнях наряжены. Они нас, бедных, не знают и не могут понять нашу горькую участь”. Вот где сугубый грех. Это ведь, думал я, батюшка, идолопоклонство.

Евангелие говорит, чтобы мы душу украшали, а не иконы. Кроме этого, батюшка, чудотворных икон в России было очень мало, если бы через них наше духовенство не наживалось. Думая так, я несколько раз решил на то, чтобы похитить все эти на иконах дорогие украшения и часть этих ценностей можно было бы уделить и бедным”. Я улыбнулся. Арестант понял мою мысль и сейчас же поправил себя: ”Я не только маленькую часть этих ценностей отдал бы бедным, я бы, может быть, все отдал бедным. У апостолов Христовых не было никаких чудотворных икон, не было богатых храмов, собирались они на молитву

где-нибудь в простой избе или под открытым небом, а у нас ведь золото, серебро, дорогая парча, митры усеяны бриллиантами и всем этим богатством и пышностью думают угодить Богу и отворить себе Царство Небесное. Вы знаете, батюшка, у монахов можно красть все, у них нет своей собственности. Так как они отреклись от всего земного, они не должны иметь ничего своего. Какой-то один святой даже единственное свое Евангелие продал и отдал бедному деньги, полученные за него”. Арестант замолчал. ”Эх, грехи наши, — промолвил арестант, я действительно грешник и великий грешник, но за эти иконы я как-то мало считаю себя грешником. Может быть, это потому, что мне не удалось похитить ни одной ценности из них. Что касается других церковных вещей, как сосуды, церковные кружки, то этого я много похищал. Меня за это и осудили, что я два храма ограбил. Да что эти храмы, если бы вот бриллиантик с чудотворной иконы, вот это было бы дело. Но я все-таки хотел бы исповедаться и причаститься Св. Таин”. Я согласился. Нужно сказать правду, что над этим арестантом нужно много работать, чтобы совершенно расположить его сердце к искреннему покаянию. Я удивляюсь только тому, что арестант священник, или монах, или послушник — вообще духовное лицо — как-то мало способно бывает на искреннее раскаяние.

*

С этим арестантом я встретился тоже на каторге. Ему было лет 67. Он уже был почти вольным арестантом и находился вне тюрьмы. Как-то в июне я заехал в ту тюрьму, где находился этот арестант, и

пошел посетить арестантские землянки и вот между прочим вхожу в ту землянку, где жил этот узник. Он меня, как и остальные, принял с большой любовью. Из землянки мы вышли и сели недалеко на свежую травку, под открытым небом. Арестант начал говорить мне о том, как он жил в Коре, и как его Разгильдеев, начальник Кору, чуть не затравил собаками. К ним подошли другие арестанты, подошли и арестантки, их сожительницы и жены, тоже сели около нас и вот прежде слушали дедушку, а потом по очереди каждый арестант и каждая арестантка что-нибудь рассказывали о своей жизни.

Дедушка говорил следующее: "Я был лет 25-ти, еще не женатый, гуляли мы, значит, на свадьбе, да и подрались в пьяном виде, и ненароком я ударил своего свата по голове и сразу его убил. Вот меня-то, значит, и сослали на Кору. На Кору я около года шел почти всю дорогу скованный. Мало где приходилось ехать на подводах. Когда я пришел на каторгу, то в это время назначили нового нам начальника, вот, значит, этого Разгильдеева. Зверь был, а не человек. Я у него был кучером. Батюшка, я был у него самым любимым, и вы знаете: три раза меня он сек плетьюми, один раз своими собаками травил" (арестант заплакал). — "За что он так с тобой поступал" — спросил я. — "Один раз в свое время не накормил его собак, а в другой раз я поехал с ним в Нерчинский завод и не подковал одного коня. Вот за что. Клянусь Богом, — продолжал свой рассказ арестант, — мы несколько раз собирались убить его и поджечь его флигель. Ведь вы, батюшка, только подумайте, что он с нами делал? Он, бывало, заставит арестантов копать канаву. Смотришь, дает распоряжение: таких-то и та-

ких-то арестантов живых зарыть в эту яму, и зарывали нашего брата (арестанты плачут). Каждый день то он вешал нас, то травил собаками, то живых закапывал в землю. Вы знаете, батюшка, Коринские поселки стоят на гробах и могилах несчастных арестантов, погибших от этого зверя. Мы нанимали священника одного, чтобы он ежедневно по нем служил панихиду. Нам кто-то сказал, что если кто будет служить панихиду по живому, то он долго не проживет. Он, бывало, задаст нам какую работу, и мы должны от такого-то часа до такого-то обязательно сделать, а если почему-либо хоть немножечко остается от этой работы не выполнено, сейчас этих арестантов сечь, и секут их так, что, смотришь, потащили из сарая на руках или тут же закопали. Проводил он одно шоссе через лес, и вы можете себе представить, что эта дорога вся была залита кровью арестантов и усеяна их костями. Это был не человек, а зверь, и еще какой зверь! Кора — это место одних мучеников. Он с нами не церемонился. Бывало, какой-нибудь надзиратель или его няня шепнут ему на ухо имя какого-нибудь арестанта, смотришь, его уже секут, его уже собаками травят, а там десять, двенадцать арестантов живыми закапывают в землю, а там пять, семь человек уже вносят на жердочках. О Боже! где этот зверь родился, и кто его родил, как его сырая мать-земля держала на белом свете! Ведь он десятки тысяч погубил нашего брата. Правда, и из нас некоторые есть, что их нужно наказывать, но только наказывать, а не губить, а ведь он виновных и невиновных душил, как каких-нибудь гадюк. А вы знаете, батюшка, сколько невиновных душ среди нас находится и они, бедные, так же погибли под его рукой, как и виновные. Я, батюшка, думаю, что эта Кора — второй Киев; в Киеве

св. мощи и на Коре почивают мощи невинных мучеников-арестантов”.

Арестант заплакал, плакали с ним и другие. Сидел тут рядом со мной молодой коренастый арестант, и он, утерши слезы, начал говорить: ”Вот для таких-то зверей закона нет. Если арестант что-нибудь сделал, то сейчас же его наказывают, а если какой-нибудь начальник еще чаще во сто раз делает преступления, то ему за это еще ниже кланяются! Эх! Я часто вспоминаю Федора Кузьмича, я как-то о нем читал. Вот кто сам отрекся от своего царского престола да пошел из Таганрога с котомкою за плечами странствовать. Если бы все так хоть немножко пожил бы, увидели собственными глазами, как Россия-то живет и почему она бедствует, тогда они нас так не наказывали бы”.

”Нет, — заговорил третий арестант, — не ждите, товарищи, ничего хорошего от этой жизни. Раз Сына Божьего распяла земная власть, то нам нечего ожидать от этого мира какого-нибудь облегчения. Мир во зле лежит. Меня считают за анархиста, а я вовсе не анархист. Я всю свою жизнь страдаю из-за того, что всех людей считаю между собою равными. А теперь, батюшка, в нашей жизни нет Христа. Я вот пять лет, как стал следовать Евангелию, я себя чувствую очень хорошо”.

Женщина: ”Тоже Андрей, так, как ты живешь, жить трудно, ты вот один и все раздаешь нам, бедным, что ни заработаешь, да и живешь ты при одной рубашке и при одних портках, а ведь так семейному-то человеку жить невозможно”.

Другая арестантка: ”Оно бы можно вот так жить, как живет Андрей, но, знамо дело, нужно себе во всем отказывать и всех любить, а тут, как посмотришь, что везде неправда, да еще какая неправда, вот

хотя бы взять нашу арестантскую жизнь. Я как-то находилась в одной пересыльной тюрьме, то все говорили, что начальник тюрьмы голодом травит арестантов, а сам от этого наживался, да еще как наживался, говорят, пробыл в тюрьме 7 лет и вывез тысяч сто денег. Вот и смотри на него”.

Андрей: ”Нет, товарищи, не надо нам вне себя искать правды, а есть одна для нас дорога: возьмитесь сами за эту правду, да как воплотим ее в свою жизнь, вот и будет хорошо”.

Арестанты замолчали.

Я: ”Скажите, мои дети, бывают ли в вашей жизни светлые минуты?”

Дедушка: ”Очень мало: кто рвется на родину и поэтому в его голове всегда об этом думки одни, кто проклинает свою судьбу и чувствует себя очень скверно, кто женою здесь обзавелся, то о своей семье заботится, и редкий кто из нас чувствует себя хорошо”.

Андрей: ”Батюшка, светлые минуты бывают у того в жизни, у кого совесть чиста; но у кого она не чиста, то никогда светлых минут он не увидит в своей жизни”.

Молодая женщина: ”Вот я в России имею от своего законного мужа сынка и дочку, да здесь одного мальчика имею и вот тут-то, батюшка, уже не до светлых мыслей, я о тех почти вся вычахла да и этих жаль”.

Василий: ”У меня тоже в России жена и дети, да вот и здесь столкнулся с одной — какие там светлые мысли. Иногда жизни-то не рад, плачешь, плачешь, да и опять за то же”.

Я: ”Скажи мне правду, молитесь Богу?”

Дедушка: ”Да, батюшка, есть из нас и молятся, а есть и совсем забыли Бога, а есть и такие, которые

прямо так ругают Бога, что страшно и подумать, это вот немного перестали ругать Бога, как вы у нас”.

Андрей: ”Милый батюшка, вы нам много вносите спасения и утешения в нашу арестантскую жизнь. Вот дня четыре тому назад мы все диву давались: тут в наших землянках два арестанта поссорились так, что мы все думали, что один другого сегодня же вечером зарежет. Смотрим, один из них (прежде был такой живодер, что был в нашей тюрьме палачом) стучит другому в дверь, а тот взял осколок железины да и вышел ему навстречу, и только хотел его ударить, да так и опустилась его рука. Этот-то палач пал перед ним на колени и говорит: нам батюшка велел всем все прощать и вот я до захода солнца прощаю тебе и ты мне прости. Так бабы наши-то и мы досыта наплакались, когда увидели такую картину. Вот что, батюшка, ваше-то учение. Нет, мы молим вас, не покидайте нас, несчастных”.

Я растрогался рассказом Андрея. Наконец мы встали и перед уходом я поблагодарил их за беседу, а дедушка еще пошел меня провожать. ”Да, мой милый дедушка, — сказал я, — ты много пережил всяких мук и страданий”. — ”Да, этот Разгильдеев много нас отправил на тот свет, и отправил даром, но он заслужил одно лишь проклятие; нет ни одной арестантской песни, ни одного арестантского стихотворения, в котором не проклинали бы его арестанты”. Так распростившись с дедушкой, я отправился на свою квартиру.

*

Этот арестант был молдаванин. Человек свирепый

хищный, но впоследствии раскаявшийся. Он был средних лет, плечистый, коренастый, невысокого роста. Вот, что он мне рассказывал о себе: "С самого моего юного возраста я сторонился труда, любил и жить без всякого дела. Праздность научила меня ходить по чужим садам, виноградникам, пасекам. Часто ходил на вечеринки, почти каждый день я посещал питейные дома. Отец, бывало, меня как начнет клясть, клянет, клянет, а я, слыша клятвы, только дразнил его, да расстегну перед ним свои портки и говорю ему: "Вот, старая собака, поди выкуси то... вот тебе, гад! Ты у меня долго не проклянешься, старый черт. Я тебя скоро со света сживу". Он, бывало, начнет меня стыдить, угрожать Богом, а я в это время кричу перед ним: мать — размать — я в крест и в причастие, а то прямо ему говорил: я твоего Бога вот куда... так ты Его, а сам все матерным словом его. Жизнь наша шла своим чередом, дни за днями проходили, а я становился все хуже и хуже, все злее и злее, все развратнее и развратнее. Начал я предаваться скотоложеству. Стал воровать, предаваться пьянству. Жизнь стала бросать меня из одного порока к другому, и она так меня бросала, что я уже сам себе стал не рад. Один раз я собрался с духом и пошел вечером к своему батюшке, чтобы исповедаться перед ним, да и больше так не жить. Шел я к нему с хорошим настроением и только дохожу до его дома, как вижу батюшку-то самого привезли откуда-то пьяным-препьяным, я как увидел его в таком состоянии, да как выругался, махнул рукой, пошел от батюшки прямо к кабаку. Здесь я с горя начал пить — от самого вечера и до самого утра пил. Мне эту ночь было очень жалко себя. Я хотел исправиться. Я шел к батюшке с сознанием своей испорченной жизни, и всю дорогу думал:

нет, так жить дурно, так больше жить нельзя, надо покаяться, измениться, в корне измениться. И вот случись же такому делу!! Нет, теперь я навеки пропал, и уже мне возврату больше нет. Погибла моя душа, и стал я стакан за стаканом глотать. Утром я, еле держась на ногах, пришел домой. Старик, отец мой, что-то мне сказал, а я его за горло и стал душить. Через минут каких-нибудь пять отец мой отдал душу Богу. Я ударился бежать. На третий день я прибежал в город Кишинев. Здесь пробыл три дня, ночевал в ночлежных домах. По совету одного босяка, я отправился через границу в Австрию. В Австрии я долго жить не мог, какая-то тоска меня мучила, я вернулся в Россию. Не дошел я до города Сороки каких-нибудь 5 верст, как меня поймали. Конечно, меня судили и сослали на каторгу. Вы знаете, батюшка, я здесь измучился развратными пожеланиями. Когда же это все во мне утихает и я совершенно освобождаюсь от этой страшной бури, то где-то целым вулканом, целой лавой вырывается из моей души страшное отчаяние, ненависть к самому себе, безнадежное желание освободиться от этого ужасного состояния духа. Что мне делать, я весь измучился и исстрадался”.

Я: ”Радость моя, нужно до того возненавидеть себя и до того смириться, чтобы ты чувствовал себя величайшим в мире грешником, и вот при таких самоунижающих чувствах покаяться и так покаяться, чтобы ничего, ни одного греха не утаить. Если это тебе не поможет, то самое скорое и самое радикальное средство вот такое: если желаешь совершенно освободиться от своих хронических привычек греха, вам необходимо во всех своих грехах публично раскаться перед всеми арестантами. Это будет для вас самое радикальное и верное средство”.

Арестант задумался. Арестант: "Это тяжело, невозможно".

Я: "Другого радикального средства против застарелых грехов нет".

Арестант: "Поверьте мне, батюшка, это тяжело".

Я: "Другого лекарства нет на земле против таких привычек. Эти привычки вырываются из недр человеческой души только заступом глубочайшего смирения перед Богом".

Арестант: "Нет, я так не могу".

Я: "Насиловать вас в этом деле я тоже не могу, но я должен одно вам сказать, что другого средства для совершеннейшего совобождения от этого хронического зла нет. Вы подумайте только, что из вас будет потом? Ведь вы рано или поздно должны будете последние капли вашей столь отравленной жизни выпить до дна".

Арестант: "Я понимаю, но нет у меня мужества решить это дело".

Я: "А вы вот что сделайте: вот я завтра только для вас, лично для вас, сделаю общую исповедь и в это время вы можете решиться на это великое дело".

На следующий день перед литургией я сделал общую исповедь. Меня страшно возмутило то, что этого-то арестанта я и не встретил на общей исповеди. Начал я совершать Литургию. Во время причастного я начал говорить проповедь. В конце проповеди я заметил, что арестанты с большим вниманием слушали слово Божие. Заканчивая проповедь, велел арестантам стать на колени, стал и я, и, заканчивая свое слово, я молитвенно, как всегда, заключил следующими словами: "Царь наш Христос! Воззри на сих несчастных узников, и в час сей их горячего покаяния открой, открой, Милосердный Господи, двери Своей

всепрощающей любви для них. Кто, Господи, из смертных чист перед Тобою. Но Ты, Ты, Владыка неба и земли, замени для них Свое праведное правосудие расправляющей душу и сердце грешника пламенем Твоей Святой любви к ним”.

Я еще не встал на ноги, как этот арестант появился на амвоне и, став на него, стал во всеуслышание каяться в своих грехах. Когда он говорил свои грехи, арестанты все плакали. Кончил он свою исповедь и тогда я обратился к нему со словом:

”Сын мой, сын мой милый! В тот момент, когда ты каялся, когда ты своим публичным раскаянием подвигнул других узников к стезям покаяния, тогда Христос, Друг и Спаситель кающихся грешников, Своею десницею уничтожил все твои грехи и беззакония на хартии Своего Божественного правосудия и Он по данной мне власти влагает в мои грешные уста те слова, что и Сам некогда в такие исключительные минуты Своей земной жизни произносил. Прощаются грехи твои многи, потому что ты сейчас возлюбил Его много”.

Арестант рыдал, потом, успокоившись, подошел к Св. Тайнам.

На второй день он заявил мне, что он совершенно как будто бы переродился. На душе стало очень радостно, весело и день этот для него стал днем нового появления в мир и уже не в такой мир, каким он его знал до вчерашнего дня, а другой, мир обновленный и преображенный. Я благодарил Христа за Его реальную близость к грешникам.

*

Хотя этот заключенный и считался политическим,

но я его считаю уголовным преступником. Это был офицер из Генерального штаба. Он продал планы Варшавской крепости германскому Генеральному штабу. Вот что он мне рассказывал: "Я имею красивую жену, нет слов, она женщина порядочная, добрая, и как жена добрая. Всю мою бытность холостым я любил приударять за женщинами, но не в такой форме, как другие. Когда же я женился, то несколько лет я жил с нею честно и благородно. Через некоторое время, когда я попал в Генеральный штаб, то стал жить широко. А тут, как на грех, ко мне стали льнуть женщины. Я связался с одной барышней. Она была из духовного звания. Знаете, я все ее капризы и прихоти исполнял точно и беспрекословно. Какие были у меня деньги — все пошли только на этот милый кумир. Однажды она заявила мне, что она любить меня не будет, если я в чем-либо ей буду отказывать и на одном вечере я заметил, что она очень стала ко мне относиться холодно и, кроме сего, как никогда прежде, в этот вечер особенно как-то поглядывала на одного холостого поручика. Это меня весь вечер страшно бесило. Наконец я ее уговорил, чтобы она поехала со мной в номер. Я в этом номере переночевал с ней и убедил ее, что она через какой-нибудь месяц будет иметь большие деньги, и я, по всей вероятности, потребую от своей жены развода и женюсь на тебе, так говорил я ей, и она согласилась.

Откуда я получил бы большие деньги? Вот откуда: я решил продать планы Варшавской крепости в Германию. И действительно я их продал за большие деньги. Нужно сказать правду, я самолично в этих планах внес новую схему, которой хотел заинтересовать германский Генеральный штаб, указывая на новые форты этой крепости, совершенно неизвестные никому.

Я был поражен, насколько Германия в точности, во всех деталях осведомлена во всех наших военных тайнах. Мне самому пришлось о новых, которых совершенно нет в действительности фортах битых двое суток убеждать германский Генеральный штаб относительно их существования. Когда они раскрыли передо мной свой план той крепости и стали показывать мне, где и что, и какие форты, и в каком году они строились, и кто строил, и когда был ремонт, я так и ахнул: они, эти германцы, более нас все знают, что мы скрываем в самой глубокой тайне — все наши военные секреты”.

Кончил офицер свой рассказ и после долгой паузы снова заговорил: ”Она выдала меня. Вот что значит женщина. Женщине нужно три вещи: деньги, ненасытная мужская похоть и наряды. Это ее счастье, ее бог, ее жизнь. Говорят, существуют где-то в пространстве диаволы, может быть это и правда, но что женщина на земле диавол, это уж несомненная правда. Женщины — кузницы, где куют женские руки кандалы для мужчин. Вот хотя бы и я. Сколько раз она меня имела в своих горячих объятиях, какими только клятвами она ни уверяла меня в своей любви, сколько раз она своими любовными слезами увлажняла мое лицо, какими только поцелуями она ни доказывала мне свою преданность, и вот во что в конце концов вылилась ее любовь ко мне! В холодные кандалы, в ссылку на каторгу, и в безотрадную одинокую смерть”.

При нем находилась его супруга с племянницей. Эта женщина была настолько благородна к нему, что несколько раз ездила хлопотать в Петроград за него.

В 1916 году он умер в Чите. Я раза три исповедовал и причащал его Св. Таин. Благородная жена его Параскева Матвеевна после смерти своего мужа выехала из Читы в Саратов.

**ТРИ СОЧИНЕНИЯ
В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО ОПТИНСКОГО СТАРЦА
ИЕРОСХИМОНАХА АМВРОСИЯ**

Несколько слов от издателя

Решаюсь издать найденные в бумагах отца Климента три небольшие сочинения самого старца Амвросия в память о нем, столь дорогую для благочестивых сынов Православной Церкви, с такой сладостью читающих постепенно являющиеся на свет его назидательные письма. Правда, в этих сочинениях читатели не найдут тех мудрых отеческих наставлений, советов и правил христианской жизни, вообще той назидательности, которой проникнуты его письма к разным лицам, искавшим у него помощи и утешения в своих духовных нуждах и скорбях житейских; зато в них приснопамятный старец является пред читателем со стороны, менее известной им, — является как примечательный духовный писатель, обладавший обширными богословскими понятиями и редким умением излагать их с утраченной теперь и большинством духовных писателей ясностью, точностью и простотой, — является и как великий ревнитель и защитник православия против иноверных и иномыслящих, обличитель их неправды, но обличитель, ревнующий и об их же спасении. Все это придает трем, найденным в бумагах отца Климента, небольшим сочинениям старца Амвросия несомненную важность, особенно в настоящее время религиозных и всяких иных шатаний, обу-

Опубликовано в журнале "Душеполезное Чтение" за 1902 г. Здесь печатается первое из трех упомянутых сочинений. — Изд.

явших наше так называемое образованное общество, и вместе служит вполне достаточным основанием для их обнародования, на которое, уповаю, простирается и его, старцево, данное мне еще при жизни, благословение — печатать из бумаг отца Климента то, что найду нужным и полезным для напечатания.

*

Первое из трех упомянутых сочинений старца Амвросия есть "Письмо племянницы, православной инокини, к дяде лютеранину" * Подлинник писан самим старцем Амвросием на пяти с половиною не согнутых и не сшитых листах (или, по его счету, на 11 полулистах) его крупным, твердым и четким почерком, с довольно многочисленными поправками и вставками. Это есть, очевидно, черновая рукопись и в этом черновом виде передана была инокине-племяннице, ученице оптинских старцев, по желанию которой была написана, а ею, как видно, потом возвращена старцу обратно. Было ли переписано это письмо племянницею и послано дяде, и если было послано, то в таком ли именно изложении, какое дал ему отец Амвросий, — остается неизвестным. Неизвестно также, кто эта инокиня-племянница и кто ее дядя. То обстоятельство, что рукопись найдена в бумагах отца Климента, могло бы наводить на мысль, что письмо написано к одному из его братьев, остававшихся в лютеранстве; но, сколько известно, у отца Климента не было племянницы-инокини. Притом же, в письме есть упоминание о нем самом, но при этом имя его не названо, а упоминается он, как лицо, недавно присоединившее-

* Заглавие это сделано нами, в рукописи сочинение не имеет его.

ся к православию от лютеранства. Если бы письмо писалось от имени его родственницы и к его родственнику, то, разумеется, он был бы назван. Из "Жизнеописания" старца Амвросия мы знаем, что он способствовал обращению в православие многих иноверцев католического и лютеранского исповедания *, он, вместе со старцем Макарием, способствовал и обращению матери отца Климента в православие — даже написал для нее две особые молитвы, Спасителю и Божией Матери, которые отец Климент перевел на немецкий язык и она читала, будучи еще лютеранкою ** . К числу таких лиц принадлежал, надобно полагать, и тот лютеранин-дядя, к которому, по просьбе его племянницы, бывшею инокинею одной из женских обителей, очевидно, его ученицы, написал старец Амвросий настоящее письмо, приглашающее его к тщательному беспристрастному рассмотрению обеих религий — и православной и лютеранской, — и обстоятельно изобличающее ложные учения последней.

С достоверностью можно определить, что письмо писано не ранее 1858 года и не позднее 1860-го, так как в нем есть ссылки на "Духовную беседу" за 1858 год и упоминается, как о живом еще, о Петербургском митрополите Григории, который скончался в 1860 году. Кроме того, как будет сказано далее, на рукописи письма есть заметка, сделанная рукой старца Макария, который скончался в том же 1860

* См. "Жизнеописание старца Амвросия", ч. 1, с 95.

** Молитвы эти приведены отцом Климентом в его письме к брату (Брат. Сл., 1885 г., т. 1, сс. 458—459).

году * . Видно также, что лицо, к которому назначалось письмо для отсылки, находилось в Петербурге, ибо ему дается совет, в случае каких-либо недоумений, обращаться лично за разъяснением к жившим именно в Петербурге: митрополиту Григорию, А. Н. Муравьеву и С. О. Бурачку * *.

Приняв на себя труд написать по просьбе преданной ему ученицы-инокини письмо к ее дяде-лютеранину в видах привлечения его к православию, старец Амвросий понимал всю трудность этого дела, ибо знал, как неохотно и равнодушно принимают лютеране обличения, направленные против их религии; трудность эта увеличивалась теперь еще тем обстоятельством, что приходилось писать от чужого имени, дяде от племянницы, не открывая своего здесь участия. Поэтому он предпослал письму следующее любопытное замечание, обращенное к самой племяннице-инокине:

”Трудно и неудобно обращать к православию лютеран, потому что много они мнят о своей фамилиарной любви к Христу и о фамилиарной близости к Нему и о жарком своем молении. Разве только ради успокоения собственной души твоей можешь предложить дяденьке своему объяснение твое о сем предмете в таком тоне”.

За сим и следует самое письмо. А в конце его ста-

* В годы 1858–1860 можно было назвать ”недавно” присоединившимся к Православной Церкви и отца Климента, который, по собственным словам его, принял православие в 1853 году (см. его письмо к брату).

** Издатель ”Маяка” С. О. Бурачек, благочестивый и просвещенный человек, пользовался уважением оптинских старцев, о чем мы слышали от оптинского питомца, о. наместника Троице-Сергиевой Лавры, архим. Леонида.

рец Амвросий нашел нужным приписать еще следующее наставление племяннице-инокине:

”...Сама смягчи ты выражения, которые, по твоему мнению, покажутся тяжелыми для твоего дяденьки; а если хочешь, то и все написанные мысли изложи обычным твоим слогом. И прежде, нежели приступить к этому начинанию, помолись Богу, да устроит дело сие всеблагим и всепремудрым Своим Промыслом к полезному концу. Хочет бо всем спастися и в разум истины прийти”.

Но так как при жизни отца Макария старец Амвросий, преданный ученик его, не предпринимал и не совершал никакого дела без его благословения и одобрения, то письмо инокини, их общей ученицы, к дяделютеранину начал с благословения же отца Макария и, кончив, передал ему на рассмотрение. Прочитав письмо, отец Макарий собственноручно приписал в конце его также и свой совет инокине-племяннице:

”О. Амвросий написал, но тут есть много жестокого; ты сама смягчи некоторые фразы, а лишние и совсем оставь, зная их устройство, где есть воля Божия”.

Послала ли племянница-инокиня сочиненное старцем Амвросием письмо к своему дяде и если послала, то в каком виде, а также имело ли оно желаемые последствия, — это, повторяем, остается неизвестным; но самое письмо, как творение благомудрого старца, от того нимало не теряет своего значения.

Н. Субботин

ПИСЬМО ПЛЕМЯННИЦЫ,
ПРАВОСЛАВНОЙ ИНОКИНИ,
К ДЯДЕ-ЛЮТЕРАНИНУ

Я вас всегда любила, почитала и уважала, дяденька, как отца. Поэтому вам всегда желала блага, как себе. Но какое для нас благо выше всех благ, как не спасение вечное душ наших? Посильное исследование сего предмета привело меня к тому, что я решилась письменно побеседовать с вами, дяденька, о том, что теперь так много занимает душу мою. Прошу вас, дяденька, взять терпение — прочесть длинное письмо мое, и еще прошу взять на себя трудность — рассмотреть и исследовать то, что в нем написано. Это я нахожу нужным и для вас, и собственно для меня, для успокоения души моей, искренно вас любящей. Выслушайте же, дяденька, объяснение мое.

В начале поступления моего в монастырь я безразлично думала о христианских вероисповеданиях, так как слыхала многократно в кругу людей образованных, что будто бы во всяком вероисповедании можно спастись, лишь нужно быть хорошим человеком. Поэтому я, как рожденная в православной вере, по вероучению Православной Церкви и старалась по силе своей устраивать спасение свое, читая различные православные книги в продолжение двадцати с лишком лет. Что же я узнала в продолжение этого времени и через это чтение? Узнала я, что Православная Церковь в продолжение 18-ти столетий сохраняет неизменным и неповрежденным от нововведений то учение, которое передано ей от Самого Господа нашего Иисуса Христа через Его Апостолов и их преемников — епископов и пастырей стада Христова и посредством вселенских соборов. Еще узнала я, что

вне сей единой, святой, соборной и апостольской Церкви, каковой по всей справедливости называется и есть Церковь Православная, весьма сомнительно и неверно спасение других вероисповеданий, потому что Апостол Павел ясно говорит в послании Ефесянам: един Господь, едина вера (гл. 4, 5). Слова сии показывают, что едина только вера истинная, другие же вероисповедания всячески неистинны, а ложны, и едина есть только Церковь истинная, именно та, которую Сам Господь вначале основал через Апостолов святых и их преемников епископов, и о которой говорится в Евангелии: созижду церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Матф. 16, 18). Очевидно, что Господь наш Иисус Христос основал одну главную и соборную Церковь, а не многообразные. Хотя в Апокалипсисе упоминается о семи церквах, но эти церкви были частные, единомышленные с единой соборной Церковью.

Что же означают прибавленные Господом слова: и врата ада не одолеют ее? Богодухновенные толковники Божественного Писания объясняют, что Господь наш, как Бог, знал, что в последующие времена люди гордые и высокоумные не захотят повиноваться Божественному учению единой истинной Церкви, Самим Господом основанной, а по своим хотениям и мудрованиям человеческим будут изобретать мнимые пути благоугождения Богу, верный же путь спасения в единой истинной Церкви будут хулить, хотя и безуспешно. Потому Господь и прибавил: врата адавы не одолеют ее, — т. е. люди заблуждающиеся, высокоумные хулители истинной Церкви, которые находятся под влиянием темных сил и по всей справедливости суть "врата ада", потому что ложным и гибельным учением своим прельщают

неопытных и низводят их во дно адово. Хотя многим и покажется сие слово *жестоко*, особенно иноверцам, старающимся жить благочестиво; но пусть сами они внимательно рассмотрят слово Апостола Иуды, который всех отделившихся от единности веры и Церкви называет чуждыми духа истины и Духа Божия, как написано в его послании: ”яко в последнее время будут ругатели, по своих похотех ходяще и нечестиих: сии суть отделяюще себе от единности веры, и суть телесни, духа не имущи” (Иуд. 18–19), — т. е. люди плотские, или душевные, но никак не духовные. И святой Апостол Иоанн Богослов, в числе трех почитаемых столпом первенствующей Церкви Христовой, пишет об отделившихся от одной, что они чужды того, чему учили самовидцы, и служители Слова, чужды участия Апостолов, как читается в его послании: ”от нас изыдова, но не быша от нас: аще бы от нас были, пребыли убо с нами; но до являться, яко не суть вси от нас” (1 Посл. 2, 19).

Читая подобные свидетельства о различии учения Православной Церкви от прочих вероисповеданий, я пожелала, оставив другие, разузнать, сколько могу, на чем основывают свое учение лютеране, потому что в числе их находится близкий моему сердцу человек — вы, любезный дяденька. Из разных источников, какие я могла иметь, мне удалось узнать следующее:

1. Лютеранское вероисповедание получило свое начало от Лютера, бывшего священника Римской Церкви. Мне тут же представилось преимущество Православной Церкви, основанной, под непосредственным влиянием Самого Господа Иисуса, двенадцатью Его избранными учениками и Апостолами и семьюдесятью меньшими, и учениками Апостолов, каковы: Дионисий Ареопагит, дивный Иерофей,

Игнатий Богоносец и другие. Также пришло мне на мысль, что христианское учение Православной Церкви насаждено со многими трудностями и всякими скорбями, и запечатлено кровию бесчисленных мучеников. Лютер же основал свое учение за царским столом при многом ласкательстве вельмож и народов, угнетаемых папскими злоупотреблениями, которые готовы были принять всякое учение, лишь бы только избавиться от неистовой папской власти.

2. Лютеранское вероучение существует только 300 лет, и уже успело разделиться на семьдесят с лишком разномыслящих сект и обществ, из которых каждая партия считает свое вероучение правым. Меня поразило и удивило несказанно то, как умные из лютеран, при таких неблагоприятных последствиях и при таком разделении и разномыслии, не примечают неосновательности и явного противоречия лютеранского учения? Не очевидна ли после этого истина вероучения Православной Церкви, которое проповедано и насаждено разными Апостолами, в разных странах, среди различных народов, которые имели неодинаковое наречие, разные нравы и обычаи и руководились различными законами. Но, несмотря на все это, Православная Церковь, какое вероучение содержала в первенствующие времена христианства, то же содержит неизменным и неповрежденным от нововведений в продолжение 18 столетий с половиною. Хотя были времена, в которые Православная Церковь была сильно возмущаема, по ухищрению злоначальника диавола, различными еретиками; но православные пастыри, собираясь со всей вселенной, общим советом, при содействии Святого Духа, очищали христианскую истину и ограждали Церковь Пра-

вославленную правилами, преданными от Апостолов и святых отцев, согласно со Священным Писанием.

3. Хотя учение протестантов произошло по нужде, вследствие злоупотреблений и насилий папской власти; но если бы Лютер и Кальвин искали истины и славы Божией, а не своей славы, чтобы прославить имена свои в потомстве, как преобразователей Церкви, то при заблуждении и уклонении частной Римской Церкви в нововведения, могли бы обратиться к соборной Восточной Православной Церкви, которая среди различных скорбей, яко крил в тернии, процветала благочестием и сияла истинною вероучения, а таким образом число последователей своих умножила бы число сынов единой истинной Церкви Христовой и избавила бы оных от того разделения и разномыслия, в каком бедствуют они душевно в настоящее время, являясь ветрами различного суемудрия человеческого. Но высокоумие и славолюбие привели ли когда-либо кого к истине? Их плод: суемудрие и ложь, и обольщение себя и других.

4. Лютер отвергал предание церковное, говоря, что мы принимаем только писанное в Евангелии и Посланиях Апостольских, чем явно сам себе противоречит, потому что в Посланиях есть прямое указание на приятие * церковного предания. Св. Апостол Павел пишет к Коринфянам: "хвалю вы, братие, яко вся моя помните и якоже предах вам предания держите" (1 Посл. 11, 2). И еще: "темже убо, братие, стойте и держите предания" (2 Сол. 2, 15); и в послании к Тимофею: "О Тимофее! предание сохрани, уклоняя от скверных суесловий и прекословий лжеименного разума" (Тим. 6, 20). И св. Апостол Иоанн

* Прежде было написано: на достоверность.

Богослов пишет в соборном послании: "Многа имех писати вам, и не восхотех хартею и чернилом: но надеюся приити к вам и усты ко устом беседовати, да радость ваша будет исполнена" (2 Посл., ст. 12). Неужели эта устная беседа Апостола Иоанна и беседа прочих Апостолов произнесены были на воздух и оставлены без внимания учениками первенствующей Церкви? Нет; из таких устных бесед составлялись так называемые правила Апостоловы, существующие доселе в Православной Церкви. Скажем и более того: ежели отвергнуть предание церковное, то нельзя верить и Евангелию, потому что Господь Своєю рукою Евангелия не писал, а устно передал учение благовестия Апостолам, ученики же первенствующей Церкви написали слышанное от Господа учение. И в начале, в разных местах, было написано много Евангелий; но Церковь, рассмотрев оные, признала достоверными и истинными только четыре известных Евангелистов, прочих же отвергла. И так правильно ли поступают лютеране, отвергая авторитет Церкви в отношении предания оной? Господь наш Иисус Христос не только Сам устно проповедовал учение благовестия, но и ученикам не дал заповеди писать, а повелел проповедовать оное устно же, как читаем у Евангелистов Марка и Матфея: "проповедите Евангелие всей твари" (Марк. 16, 15); „шедше убо научите вся языки, крестяще их во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам" (Матф. 28, 19–20). А что Апостолами написано, то написано после проповедания Евангелия, по требованию обстоятельств. И это устроилось промыслительно, чтобы после можно было по сим посланиям повторять преданное ими устно учение. Известно также, что многие Апостолы ничего не писали, а

другие, если и писали, то писали, по их собственному свидетельству, *уже об известкованных в них вещах*, по преданию, *якоже предаша иже исперва самовидцы и слуги бывшия* Словесе (Лук. 1, 2), — притом писали не обо всех предметах, а только о некоторых, о других же вовсе умалчивали, как уже и без того известно по преданию. По сему-то православнокафолическая Церковь за источником христианской религии, кроме Священного Писания, признает священное предание.

5. Православная Церковь имеет семь таинств, а лютеране признают только два таинства — Крещение и Евхаристию, да и сии совершает у них мирянин, хотя и называется он у них пастором, т. е. человеком почитаемым у них за священника. У лютеран нет священства, потому что нет епископов, так как основатель их учения Лютер, будучи только священником, не мог передать другим священства. Кто же, однако, поставляет пасторов на дело служения? Они избираются из числа людей, получивших духовное образование и консистория протестантская, или духовное правительство их, где миряне заседают в числе членов, дает им от себя право именованья пасторами и совершать священнослужение.

Но может ли совершать таинство Евхаристии мирянин? Нигде в Св. Писании и в церковной истории нет ни примера, ни указания на то, чтобы мирянин мог совершать таинство Евхаристии. Поэтому кто бы из мирян, каким бы именем ни назывался он, если дерзает на сие, весьма согрешает и великий ответ даст Богу; а приобщающиеся от него весьма обманываются и тщетно обольщают себя. Притом таинство Евхаристии требует другого таинства — покаяния и исповеди грехов пред духовным лицом и получения

разрешения от него, достоин ли кто, или недостоин приобщения Св. таин Тела и Крови Господней, да не в суд и не в осуждение себе ест и пиет, не рассуждая Тела Господня (1 Кор. 11, 29), как свидетельствует св. Апостол Павел. Если Иоанну Крестителю крещаемые от него исповедовали грехи свои при крещении, то правильно ли поступают лютеране, исповедовавшиеся сами себе в своей совести, стыдяся от гордости исповедать язвы свои греховные другому? Но стыд, понесенный кающимся пред духовником, избавляет его от стыда на Страшном суде Господнем, как справедливо верует Православная Церковь. Не напрасно сказано в Св. Писании: "исповедайте друг другу совершения и молитесь друг за друга, яко да исцелете" (Иак. 5, 16).

Положим, что крещение по нужде может совершить и мирянин во имя Отца и Сына и Святого Духа. На этом основании Православная Церковь признает и крещение протестантское; но она сие крещение, как и свое собственное, утверждает другим таинством — миропомазания, чтобы очищенный от первородного греха и возрожденный в купели крещения получил и новые силы свыше для утверждения и преуспевания в христианской жизни, когда через таинственное помазание сообщается ему печать Духа Святого. Пример сего видим в первенствующей Церкви. Когда Самария была крещена благовестником Филиппом, одним из семи диаконов, то Апостолы послали двух из среды своей утверждать в вере новообращенных в Самарии, сообщая им Духа Святого. Чувствуют и протестанты потребность сего таинства, потому что у них сохранилось название конфирмации, или утверждения в вере; но как таинство сие может быть сообщено одним епископом или, если че-

рез священника, то посредством мира, освященного молитвою архиерейской, посему у лютеран некому преподать дары Святого Духа новообращенным.

Хотя между лютеранами и есть одна партия, которая мнит иметь епископов, но мнение это несправедливо и ложно, как обличал сие в недавнее время один лютеранин из англичан же. Человек этот получил духовное образование и должен был занять место помощника мнимоепископского; но он прежде пожелал узнать, действительно ли лютеранское епископское рукоположение ведет непрерывное свое преемство от Апостолов, и в продолжение трех лет он с большим старанием исследовал исторически предмет сей. Что же он нашел через это исследование? Нашел, что все мнимосвященные лютеране, не что иное, как миряне, — собственное выражение исследователя. Потому что при последней перемене католицизма на протестантизм, один только епископ согласился принять лютеранское учение; но сей епископ всегда по болезни уклонялся от посвящения других, по свидетельству исследователя, рассуждая справедливо, что к новому учению нейдет старое священство. Поэтому меньшие духовные лица лютеранские вынуждены были сочинить некую формулу и по ней поставляли себе одинаково священников и епископов, в продолжение ста лет. Но всякое неправое дело само собой и обличается. Священники, одинаково поставляемые, как и епископы, стали по времени считать себя равными с ними в правах, по каковой причине лютеранская формула посвящения потребовала исправления и прибавления, что такой-то поставляется для священнического служения. Вот история лютеранского епископства!

Означенный же исследователь, исследуя начало

лютеранского рукоположения, с тем вместе исследовал и вероучения: латинское, армянское и православное, и присоединился к последнему, как сохраняющему вероучение свое неизменным и неповрежденным от нововведений со времен апостольских (Духовн. Бес. № 42, 1858 г.).

6. Лютер отверг хранение постов, установленных со времен Апостолов в Церкви Христовой по благословным причинам. Справедливо ли и основательно ли это отвержение? Не сам ли Господь наш — Богочеловек подал тому пример, постившись сорок дней и сорок ночей? А что Господь творил, то творил для подражания нашего, как сам свидетельствует: ”образ бо дах вам, да якоже Аз сотворих, и вы творите” (Ин. 13, 15). На сем основании и в память поста Господня в Православной Церкви издревле установлен пост великой сорокадневницы. Хотя не все могут в этом подражать Богу, как избранные Его Моисей и Илия, постившиеся сорок дней и сорок ночей, но каждый правоверующий христианин должен по силе своей хранить пост сей, как предписано в правилах единой истинной соборной Церкви Христовой. Ежели Апостолы, мужи богодухновенные, и святые, и бесстрастные, постились, как это видно из многих мест Деяний Апостольских, то основательно ли сделал Лютер, лишив людей немощных и страстных сего святого оружия к обузданию страстей, т. е. поста, потому что пост, с рассуждением и в меру соблюдаемый, укрощает страсти плотские?

Кроме сего на пост, соблюдаемый православными перед праздником Рождества Христова, есть явное указание в Деяниях Апостольских, что оный установлен еще во времена Апостолов, и был тогда уже из-

вестен всей первенствующей Церкви. Святой Лука, описав ту морскую бурю, в которой бедствовал корабль, везший апостола Павла в Рим, выставляет на вид, что св. Павел предсказывал сотнику это бедствие по причине позднего времени и уже начавшейся зимы: "занеже и пост уже бе пришел" (Деян. 27, 9). Очевидно св. Лука упоминает здесь об известном посте тогдашней Церкви. Пост сей у православных бывает от 15 ноября до 25 декабря, именно в то время, когда на Средиземном море бывают страшные зимние бури. Что скажут на это лютеране, мнящие предписывать себе правила жизни из Св. Писания?

7. Также лютеране, вопреки Св. Писания, исповедуют, что Дух Святой исходит и от Сына. Не Сам ли Господь говорил о Св. Духе, что Он от Отца исходит, как написано у Евангелиста Иоанна (гл. 15, ст. 26)? Еще и есть у лютеран мудрствования, ни на чем не основанные; но о них теперь говорить не время.

8. Один лютеранин из немцев, недавно принявший православие*, открыл следующую злонамеренность Лютера. Господь говорит в Евангелии: "аще же (брат твой) и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь" (Мат. 18, 17); и св. Апостол Павел пишет к Тимофею: "да увеси, как подобает в дому Божии жити, яже есть церковь Бога жива, столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15). Лютер понял силу слов сих, что ими Апостол и Сам Господь приписывает Церкви великую важность в отношении истины и данного ей от Господа духовно-

* Речь идет, несомненно, о К. К. Зедеггольме, принявшем православие в 1853 году, то есть об отце Клименте.

го права; а так как он от частной Римской Церкви, ради злоупотребления ее, отторгся, к соборной же Православной Церкви пристать не захотел, то и заменил в немецком переводе Св. Писания слово *церковь* словом *приход*, тогда как на немецком языке есть подлинное слово *церковь*. Справьтесь в подлинниках: еллино-греческом, латинском и французском не испорченном (не говорю о славянском) и увидите эту поддельность. Притом рассудите: ежели в семидесяти лютеранских разномыслящих партиях всякий приход будет столп и утверждение истины, то какая же это будет истина Христова? И еще: как исполнится лютеранское высокопарное проповедание любви, когда они, по сказанной притче, должны презирать друг друга, как язычников?

9. Лютер в оправдание своего отделения от единой соборной Церкви приводит место из Деяний Апостолов: яко не на лица зрит Бог, "но во всяком языке бояйся Его и делаяй правду приятен Ему есть" (10, 35). Но слова эти не служат в оправдание лютеранам, а *более* в обличение им. Это сказано о Корнилии Сотнике, что он за творение многой милостыни и за всегдашние молитвы действительно был приятен Богу, но не был совершенно угоден Ему, а был еще недостаточен в том, что требовалось к совершенному спасению. Почему явившийся ангел и повелел ему призвать Апостола Петра, объясняя и причину призвания: "той речет тебе глаголы, в нихже спасешия ты и весь дом" (Деян. 10, 6).

Вместо неправого толкования сего места и происхождения лютеране должны были бы вразумиться правильным смыслом оногo и обратиться к апостольской Церкви. Это особенно необходимо тем из них, которые стараются жить благочестиво, и совершают

многие молитвы к Богу: потому что в Церкви они обрели бы *глаголы* к совершенному благоугождению Божию и получили несомненное *спасение с домами* своими.

10. Лютеране и еще одному месту Св. Писания дают совершенно иной смысл. Св. Апостол Павел пишет к Тимофею: "Един бо есть Бог и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давший себе избавление за всех, свидетельство времени своими, в неже поставлен бых аз, проповедник и Апостол" (1 Тим. 2, 5–7). Православная Церковь объясняет это место Св. Писания так, что дело искупления нашего и избавления нас от клятв и первородного греха никто не мог совершить, ни какой человек, ни ангел, а только Единородный Сын Божий и Слово Отчее. Лютеране же, взявши только половину смысла сего места, именно: един бо есть Бог и един ходатай Бога и человеков, – усиливаются доказывать этим отвержение почитания угодников Божиих, считая излишним и ходатайство их за нас пред Богом. Но справедливо ли мудрствуют лютеране? Добросовестно ли толкуют так?

11. Вопрос. Отчего вероучение Православной Церкви, насажденное разными Апостолами в различных местах и народах, пребывает одинаковым и неизменным в продолжение восемнадцати столетий с половиною, лютеранское же учение, преподанное одним человеком, разделилось в продолжение трех столетий более нежели на семьдесят разномышленных партий?

Ответ. Оттого, что соборная апостольская Православная Церковь заповедует чадам своим понимать Св. Писание так, как объясняли и объясняют оное избранные мужи Божии, очищенные от страстей, Бого-

носные и духоносные, и признаваемые за таковых от всей соборной Церкви Христовой; Лютер же позволил каждому своему последователю толковать Св. Писание по своему усмотрению. Но как и одна гордость, не говоря о других грубых страстях, сильно может ослеплять человека, так что он не может видеть представляемой ему истины, поэтому высокоумные последователи Лютерова учения, толкуя каждый по-своему Св. Писание, не могли не впасть в разномыслие, споры и раздоры, от чего неминуемо последовало разделение их на столько несогласных между собой партий.

Лютер неправое свое мнение, что всякому, ради живущего в нем Духа Святого, можно толковать Св. Писание по своему разумеению, неправо основал на словах Апостола Иоанна: "вы помазание имате от Святого Духа и весте вся" (1 Посл. 2, 20). Лютеране не имеют сего духовного помазания, потому что не имеют таинства миропомазания, через которое общается крещаемым печать дара Духа Святого, как уже доказано это выше примером Самарии, крещеной от благовестника Филиппа; но не получившей через оное крещение Святого Духа. Хотя каженник, крещенный тем же Филиппом и св. Павел, крещенный Апостолом Ананиею, и получили Святого Духа, но частые случаи, бывающие по нужде и по особому Промыслу Божию, не могут быть общим правилом. Притом и получившие Святого Духа могут угасить его (1 Солун. 5, 19) различными страстями; а с угасшим светильником исследователь поневоле будет блуждать во тьме неведения и прелести вражией.

12. Лютер подверг сомнению соборное послание св. Иакова брата Божия. Когда другие вероисповедания признают это послание за подлинное св. Иако-

ва, то почему же один Лютер признает оное за сомнительное? Св. Иаков в своем послании говорит, что одной веры недостаточно ко спасению, а потребны при вере и добрые дела. Лютер же проповедует спасение через одну веру, без добрых дел. Но справедливо ли последнее мнение? Не Сам ли Господь говорит в Евангелии: "аще хочещи внити в живот, соблюди заповеди" (Матф. 19, 17)? И кроме хранения от грубых пороков заповедует Господь хранение от самых тонких, именно: не гневаться, не осуждать, хранить целомудрие и в очах, творить милостыню, пост и молитвы без тщеславия и любопоказания, прощать обиды, любить врагов, молиться за творящих нам напасть; а все это и называется добрыми делами. И в этих добрых делах Господь не имеет никакой надобности; исполнение святых Его заповедей служит лишь хранением собственно для человека. Что будет и с дорогими вещами, когда они будут оставлены в презрении, в сырости, в нечистоте? Одна сгниет, другая соржавеет, третьи изведет моль. То же самое бывает и со христианами, презирающими хранение и исполнение заповедей Божиих, и особенно с теми, которые исполнение оных считают ненужным и излишним. Доктор сам для себя собственно не имеет надобности в предписываемой им диете; но хранение диетических правил необходимо для больного, который у врача сего лечится. Так и для христианина, мнящего веровать в Бога, необходимо исполнение заповедей Божиих, и никак не достаточно ко спасению одной веры. Потому что и бесы веруют и трепещут, но не имеют надежды получить спасение. А если некоторые из христиан по немощи не могут совершать всех добрых дел? Тогда Господь приемлет благое их произволение и сознание своей немощи, и

смирение перед всеми, и прошение помилования от Господа единым Его милосердием. Ибо Господь ненавидит только горделивое самооправдание тех, которые измышляют лукавые изверты к своему извинению.

Благонамеренные и из лютеран признают потребность благочестивой жизни и исполнение заповедей Божиих, потому что самое внутреннее сознание человека, самая совесть его требует сего. Одни лишь ослепленные гордостью и сластолюбием несправедливо надеются получить благой конец и милость Божию *туне* и после укоризненной их жизни; но весьма ошибутся в этом. Что сеет человек, то всячески и пожнет.

13. Некоторые из лютеран усердно и с горячностью молятся Богу и на этих чувствах душевных мнят основать свое спасение, оставляя без внимания главнейшую заповедь Господа, который говорит: „не всяк глаголай ми: 'Господи, Господи!' внидет в Царствие Небесное; но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех” (Матф. 7, 21). Как в начале преслушанием праотцев нарушена была воля Божия, так и теперь исполнение оной начинается прежде всего послушанием Церкви Христовой, как Сам Господь свидетельствует о сем пред пастырями ее, начиная от Апостолов: ”Слушайй вас, Мене слушает, и отменяйй вас, Мене отменяется: отменяйй же Мене, отменяется пославшаго Мя” (Лук. 10, 16); и в другом месте: ”аще же церковь преслушает (а не народ), буди тебе яко язычник и мытарь” (Матф. 18, 17). Тщетно против сих слов лютеране хотят оправдать себя другими словами Св. Писания: ”Вы есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие”

(2 Кор. 6, 16; Лев. 26, 12). Человек сугубое имеет естество, — состоит из тела и души, и Господь прежде сотворил тело, потом же душу. Поэтому всякий, именующийся христианином, прежде должен принадлежать к видимой Церкви Христовой, как Сам Господь повелевает, потом уже да позаботится он о духовной своей церкви, по внутреннему человеку. И то и другое необходимо. Не вотще сказано в Св. Писании: „Бог вселяет единомышленныя в дом свой” (Пс. 67, 7), т. е. в Церковь Свою; как воинствующую на земле, так и торжествующую на небеси; ибо обе они составляют одно царство Дому-владыки Христа. Посему разномыслящим и отделяющимся от сего Дома Божия предлежит явная опасность остаться вне, с юродивыми девами, так как они по упорству (против Церкви) будут иметь оскудение в потребном елее.

*

Вот, дяденька, что я узнала, то представляю на рассмотрение ваше. Не подумайте, что я хочу учить вас: яйца курицу не учат. Также не желаю, чтобы вы просто поверили словам моим, но только искренно прошу вас исследовать важный и необходимый предмет сей. Еще прошу дать мне благородное слово, чтобы вы, прежде совершенного исследования, не говорили и не рассуждали об этом с вашими пасторами и близкими вам лютеранами; а если угодно будет вам в случае недоумения что-либо узнать о православии, то можете поговорить о сем с высокопреосвященным митрополитом Григорием, с Андреем Николаевичем Муравьевым и с Степаном Онисимовичем Бурачком.

Я знаю, дяденька, что вы усердно молитесь Богу.

Потому прежде исследования обоих вероисповеданий помолитесь Господу с верою, без всякого предубеждения к той или другой стороне, православной и лютеранской. Я верую милосердию Божию, что если человек с правотою сердца взыщет истины Христовой, то всячески она откроется ему без примеси ложного мудрования. Только не принимайте извещения о сем и удостоверения через какой-нибудь голос извне или внутри вас. Это, по православному вероучению, может быть от врага, ненавистника истины Христовой и сеятеля плевел ложного учения. Извещение и удостоверение, по учению Церкви, есть просто разрешение сомнения и убеждение в истине Христовой, чего, как себе, так и вам желаю от всей души и от всего сердца. Аминь.

ПИСЬМА ПРЕОСВЯЩЕННОГО
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА К ПРИСЯЖНОМУ
ПОВЕРЕННОМУ МИТРОФАНУ РАФАИЛОВИЧУ
КОРЯКИНУ ИЗ ЗАДОНСКА

22 октября 1888 года

Милость Божия буди с вами.

Много просрочил я. Прошу извинения. Поздравляю с новосельем. Монастырь — молитва; св. Тихон — благодать Божия готовая. Молитесь в монастыре и черпайте благодать у сего источника.

Помышляя о вашем новоселье, я думал было: вот вам и *дело* — ходить к службе или службам в монастырь. Но потом положил, указав на это, оставить сие в вашей воле и на ваш выбор. Потому что это, может быть, помешает вашим домашним порядкам, — не житейским... Первое письмо мое было направлено не туда. Я полагал, что у вас постоянное охлаждение, ... или сухость и нечувствие. Но этого у вас нет, а есть то, что со всеми по временам бывает. Об этом все почти, писавшие о духовной жизни, упоминают. Св. Марк, подвижник, трех такого рода врагов выставляет: неведение с забвением, разделение с нерадением, и окамененное нечувствие. "Какое-то параличное состояние всех сил душевных". В кратких молитовках не забыл их и св. Златоуст: "Избави мя от неведения, забвения, уныния (это разделение с нерадением) и окамененного нечувствия". — Средства указываются немногосложные: терпеть и молиться.

Терпеть. Возможно, что Бог Сам посылает это для

обучения не полагаться на себя. — Иной раз много берем на себя, и многого ожидаем от своих усилий, приемов и трудов. Вот Господь и берет благодать, и оставляет одного, как бы говоря: "Вот попробуй, насколько у тебя есть сил". Чем больше имеется дарований естественных, тем такое обучение нужнее. Сознав это, будем терпеть. Посылается это и в *наказаниях* — за вспышки страстей, допущенные, и не осужденные, и не покрытые покаянием. Вспышки эти то же для души, что для тела — пища дурная... которая отягчает, или расслабляет, или отупляет... Надо, выходит, при сухостях, осмотреться, не было ли чего такого в душе и покаяться пред Господом и положить вперед остерегаться.

Больше всего достается это за гнев, неправду, досаждение, осуждение, и подобное. — Врачевство — возвращение опять благодатного состояния. Как благодать в воле Божией, то нам остается молиться... об избавлении от сей самой сухости... и от окамененного нечувствия. Встречаются такие уроки: обычного молитвенного правила при сем не оставлять, но все его точно исполнять, стараясь всячески, чтобы мысль сопровождала слова молитвы, напрягаясь и чувство расшевелить... Пусть чувство — камень, но мысль будет: хоть половинная, но все же это молитва будет; ибо полная молитва с мыслию и чувством должна быть. При охлаждении и бесчувствии — мысль трудно будет удерживать при словах молитвы, но все же возможно. Делать надо наперекор себе... Это перетруждение себя и будет средством преклонить Господа на милость и возвратить благодать. А бросать молитву никак не должно. Св. Макарий говорит: "Увидит Господь, как искренно желаем блага этого... и пошлет". Молитву же против охлаждения воссылать своим сло-

вом пред правилом и после правила... и в продолжении его к Господу взывать, — как бы преднося пред лице Его мертвую душу: видишь, Господи, какова она! Но рцы слово и она исцелее. С этим же словом и в продолжение дня по часту обращаться к Господу.

Некто говорит: "Поставь себя в состояние умирающего..." Другой прибавляет: "Еще лучше, поставь себя в момент суда над тобой, когда готово изыти из уст Божиих последнее о тебе решение"... Нельзя не согласиться, что такие приемы действительно сильны — размягчить каменное сердце.

Знаю одного, который особенным образом держит молитвенное правило... именно: оставил читать молитвы, что в молитвенниках, а избрал себе несколько кратких молитовок из псалмских стихов и воззваний на ектениях, какие более пригодны к его состоянию, расположил их своим образом... и затем, становясь на молитву, повторяет каждый стишок несколько раз с вниманием и чувством. Когда все переговорит Господу, и правилу — конец. Он уверяет, что как стал это делать, внимание не разбегается во все продолжение правила, и чувство держится. Но, конечно, не механическое продолжение это производит, а сила мыслей, кои в стихах. — Он говорит: "Начинаю правило, положив пред собою все грехи свои, готовые за них суд, посрамление и осуждение, — и взываю о пощаде". — Кроме этих стишков, он уже ничего не читает молитвенного. У вас есть домашнее молитвенное правило для всей семьи. Это святое дело не надо изменять или отменять. Но вам потом можно держать особое — для себя только правило... если вздумаете, по указанному образцу.

И вот что я хотел указать вам как *Дело*. Если решитесь, наберите стишков... и правило готово.

Хождение в церковь — самое лучшее средство к раскрытию духа молитвенного, при коем не посмеет окаменеть сердце. Но вам едва ли можно этим всегда пользоваться.

Есть молитвенники, которые молятся одною Иисусовою молитвою... Но это для совершенных; а для вас, начинающих, эта единость мысли скоро наскучивает. Потому указанный прием лучше, разнообразя содержание молитвы указанием различных нужд духовных. Между тем молитовки все обращаются к Господу. Следовательно, и в духе и тут молитва Иисусова.

Вот вам — слово св. Исаака Сириянина — на случай охлаждения и нечувствия!

”Не смущайся мыслию и не подавай руки душевному расслаблению, но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве и жди помощи. Она придет скоро, чего и не узнаешь”. Стр. 490.

Благослови вас Господи! Спасайтесь!

Ваш доброхот. Е. Феофан.

*

20 февраля 1889 года

Милость Божия буди с вами!

Пишу к вам только затем, чтобы сказать, что некогда как следует писать. Куча дел... и голова бывает тяжела. Против немочи, о которой вы писали в последнем письме, хорошее средство — спихивать себя самому с постели.

Правила желаете. Я писал вам — возьмите маленькие молитовки св. Златоуста 24. — Если мало, приложите из — помилуй мя Боже — стихи с начала до — Воздаждь ми радость спасения... Это еще 12–13. Из

просительной ектении составьте молитовки — 6... День совершен... Ангела мирна... — Самим можно составить. — Мытарев глас: Боже милостив буди ми грешному. — Возглас на корабле — Господи спаси, погибаем!

Соберите их десятка три, четыре, пять... Повторяйте их по 10 раз... и это будет ваше правило, — утром и вечером.

Произнося молитовки, — углубляйтесь в их смысл, прилагая к себе... Первый плод... не заметите, как время пройдет.

А другие плоды после увидите. Ваши молитовки, что вы прописали, очень хороши, но длинные... Их можно вставлять между маленькими... но обязательно, и когда придут. Но главное, со всякой духовной нуждой обращайтесь ко Спасителю. Восставьте веру, что Он близ есть и слышит... И изреките Ему свою нужду... Почаще так... делайте... и придет.

Если найдете удобным, учащите бывать в храме Божиим. Нигде так не раскрывается дух молитвенный, как в храме, при внимательном и благоговейном в нем пребывании. Если будете так делать, скоро увидите плод... однакож не после первого и второго пребывания в храме... Надо употребить месяцы... и показать постоянство и терпение в сем труде. — Но и здесь прибавлю — не вяжите себя. — Если же чем свяжете, держитесь того; ибо этим условливается плодоносие такой сеяты.

Когда вздумаете пробраться в скит, — побывайте там — в гостинице — старица есть многоученная, — но главное знакомая с наукой Божией... С нею можете перетолковать о всем... лучше нежели с кем другим...

Но каков час! Спасайтесь!

Поздравляю с местом! Молитесь и Господь не оставит.
Ваш доброхот. Е. Феофан.

*

1 октября 1889 года
Покров Матери Божией буди на вас!
Милость Божия буди с вами!

Начали коротенькими молитовками молиться и бросили. Если б не бросили — дело прошло бы уже далеко; а теперь опять снова начинать подлежит. Молитва настоящая та есть, которая прямо из сердца исходит и к Богу восходит. И никакая другая молитва не есть молитва, если она не такова. Об этом и должна быть вся у нас забота в деле молитвы. Но обычно ум наш загроможден множеством не Божеских помышлений, воля — многими житейскими заботами, сердце — сочувствиями и услаждениями земными; почему тотчас к Богу возноситься для нас то же, что из трясины выкарабкиваться. — Маленькие молитовки — очень пригодное к тому средство, или пособие. Они приучают ум держаться на одном; понемногу сочувствие на свою сторону перетягивают, и от забот отвлекают. Это действие сильнее и скорее проявляется, если не на правиле только, но и в другие часы, — просматривать их со вниманием. — Конечный плод — образование чувства к Богу, которое неразлучно с непрестанною молитвою, или есть одно и то же с нею. — Тут бывает живой союз с Богом — цель духовной жизни.

”Прямо спросонку бывает быстрый наплыв помышлений, и дел, и сочувствий”. Надо это уничтожить и приобрести навык — первомыслие свое Богу

посвящать... Это производится Богомыслием. Об этом, кажется, была речь... Именно — по Символу веры надо пройти — все святые истины... до суда всеобщего и решения участи всех.

Извольте сии два приема соблюдать, — и добро будет. — Приложите только к сему — уклоняться от зла и творить благо... словом, делом и помышлением. — И вся программа тут...

Напишите на клочке... и прочитывайте чаще: как проснешься — Богомыслие; затем коротенькая молитва со вниманием и чувством и во весь день: уклонися от зла и твори благо... всякое дело, — и малейшее, — делай наилучшим образом, как пред оком Божиим.

Боль руки — это мускульный ревматизм. У меня был он... Вылечен электромагнитною машинкой. Небось, есть в городской больнице... Попробуйте. — Лечение у меня продолжалось месяца полтора... утро и вечер. Электромагнетизм проводим был в место, где ломота. Машинку и купить можно...

— Ваши дела семейные и служебные да устроит Господь — наилучшим образом.

— 33-й псалом, когда выйдет, пошлю.

— Размышлений о страданиях Господа я не составлял. Это не мое произведение.

— Писать записочки и класть на мощи Святителя, мне кажется означает большую притязательность. Разве у святителя Тихона нет слуха, чтоб слышать молитвы к нему?

Благослови вас Господи! Спасайтесь!

Ваш доброхот Е. Феофан.

20 января 1890 года

Милость Божия буди с вами!

Да благословит Господь новое лето и для вас, чтоб, при здоровье и добром устроении внутри, вы во всем благоуспешны были.

Все, что вы писали о себе, очень утешило меня. Теките путем сим твердо, — и достигнете благого конца.

А неурядицы в помыслах и чувствах, какие испытываете, все улягутся со временем, если несмотря на них не перестанете всю ревностью ревновать об одном том, что угодно Богу. К этому же один верный способ — память Божию иметь и память смертную. Они водрузят страх Божий, который будет возбудителем на все Богоугодное и отвратителем от всего, Бога прогневающего, и хранителем добрых внутри стяжаний, и истребителем всего залегшего там недоброго.

Память Божия зрит Господа перед собой и в себе, и тотчас замечать дает недобрые возникновения из сердца, и подавляет их. А в этом ведь и есть все дело.

Не говорите — не могу. Это слово не христианское. Христианское слово: *все могу*. Но не сам по себе, а — о укрепляющем нас Господе, как уверяет апостол. Конечно, установиться в памяти Божией требует труда. И беритесь за него. На первый раз будет, что только 10 раз вспомните о Господе; а под конец, что только десять моментов позабудете о Нем; и наконец Солнце правды, Христос Господь, воссияет на душевной тверди вашей и будет там сиять, не померкая ни на одно мгновение. — Ищите и обрящете.

Благослови вас Господи!

Ваш доброхот. Е. Феофан.

Посылаю книжки: 33-й псалом и 4-ый том Добротолюбия. Желаю назидания.

*

11 ноября 1890 г.

Милость Божия буди с вами!

Посылаю вам 5-й том Добротолюбия — конечный. Этот том с четвертым могут заменить все книги — подвижнические. Извольте умудриться с помощью Божиею.

Я давно вам не писал, и не знаю, что у вас. Полагаю однакож, что все идет добре, и внутри и вне. Благодарение Богу! Пусть что и не ладно; но слыша слова апостола, о всем благодарить повелевающего, будем благодарить и за это. Ибо все от Господа, и во благо нам.

Вы в своей практике встречаете негладкости. Очень натурально, правда угловата и суковата: того зацепит, этого толкнет. А те, которые не любят правды, считают это невежливостью и даже обидою. — И пошли речи задорные и вздорные. — Помогите вам Господи теши путем правым, не уклоняясь от него ни по каким внешним уважениям. Конечно, это не так приятно; но зато совесть покойна, и милость Бога праведного близка.

Благослови Господи деток ваших! Утешаюсь тем, что вы об них пишете. Господь, видимо, благословляет труды ваши о них.

Покров Божий буди над вами и над всем семейством вашим.

Благослови вас Господи! Спасайтесь!

Ваш доброхот. Е. Феофан.

Это письмо было написано и не отослано только по причине того, что не успел зашить книгу... А тут пришло ваше письмо. По указаниям сего письма нахожу нужным только сказать о преследовании В., — что лучше оставить дело без преследования. Ведь уже он наказан... И чувствует это наказание... И еще о расстройстве вашей молитвы. Это поважнее В... Я писал вам о коротеньких молитовках, и вы отвечали, что набрали их, как я указывал. — Так вот — извольте — и утром и вечером только сими молитвами пользоваться. Утром прочтите с полным вниманием ”От сна восстав...” и проч... благодарения Св. Троице... Затем... творите те молитовки... повторяя каждую не менее *трех* раз (а если больше, — не мешает) — не спеша, все с мыслию и чувством. Заключите воззваниями ко всем святым, которых поминаете... и поминаем — своих живых и умерших... и довольно... тоже и на ночь делайте... и днем иной раз перечитывайте все подряд по разу... особенно когда идете куда. Ничто так не способствует собранию внимания пред лице Божие, как эти коротенькие молитовки. — Молитву Иисусову вставляйте в среду их, как найдете удобнее... через три и пять молитовок.

Ливны? — Я учился там в духовном училище... а родина моя — Чернавск, между Ливнами и Ельцем.

Благослови вас Господи!

Е. Ф.

28 октября 1891 года

Милость Божия буди с вами!

Виноват! Просрочил ответом, а он так крепко был нужен.

Что вы наговорили на себя, из рук вон дурно. Полагаю, что вы, когда писали, были в мрачном расположении и немного поприбавили. — Но прибавлено ли что к вашим подвигам, или все так есть, как вы пишете, — очень утешительно, что видите сию дурноту, отвращение к ней чувствуете, и жаждете исправления. Благослови Господи такое начинание! Дело очень просто: первое — прекратить всякую неправду — большую и малую — наотрез, до положения живота, хоть бы умереть пришлось, а от правды не отступать.. Второе — прекратить ненужное самоугодие в яствах, питиях, развлечениях, и подобном. Третье — исповедаться во всем — с твердою решимостью не возвращаться вспять... и идти бодренно правым путем.

Вам ведь известно, что никакие извинения не допускаются в отступлениях от правды, — и вообще, особенно в таких лицах, как вы, — в блюстителях правды. Равно не имеют силы извинения в делах, противных заповедям, и в жизни без внимания к себе и к Богу всевидящему, и имеющему судить по тому, что видит. — Да вам как Бога забыть?! — Вы служите по делам правды. Правда — Божеское дело. Бог вам вверил Свое дело, и вы Его служитель, обязанный точно сообразоваться с Его волею. Вы про это забыли. Враг подошел и внушил вам, что вы независимый распорядитель в своей области... как хочу, так и ворочу. — И пошла у вас неурядица в делах служебных,

а там и в семейных и нравственных. — Ну — опомнитесь. — Стойте же!

Чужая молитва — помощна не сама по себе... Она прилагается к действующему, — и без сего ничего сделать не может. Да без сего и Сам Бог ничего не сделает. Все от вас. Начинайте. Бог благословит. Все уладится. Душа успокоится. И к Богу дерзновение воротится. О вашем переходе в Воронеж, какой я помощник и советник. Могу только пожелать вам добрых решений, — и когда на что решитесь, помолитесь и сказать: Господь да благословит вас!

Да благословит Господь и детей ваших — воинствующего и готовящегося к тому же, — и всех прочих детей и всю семью вашу. Паче же благослови Господь вас самих — поправить все попортившееся... и снова начать богоугодную жизнь.

Спасайтесь. Ваш доброхот. Е. Феофан.

*

7 октября 1892 года

Милость Божия буди с вами!

Долго не отвечал вам. — Виноват; прошу простить. Тогда, когда писали письмо, было у вас все хорошо... и вы были в радостном настроении под влиянием совершенного вами хождения пешком в Воронеж, на богомолье. — Видите, что творит твердая решительность... самоотверженная?.. Труд не в труд. А в конце необычно утешительное состояние сердца. В основе лежала *безжалостность* к себе. Извольте возлюбить ее... и не отпускать от себя... Безжалостность устроит внутренний крест, а он дает сораспятие Христу Господу, за которое Господь тут же воздаст и благом духовным... утешением и крепостью бодрю,

готовую на всякий труд. В этом и средство к недопущению и прогнанию *вялости духа, сухости и безжизненности...* Ищите всегда наперекор себе покоя, особенно через телесное какое улаживание...

Кроме этой безжалостности к себе, возбуждителями духовными, самыми сильными, бывают — *стояние* вниманием в присутствии Божиим и непрестанное чаяние — *вот - вот смерть*.

Если б дал Бог сии три пунктика водрузить в сердце, тогда вам не было бы нужды ни в каких уроках и напоминаниях со вне. Найдите также какое-либо дело из ряда подвижнических, которое было бы, однакоже, тяжело и соединено с затруднениями в исполнении... и наложите его на себя как закон неотложный... *хоть умри, а исполни*. Как это было бы благотворно для возбуждения духа?! Вы писали: "Час другой постоишь на молитве..., а в душе все безжизненно". — От чего так? я думаю, от того, что внимание ваше обращено в эту пору только на то, чтоб простоять, — и перечитать, и переговорить положенное... Это внимание надо иметь, но не впереди его держать, а на 3 и 5 месте... Наперед надо ставить чувство грешности... За тем *вот-вот смерть, суд и осуждение*. — Куда укрыться? Некуда... в лоно лишь милосердия: Боже милостив буди... Под сень креста... *раздери Господи на нем рукописания грех моих...* Пред молитвою — всякий раз если проводить эти чувства по сердцу, то оно вялым оставаться не может. — Один старец говаривал, что самое пригодное место для молитвы — *стояние* вниманием на суде Божиим, в ожидании, что *вот-вот* услышится решение..! Молимся без подобной подготовки — и молитва бывает никуда не гожею... Еще от того она такова..., что припоминая, как была у нас хороша молитва несколько

прежде, и думаем, что и теперь она будет такой же — стоит только стать... и все пойдет добре, а оно нейдет... Сейчас надо дело поправить... Это пустяки, когда говорят, что поправить не можем... не беремся и не поправляется. Господь близ! А Он никогда не оставляет, кто искренно ищет Его.

Благослови вас Господи! Спасайтесь!

Ваш доброхот. Е. Феофан.

ШЕСТЬ ЧТЕНИЙ
О
ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ В ЕГО ИСТОРИИ

(Против общей исповеди)

"Да не подумают однакоже, будто бы я утверждаю, что всяким миром надо дорожить. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие. Но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель, соединяющий с Богом".

(Св. Гр. Богослов)

"Крайнее нерадение и бессовестие есть некоторых пресвитеров принимать к исповеди многих".

("О должностях Пресвитеров Приходских")

Читано в Храме св. Панкратия в Великий Пост 1926 г.

*Посвящается Приснопамятным
о.Иоанну Кронштадтскому и
Духовному Отцу моему,
Оптинскому старцу
Иеросхимонаху Анатолию*

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Я не ставлю себе задачи исторической в собственном смысле этого слова. Я не сообщаю новых фактов, не исследую их внутренней связи. Я пользуюсь уже готовыми материалами и данными церковной

истории для определенной задачи. На основании этих данных я хочу уяснить себе истинную природу одного глубоко печального явления современной церковной жизни — разумею, так называемую, ”общую исповедь”. Исследователи, при изучении истории Церкви, такой специальной задачи не ставили и ставить не могли по той простой причине, что общая исповедь до последних лет в общецерковную практику не входила и церковная власть относилась к ней определенно как к беззаконию. Церковь осуждала ”общую исповедь” столь единодушно и категорически, что не возникало самого вопроса о ее допустимости.

В первом вступительном чтении мне надлежит ответить на несколько вопросов. И прежде всего надлежит ответить на вопрос: — *Почему я с такой настойчивостью выступаю и устно и письменно против общей исповеди?*

Отвечаю: потому что, по моему глубокому убеждению, сейчас решается вопрос не о том, можно ли наряду с единоличной исповедью при известных условиях допускать и общую исповедь, а решается вопрос — о *замене* единоличной исповеди исповедью общей. А так как общая исповедь — это переходная ступень к отказу от всякой исповеди, то сейчас происходящее в церкви есть не что иное, как некоторый процесс, угрожающий самому бытию покаяния как Таинству.

В малых православных странах такое уничтожение Таинства уже совершилось.

Проф. С.Н.Булгаков пишет:

„На Балканах, у сербов особенно, исповедь совсем вышла из употребления, а у греков причащаются без исповеди. Конечно, это следствие общего религиозного одичания”.

Мы присутствуем сейчас при таком же постепенном одичании в России.

Вот почему всякие "улучшения" — и "оговорки" для того, чтобы сделать приемлемой "общую исповедь" в какой бы то ни было форме, я считаю недопустимыми. Каждый, практикующий общую исповедь хотя бы в самом улучшенном виде, должен знать, что он кладет свою лепту в антицерковное дело замены частной исповеди исповедью общей. Оговорки и улучшения — отпадут, а факт замены единоличной Православной исповеди общей исповедью останется. Поэтому вопрос об общей исповеди должен решаться безоговорочно, категорически, без всяких "но" и "если". Защитникам церковного православного взгляда на исповедь, надлежит твердо установить, что

"Общая исповедь недопустима ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах".

Второй вопрос: Своевременно ли выступать против общей исповеди?

Отвечаю:

Да, своевременно. Мы, верующие христиане, не можем видеть в событиях земной жизни, как личной, так и общецерковной, простой случайности. Всякая неправда, всякое нарушение истины, неминуемо вызывает скорби, влечет за собой испытания — поэтому, чем больше этих скорбей — тем нужнее исправление, восстановление истины. Я и не могу себе представить такого момента в церковной жизни, когда было бы несвоевременным восстановить правду, отказаться от заблуждения, вернуться к истине.

И если общая исповедь есть заблуждение, то чем скорее мы от него откажемся, тем своевременнее это будет для блага Церкви.

Третий вопрос: "Не вносит ли это "разделения" в церковную жизнь?"

Не всякий спор есть разделение, и не всякое молчание есть мир. Уместно здесь вспомнить следующие слова Св. Григория Богослова:

"Да не подумают однакоже, — говорит он, — будто бы я утверждаю, что всяким миром надо дорожить. Ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие. Но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель, соединяющий с Богом".

Так и в вопросе об "общей исповеди". Начинают говорить о мире лишь тогда, когда раздаются голоса протеста против нарушения церковного устава. Когда же нарушители этого устава устраивают общую исповедь и говорят с амвона в ее защиту, их не обвиняют в нарушении церковного мира. Ссылаются на участие народа в общей исповеди, говорят, что это нарушение правила приемлется народом. Но народ принимает общую исповедь в большинстве случаев не зная, что это есть нарушение церковного правила. Если же народ будет знать, что это церковью считается недопустимым, он никогда не примет такого новшества.

Путь к истинному миру в этом вопросе один: всем надлежит подчиниться правилу Церкви. Решая этот вопрос, нельзя решать его на основании своего личного мнения, или на основании авторитета отдельных лиц. Такой путь неминуемо создает разделения и разногласия. Надлежит выяснить: как вопрос этот разрешается Православной Церковью. И если Православная Церковь, а не отдельные хотя бы и самые досточтимые ее представители, считает общую исповедь недопустимой — все, нелицемерно стремя-

щиеся к миру, должны подчиниться этому решению Церкви — и тогда будет достигнут истинный мир для Господа. — А нарушать церковное правило на деле — и на словах "во имя мира" требовать молчания защитников церковного правила — это значит требовать отказа от "прекрасного разногласия" во имя "пагубного единомыслия". Молчать и не выступать против общей исповеди — это значит не служить делу мира, а попустительством своим быть участником в нарушении правил Церкви.

Четвертый вопрос: Зачем обращаться к мирянам? Не лучше ли сначала решить этот вопрос духовенству между собою?

Да, лучше. Но этот вопрос теперь уже не имеет никакого смысла, об этом надо было думать раньше, прежде чем духовенство позволило себе *самочинно* нарушить устав Церкви, говорю "самочинно", потому что общего разрешения на общую исповедь духовенству никогда церковною властью не давалось. А теперь *поздно* говорить о решении вопроса сначала среди духовенства, потому что миряне уже введены в круг этого вопроса. Во многих храмах прихожане настаивают на общей исповеди, требуют ее от священника. Даже у нас, в Панкратьевском храме, где, кажется, достаточно известно мое отношение к общей исповеди, когда я должен был служить в другом храме и не мог закончить исповедь всех с вечера, — один из исповедующихся предложил мне для оставшихся устроить "общую исповедь". А к о. Сергию Мечеву пришли двое и просили им устроить общую исповедь для двоих — при таком условии не говорить с мирянами, не разъяснять им Православного учения и порядка Таинства Исповеди совершенно недопустимо. Миряне уже активно участвуют в

решении этого вопроса и наша пастырская обязанность разъяснить им, как учит об этом Православная Церковь.

Пятый вопрос: Не свидетельствует ли выступление против общей исповеди о неуважении к действиям Святейшего Патриарха Тихона, который "благословлял" общую исповедь?

Московское духовенство прекрасно знает, что Святейший Патриарх Тихон был *против* общей исповеди. Это выразилось, между прочим, и в том, что он не дал духовенству принципиального разрешения на общую исповедь; он давал свое благословение отдельным и очень немногим лицам. Благословение свое Святейший Патриарх давал из Церковной Экономии по соображениям не принципиального характера и ссылаться на это благословение как на выражение положительного отношения Патриарха к общей исповеди — по меньшей мере недобросовестно.

Остается еще сказать об общей исповеди о. Иоанна Кронштадтского. Но этому вопросу мы посвятим отдельное чтение.

Теперь несколько слов о моих выступлениях против общей исповеди.

Осенью прошлого года мною был написан доклад "Против общей исповеди", каковой я и представил Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Петру. От него я услышал слова одобрения за это выступление. Владыко Митрополит сказал мне; что он сам решительный противник общей исповеди и думает издать по этому вопросу указания духовенству.

На престольном празднике в Спасской церкви Митрополит Петр сказал мне, что передаст доклад на рассмотрение епископов, а на вопрос, благословляет ли меня Владыко Митрополит на устное выступле-

ние против общей исповеди теперь же в храме Св. Панкратия, Митрополит Петр сказал „Благословляю”.

В Рождественский пост я предполагал приступить к чтению о „Таинстве покаяния в его истории”, но так как некоторые сторонники общей исповеди обвиняли меня в самочинии моих выступлений против общей исповеди в храме, — я обратился к Митрополиту Петру с следующим прошением:

”Местоблюстителю Патриаршего Престола
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Петру Митрополиту Крутицкому:
Священника Валентина Павловича Свенцицкого

Прошение

”В храме Священномученика Панкратия мною заканчивается круг бесед на избранные места из творений Св. Иоанна Лествичника. Дальнейшие беседы я хотел бы посвятить ”Таинству покаяния в его истории” по следующему плану:

1. Покаяние в Ветхом Завете.
2. Таинство исповеди во времена Апостольские в первоначальном христианстве.
3. Таинство исповеди в эпоху Вселенских Соборов.
4. Исповедь и духовенство.
5. Дальнейшее развитие Таинства Исповеди.
6. Иоанн Кронштадтский и общая исповедь нашего времени.

Приступая к делу столь ответственному, прошу на ведение этих бесед Вашего Архипастырского благословения”.

На этом прошении Митрополит Петр 5 октября написал:

”Ведение лекций о Таинстве Покаяния благословляется. Митрополит Петр”.

Работа моя затянулась. И к чтению лекций во исполнение данного мне благословения, я могу приступить только теперь, в Великом Посту.

Должен сказать еще, что, как ни многочисленны сейчас сторонники нарушения устава о единоличной исповеди, но мое выступление не единственное.

Первым по времени, насколько мне известно, выступил против общей исповеди протоиерей Николай Арсеньев.

В 1921 году покойный Петроградский Митрополит Вениамин рассылал указ Святейшего Патриарха о недопустимости церковных новшеств, присовокупил от себя запрещение и этого новшества общей исповеди по своей епархии.

Затем митрополит Серафим (Чичагов) написал против общей исповеди подробный доклад, в котором, между прочим, говорит: ”Никакой общей исповеди не существовало ни в древности, ни впоследствии, и нигде о ней не упоминается на протяжении всей истории Православной Церкви”. ”Установление общей исповеди является ”явной заменой Новозаветного Таинства ветхозаветным обрядом...” ”Одна молитва и одно сокрушение о грехах не составляет Таинства, что проявляется естественным образом из глубины сердца, даже возникает помимо воли человека, а для Таинства нужно явление сверхъестественное, воздействие от Духа Божественного”.

Епископ Николай Елецкий, а затем епископ Николай Тульский издали по своим епархиям указания в этом смысле.

Проф. протоиерей Налимов по поводу общей исповеди пишет:

”Так называемая общая исповедь не имеет никакого отношения к ”Таинству Покаяния”. Она представляет один из способов приготовления христиан, не чувствующих потребности в Таинстве Покаяния, к благоговейному приобщению и может быть допускаема лишь при самом полном разъяснении принимающим ее, что она разрешения ни от каких грехов не дает, является не заменой исповеди, а полною отменой исповеди пред причащением и всецело оставляет на совести каждого участника ее полную ответственность перед Господом непосредственно за достойное и недостойное принятие Его Тела и Крови”.

Было выступление против общей исповеди и со стороны мирян.

Известный церковный деятель М. А. Новоселов по поводу общей исповеди между прочим говорит:

”Что касается святоотеческих суждений относительно так называемой общей исповеди, то я затрудняюсь указать их и думаю, что их невозможно найти по той причине, что общая исповедь — новшество, которого не знала древняя Церковь. Там сначала была другая практика, совершенно противоположная этому новшеству, — один каялся пред целой общиной, а у нас заводят одновременное совместное покаяние многих перед одним, в сущности даже не перед кем из людей”. Он называет общую исповедь ”великим злом, которое при довольно благосклонном попустительстве нашей церковной власти, пустило глубокие корни в нашем церковном обществе” и ”подделкой, которую враг вводит в нас”.

Были выступления против общей исповеди и с амвонов. Мне известно выступление протоиерея Владимира Воробьева у Николы Плотника и священника Сергия Успенского из Неопалимой Купины.

А теперь перехожу к самому исследованию.

С чего мне было начать?

Прежде чем обращаться к изучению древности, я решил обратиться к настоящему и выяснить, как относится к общей исповеди современная Православная Церковь.

Я решил узнать, как по этому вопросу современная Церковь мыслила *до сих пор*. Каково отношение к ней не Владимира, Александра, Иоанна, а Православной Церкви.

Взял требник. Еще раз перечел написанное там о порядке, каковой должен исполнять священник, желающий исповедать мирян. Там написано:

”Приводит духовный отец, хотящего исповедаться единого, а не два или многия”...

Слова ясные, определенные... Священник должен исповедовать не двух сразу, и тем паче многих, а единого.

Мне известно, что издавались более подробные дополнения к требнику.

Беру такое ”Последование о исповедании”, открываю и читаю:

”По сем (по прочтении молитв) духовник оставляет при себе единого, а прочим всем вон выйти велит и глаголет к нему: се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. И тако вопрошает его едино по единому”.

Конечно, можно было бы остановиться на этом. И из этих слов ясно, что Православная Церковь учит об исповеди, признает ли она ”исповедь общую”. Но я беру книгу: ”Православное Исповедание веры Соборная и Апостольская Церкви Восточная”. Там в ответе на вопрос 113 ”что подобает зрети в тайне сей” (в тайне покаяния) читаю:

”Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. К сокрушению сему сердце лепотствует последовати и чрез уста исповедания всех грехов и по единому, понеже не возможет духовник разрешити что-либо, аще не познает кая подобает разрешити, то запрещение дати за тая”.

То есть должно быть ”устное исповедание грехов, порознь”, ”ибо духовник не может разрешить, когда не знает, что должен разрешить и какое положить наказание”.

Но я не удовлетворяюсь и этим. Может быть, были новейшие разъяснения. Беру книгу ”Свод указаний и заметок по вопросам Пастырской Практики”. Читаю:

„Сколько мы знаем, священники не позволяют себе исповедовать по несколько человек зараз, вместе”.

”И относительно малолетних этого не дозволяется делать, тем более неудобно, вредно и незаконно исповедать зараз вместе по несколько взрослых”.

Наконец беру еще один справочник: ”Полный Православный Энциклопедический Словарь”. Под словом ”покаяние” читаю:

”Священник не имеет права исповедать несколько человек сразу, даже малолетних”.

Итак не оставалось никакого малейшего сомнения, что никакого иного взгляда на ”общую исповедь”, как на дело незаконное, недопустимое, вредное, в Православной Церкви доселе не существовало.

До какой степени ”общеизвестным” и ”общепризнанным” считалось такое отношение к общей исповеди, можно судить по наиболее популярным книгам, где это высказывалось от имени Церкви.

В ”Руководстве для Сельских Пастырей” издания Киевской Духовной Семинарии говорится:

”Общая исповедь или принятие на исповедь по несколько человек зараз — дело противозаконное: такая исповедь прямо запрещается ”Книгою о должностях Пресвитеров Приходских”, неоднократно подтверждали то же запрещение наши Архипастыри особыми циркулярами. Нужно только крайне пожалеть о том, что пастыри Церкви в некоторых приходах продолжают принимать по несколько человек зараз, и к беззаконию прилагают новое беззаконие”.

Беру ”Опыт Катехизической Хрестоматии”, издание Училищного Совета при Святейшем Синоде в 1914 году. Там читаю:

”Оставаясь верною учреждению Божию, Православная Церковь, чтобы в точности исполнить данную заповедь вязать и решить грехи человека, признает необходимую устную и частную (т. е. единоличную) исповедь перед священником. Исповедь эта необходима и для священника и для самого кающегося.

Для священника необходима потому, что, чтобы правильно произнести ему осуждение или разрешение, ему необходимо прежде вникнуть в состояние грешника, взвесить тяжесть его грехов, узнать расположение духа его, его искренность покаяния, — все это необходимо требует устной, частной (т. е. единоличной) исповеди”.

Тогда я подумал, но, может быть, в недавнем прошлом было иначе. Может быть, церковная практика не самого древнего, но и не новейшего времени была иной? Беру книгу, изданную с благословения Св. Синода, по распоряжению императрицы Екатерины.

Эта книга называется: ”О должностях Пресвитеров Приходских”, ”от слова Божия Соборных Правил Учителей Церкви сочиненная”. Там под цифрой 100 читаю:

”Крайнее нерадение и бессовестие есть некоторых пресвитеров принимать к исповеди многих”.

И дальше: ”Если ж такому не порядку то причиною, что для множества исповедующихся не может пресвитер управиться в один день пред причащением, как обычай есть, то ничего не препятствует за два или три или за целую седмицу готовящегося исповедать, только завешая в первые дни готовящемуся исповедаться, дабы, если их совесть еще в чем будет обличать, или в случае нового греха, перед Причастием вторично на исповедь приходит”.

Есть еще одно свидетельство об отношении Православной Церкви к общей исповеди в XVII веке. Митрополит Петр Могила, отвечая на вопрос об исповедании многих, говорит:

”Поведаеши, яко неции попы многих купно к исповеданию припустивши в церковь, изряднее же юнош, чтут им общее исповедание и потом разрешают и проч. тамо повествуешь. Отвещаем: Слышим и мы тя, ниже лестне: яко сице не токмо с юношами, но и с старейшими униатские попы, тако в Литве, яко и инде, изъявши неких, на исповедание правятся. *У нас же, яко сего требники не описуют, тако и нигде же слышим сице деемо*”.

То есть, по свидетельству XVII века, на Руси об общей исповеди не слыхивали, а практиковали ее на Литве униатские попы.

Защитники общей исповеди не приводят никаких аргументов церковного характера, — все сводится у них к ”удобству”, к затруднительности и даже невозможности единоличной исповеди при громадном количестве исповедников, особенно в посты. Но, во-первых, такой принципиальный вопрос не может решаться соображениями технического характера, и при

этом явно вопреки категорическим запрещениям Церкви.

Во-вторых, не меньше было исповедников у духовников за долгие века существования Церкви, почему же "невозможной стала единоличная исповедь только последнее десятилетие?"

И в-третьих, общая исповедь практикуется не только в посты и не для тысячи исповедников, а в течение круглого года и пастырями, имеющими паству в несколько десятков человек.

Недавно мне пришлось ознакомиться еще с одним объяснением, почему духовенство вводит общую исповедь, но с этим объяснением можно было бы и не считаться. А именно: общая исповедь допускается, по этому объяснению, в целях воспитательных. Православные христиане не умеют исповедаться, поэтому им нужно сначала пройти общую исповедь, вот когда они научатся, тогда общую исповедь оставят.

Во-первых, большинство духовников, практикующих общую исповедь, оправдываются как раз обратным, они оправдываются тем, что допускают ее только для своих постоянных духовных детей, т. е. для тех, кто уже "научен исповеди", потому практику их педагогическими соображениями оправдать нельзя, и во-вторых, едва ли найдется хоть один педагог, хоть один духовник на свете, который согласился бы с тем, что, занимаясь сразу с огромным количеством народа, научишь лучше, чем занимаясь с каждым в отдельности.

Для более полного уяснения правила Церкви о единоличной исповеди — посмотрим, какие основания для них можно найти у наших православных богословов.

В догматическом богословии Митрополита Макария говорится:

”Необходимость этого (устного) исповедания сама собой очевидна из того, что разрешить грехи в Таинстве покаяния должен священник, а чтобы разрешить или не разрешить какие-либо грехи, необходимо наперед знать их. И так как Сам Господь даровал пастырям Церкви Божественную власть вязать и решать, и без сомнения не с той целью, чтобы они вязали и решали по безотчетному произволу, но чтобы напротив отпускали грехи именно тем, кому можно отпустить, судя по свойству их раскаяния, и по степени грехов их, а не отпускали тем, которые окажутся недостойными прощения по своей ли нераскаянности, или по тяжести своих преступлений: то исповедание грехов пред пастырями Церкви в Таинстве покаяния, необходимо предполагаемое Богодарственной им властью вязать и решать, справедливо должно считать учреждением Божественным”.

В Богословии Филарета Архиепископа Черниговского читаем:

”Власть, какую Спаситель облек служителя Своего над совестью людей, состоит, как видим из слов Его, не в том, чтобы только прощать грехи, не в том, но в том, чтобы или прощать или не прощать грешника. Следовательно, служитель Божий, прежде нежели произнесет решение грешнику, должен верным способом узнать греховное состояние грешника, а для этого необходимо, чтобы грешник пересказал исповедующему дела свои со всеми обстоятельствами, которые только могут показать состояние души его”.

Вот внутренний смысл церковных правил, воспрещающих общую исповедь и требующих исповеди еди-

ноличной. Богословы указывают нам, что отпущение грехов должно быть на твердых основаниях, духовник должен знать, "раскаялся" ли грешник, должен знать "все обстоятельства" согрешения, должен знать состояние души кающегося, — только тогда будет он отпускать не по "безотчетному произволу", а по праву, данному ему от Господа.

Что же такое общая исповедь?

Откуда такое упорное стремление к ней?

Что питает это стремление?

Мы видим, что Церковь решительно запрещает общую исповедь. Но вопреки этому запрещению, она упорно вводится в церковную практику. Нельзя это объяснить только одним "попустительством", должны быть какие-то скрытые причины в самой основе этого явления.

Вот желание уяснить себе эти причины и побуждает нас просмотреть историю Таинства Покаяния. Не найдем ли мы там ответы на все эти вопросы, не уясним ли себе истинную природу общей исповеди?

К этому историческому обзору мы и перейдем в следующем чтении.

ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

Таинство Покаяния установлено Спасителем. В Евангелии от Иоанна (20, 21–23) говорится: "Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся".

В Евангелии от Матфея читаем (16, 19):

”...что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах”.

И у того же Евангелиста (4, 17) :

”С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: ”покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное”.

Сопоставление всех этих мест приводит к следующему заключению:

Во-первых, Спаситель дал власть отпускать грехи не вообще верующим, но Апостолам и их преемникам.

Во-вторых, давая власть отпускать грехи, Он дал власть и *не отпускать их*, что естественно предполагает известность грехов отпускающему их.

В-третьих, чтобы отпускающий грехи мог знать их, кающийся должен исповедать их, то есть сказать о них вслух.

В-четвертых, внутренним условием для отпущения грехов является покаяние согрешившего.

Здесь мы имеем все основные элементы Таинства Покаяния.

”Это есть *Священнодействие*, в котором *исповедующий* грехи свои при *видимом изъявлении прощения* от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом” (Катехизис).

Для нашего исследования имеет особое значение установление Спасителем обязательства *исповедать грехи* в Таинстве покаяния.

Проф. Алмазов по поводу этого говорит:

”Если бы Иисус Христос представил совершателям покаяния власть только решать грехи и не более, — то ясно, что такое действие могло бы быть практикуемо при одном искреннем желании того со стороны

кающегося... Но раз Спаситель дает власть не только прощать грехи, но и удерживать их, то спрашивается, каким образом возможен здесь правильный порядок действий решителя без ясного представления им того, что он разрешает или связывает?

По безотчетному рассуждению, по слепому произволению? Но подобное явление немислимо предполагать в данном случае. При таком порядке вещей открывалось бы весьма широкое поле для несправедливых действий, когда заслуживающий того, не получал бы разрешения и наоборот — недостойный разрешился бы от грехов. Сверх же того тогда будет непонятным, для чего же дана власть именно прощать или не прощать грехи?

Ясно по всему этому, что применение на практике власти решения грехов, по идее Спасителя, неизбежно предполагает открытие таких грехов со стороны кающегося, открытие притом всестороннее, с такими обстоятельствами, которые способствуют точному и правдивому представлению степени греховности общающегося за разрешением грехов”.

Тесно связаны с Таинством покаяния, которое есть врачевство души кающегося, меры исправительные, которые получили наименование ”епитимии”.

Таинство покаяния, в той его форме, как мы его имеем сейчас, складывалось почти две тысячи лет. Но ни один из этих основных элементов Таинства покаяния, установленного Спасителем и Апостолами, до сих пор не упразднился и не подвергался искажению.

История Таинства покаяния — это есть история постепенного развития основных начал Таинства покаяния, установленного Спасителем. Мы проследим в кратких исторических очерках, как именно разви-

вались эти основные элементы: как развивалась внешняя обрядовая сторона Таинства. Каким изменениям подвергалась "власть ключей". Как создавалась "тайная" единоличная исповедь. И проследим, наконец, историю епитимийных уставов.

Спаситель не установил никаких определенных форм Священнодействия при Таинстве покаяния, но дал общий принцип Таинства.

Чрезвычайные дарования, изобиловавшие в Апостольской Церкви, представляли широкую свободу, как при совершении богослужения, так и при совершении Таинства.

Внешние формы едва обозначились в то время. А именно:

Исповедь сопровождалась молитвой, хотя молитва не предшествовала исповеди, а была завершением ее и имела характер молитвы разрешительной. Внешним действием, при совершении Таинства, было возложение рук. В состав Священнодействия входило поучение, в целях исправления кающегося грешника.

Эпоха мужей Апостольских не дает никаких письменных памятников для выяснения вопроса о формах, в которых совершалась исповедь.

"В каком именно виде совершалась эта исповедь, какие внешние действия имели место при совершении, в какой форме делалось разрешение кающегося — на все такие вопросы, особенно важные для нас, в письменных памятниках данной эпохи не встречается ни малейшего указания" (проф. Алмазов).

Не много более находится указаний о внешней стороне таинства исповеди у писателей II и III веков.

Ириней Лионский, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген и Киприан — дают указания об-

шего характера, о значении исповеди, а не об ее форме.

Исповедь в это время была двух видов — публичная, т. е. одного кающегося перед всей церковью, и тайная, т. е. единоличная. О публичной исповеди можно сказать, что она совершалась в храме за богослужением. Одна молитва, сохранившаяся и в нашем чине исповедания, взята из литургии Ап. Иакова: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Пастырю и Агнче", — и свидетельствует о том, что и тогда уже были молитвы разрешительного характера.

О существовании разрешительных молитв свидетельствуют и следующие слова Тертуллиана:

"Неужели надобно непременно полагать, что мы вполне очищены и оправданы, когда получаем устное разрешение".

Но несомненно, что в то время не существовало никакой общеобязательной разрешительной формулы.

В памятниках IV и V веков есть уже определенные свидетельства о Таинстве покаяния в форме исповеди. Об этом говорит Афанасий Александрийский.

"Как человек, крещаемый от человека, т. е. священника, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои приемлет оставление их через священника благодатию Иисуса Христа".

Василий Великий говорит:

"Если обнажим грех исповедью, то сделаем его сухим трескотом, достойным того, чтобы пояден был очистительным огнем".

Находим слова о Таинстве покаяния в форме исповеди у Кирилла Александрийского, Иоанна Златоуста, Нила Синайского, Григория Нисского.

Но в какой форме совершалась исповедь в то время, указаний у нас нет. Мы имеем определенные данные об этом только в конце VI века, а именно в уставе исповеди, приписываемом Патриарху Иоанну Постнику (имя автора и время написания устава некоторыми учеными оспаривается). Если принять в соображение, что Иоанн Постник не вводил что-либо новое, а пользовался несомненно общецерковной практикой, мы в его уставе можем видеть древнейший чин исповеди.

Об Иоанне Постнике говорится:

”Ведайте, что сей блаженный Иоанн Постник был самым последним из всех тех, которые установили определения канонов веры, и был после VI собора долгое время добрым священнонаставником”.

В своих основных чертах этот устав содержит тот же порядок что и наш чин исповеди. Разумею обязательность установленных молитв пред исповедью, тайную исповедь пред духовником и определенную разрешительную формулу после исповеди. Хотя самые молитвы и разрешительные формулы подвергались многим изменениям, и точно установленного, обязательного для всех чинопоследования исповеди тогда не существовало.

В номоканоне Иоанна Постника устанавливается следующий порядок исповеди:

”Подобает принимающему исповедь от согрешившего ввести его в Церковь или в келью свою и с радостным лицом и благим сердцем, сладко беседуя, как бы приглашая на пир или принимая его любезного друга, и прежде всего помолиться и прочесть помилуй мя, Святый Боже и Отче наш, и потом кающийся, преклонив колена на восток, скажет повергшись на землю: исповедую Тебя, Господи Боже не-

ба и земли и всего сокрытого в сердце моем, восстанавливает его. И сядет духовник, а кающегося, по мере его согрешения, или сажает пониже или он стоит, и спрашивает с ласковым видом о всех его грехах подробно, и когда согрешивший все объявит, то духовник подает ему упование на прощение и скажет ему: поведаю тебе, сын, и прежде всего даю тебе эту епитимию, чтобы ты с этого времени о каждом с тобой приключившемся согрешении объявлял мне с радостью и упованием". И когда исполнит согрешивший исповедь всех своих грехов и вновь станет духовник тот и скажет: Святый Боже и Отче наш, а кающийся преклонит колена, а духовник эту молитву произнесет: "Благий и человеколюбивый Бог наш, вочеловечившийся для нас и грехи всего мира воспринявший неисчислимой благодатью Своею, прощаю, брат, все это, что пред Ним высказал мне недостойному и искупил все прегрешения свои в этом мире и в будущей жизни. Тот, Кто хочет всех людей спасения и ожидает обращения и покаяния всех, ибо благословенно и велико Имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь". И потом восстанавливает его, приветствует его как сына духовного..."

Устав Иоанна Постника лег в основу исповедных уставов всех православных стран. У нас в России очень долго пользовались рукописными уставами, составленными на основании устава Иоанна Постника. Полного единообразия в них не было. Проф. Алмазов говорит, что если взять 100 списков, 80 по крайней мере, будут заметно отличаться друг от друга, особенно в отношении разрешительной молитвы.

Когда началось печатание этих уставов — разнооб-

разие не прекратилось. Так было до начала ХУШ века. Проф. Алмазов располагает до 150 рукописных памятников русского исповедного чина, и все эти рукописи имеют различие между собой. Для сравнения с нашим теперешним чином, приведу один образец древнего рукописного чина.

По обычном начале читался псалом 50 и 47. Затем молитва — ”Господи, Владыко, преклонивый небеса” и псалом 6. Затем молитва ”Владыко Господи Боже, призывая праведника” и псалом 12, и, наконец, молитва ”Господи Боже Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...”. Все это читается до исповеди. А после исповеди одну молитву, которая и является разрешением ”Господи... Петру и блуднице слезами грехи оставивый...”.

Допущение такого разнообразия в частности русских исповедных уставов объясняется общим взглядом на неустойчивость внешних форм этого Таинства, как у греков, так и у юго-славян.

Это разнообразие касается и разрешительной молитвы.

Проф. Алмазов приводит список молитв, имевших значение ”разрешительных”:

1. Боже, простивый Нафаном...
2. Господи... Петру и блуднице...
3. Владыко... преклонивый небеса...
4. Владыко... призывая праведники во святыни...
5. Боже, иже пророком Твоим Нафаном...
6. Владыко... иже ключи Царствия Твоего Петру...
7. Господи... иже от грех помощь еси...
8. Владыко... иже Своих ради щедрот послав Единородного Сына...
9. Владыко... мене худого и непотребного...
10. Да и аз пред очима Твоима...

11. Молитва, приписываемая Михаилу Аскалону.
12. Господи... исповедавшуся Тебе рабу Твоему...
13. Господи Иисусе Христе... Агнче и Пастырю...
14. Господь премилостивый да ущедрит тя...
15. Молитва, приписываемая Св. Евстратию...
16. Владыка... иже Апостола Петра столпа Церкви показав...
17. Боже страшный... послав Единородного Сына...
18. Владыко... сподобивыйся снити...
19. Владыко... иже вольною страстию союз рас-терзав...
20. Господи... иже нас ради вочеловечившийся...
21. Молитва от скверны...
22. Владыко... один имеяй власть отпущати...
23. Владыко... пришедый ко св. Апостолам дверем затворенным...
24. Владыко... сотворивый от небытия всяческая...
25. Владыко... Апостолам заповеद्याя отпущать...
26. Владыко... благи бездна...

Таким образом, 26 молитв по одной и по несколько, в разных комбинациях, имели значение разрешительной формулы.

К этому времени сложились и определенные вопросы, предусмотренные исповедным уставом, а также "поновления" или перечни грехов от лица кающегося.

Вопросные статьи в первоначальных уставах были развиты мало. Только в ХУШ веке они получили быстрое и полное развитие.

Вопросы делились не только на две большие группы — на вопросы мужчинам и вопросы женщинам, — но были и более частные разделения — вопросы епископам, священникам, монахам, монахиням, диаконам.

"Поновления", то есть механический перечень гре-

хов от лица кающегося, также пользовались в древней Руси широкой практикой, но поновления не заменяли собой исповеди, основанной на вопросах, а были лишь приготовлением к такой исповеди. "Замена" исповеди "поновлением", если и делалась, то по невежеству.

По этому поводу проф. Алмазов говорит:

"В древне-русской практике исповедь кающегося если и совершалась иногда через механическое чтение поновления — то это могло допускаться только разве невежественными духовниками, не понимавшими существа и внутреннего смысла исповеди, рукописные же русские исповедные чины в существе дела никогда не предписывали такого метода совершения исповеди".

И дальше:

"Исповедь совершалась в практике древне-русской церкви путем вопросов со стороны духовника и ответов со стороны исповедника, причем почти всегда сопровождалась чтением особой покаянной статьи, которой усвоено название "поновления".

Первое печатное чинопоследование исповеди относится к 1606 году. Это, так называемое, "Острожское" издание. Вторым, в 1618 году, вышло издание Виленского требника, здесь чинопоследование исповеди в значительной степени переработано.

В этом чине перед исповедью читается только одна молитва, увещания перед исповедью не положено, вопросы признаются обязательными, но форма их предоставляется духовнику, а разрешительная молитва устанавливается та, которая читается ныне.

Этот устав положен в основу устава, изданного как официальная книга Митрополитом Киевским

Петром Могилой, и перепечатывался затем в 1668, 1695 и 1719 гг.

Одновременно с этими изданиями, в 1620 году был издан тот самый епитимийный номоканон, который и прилагается теперь при Большом Требнике. Это издание тоже повторялось в 1646 году, и было принято всею северо-восточною Русью.

В 1658 году был напечатан Никоновский Требник. Он ввел в чин исповеди некоторые изменения чисто внешнего характера.

Но изменения частных с этим изданием не кончилось. Уже в издании малого Требника в 1662 году были сделаны значительные сокращения канонической части.

А в Требнике издания 1671 года мы имеем почти тот же чин, что и в наших требниках.

Там установлено чтение перед исповедью тех двух молитв, которые читаются и ныне, а также разрешительная формула.

Наконец, в 1677 году был издан Требник во всех подробностях, совпадающий с Требником нашего времени, и с тех пор издается без всяких изменений до наших дней.

Такова краткая история обрядовой стороны Таинства Исповеди.

В следующем чтении мы перейдем к вопросу о духовнике в Православной Церкви.

ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Господь дал власть вязать и решить Апостолам. Кому передали они ее?

Кому была предоставлена власть отпускать и не отпускать грехи в древней Церкви? Кому вручена была власть ключей?

Самый крайний ответ на эти вопросы в исторической науке таков: Исповедь не только в первые три века, но и в эпоху Вселенских Соборов не была обязательно связана с иерархической степенью духовника. По этому крайнему взгляду грехи исповедовались друг другу независимо от иерархической степени. Обычай исповедовать грехи друг другу сменился обычаем исповедовать их перед священником постепенно, и до III века об этом нет никаких свидетельств. Даже в IX веке исповедь перед священником еще не была обязательной. Решительно стремился к этому Патриарх Константинопольский Никифор. Но это стремление плохо претворялось в жизнь, что видно, — по мнению сторонников этого крайнего взгляда — из слов Церковно-официального лица Петра Хартофилакса, жившего в конце XI века при Алексее Комнене. Он отвечает на вопрос, хорошо ли исповедовать грехи духовным лицам, так — ”хорошо и весьма полезно, но не таким, которые неопытны и невежественны”, т. е. считает исповедь ”духовным лицам” не безусловно обязательной.

Все это относится к исповеди тайной, что же касается исповеди публичной, то, по мнению сторонников этого крайнего взгляда, здесь иерархическая степень отпускающего грехи имела еще меньшее значение. Публичная исповедь отдавала грехи на суд всей Церкви, а суд Церковный был судом общинным, а если в нем участвовали епископы и клир, то постольку, поскольку они являлись членами общины верующих (Суворов).

Этот крайний взгляд решительно отвергается сви-

детельствами Святых Отцов и Учителей Церкви.

У Климента Римского читаем:

”Итак вы, положившие начало возмущению, подчинились пресвитерам и дайте себя воспитать в покаяние, преклонив колена сердца вашего”.

Здесь явно имеется иерархическая власть в деле покаяния.

Игнатий Богоносец говорит:

”Всем кающимся прощает Бог, если они прибегнут в единстве о Христе и в совет Епископа”.

Пространно и подробно говорит по этому вопросу Ориген:

”Есть и седьмой род отпущения грехов, через покаяние, способ трудный и тяжелый, когда грешник омывает ложе свое слезами, и слезы являются для него хлебом день и ночь, и когда он не стыдится открыть свой грех священнику Божию и просит у него врачества...”

Еще определеннее говорит Ориген в другом месте:

”Тот, кто получил дуновение от Иисуса, как Апостолы, — такой человек отпускает такие грехи, которые отпустил бы сам Бог, и удерживает неисцелимые грехи”.

По словам Киприана, в случаях смертных можно исповедоваться у пресвитера, не дожидаясь епископа...

Совершенно исчерпывают вопрос три правила Карфагенского собора:

Пр. 6. ”... Примиряти с Церковью кающихся открыто на литургии да не будет позволено пресвитеру...”

Пр. 7. ”Аще кто, находясь в опасности жизни, будет просити о примирении себя со святым алтарем в отсутствии Епископа, то пресвитер по приличию дол-

жен вопросити Епископа, и тако, по его разрешению, примирити находящегося в опасности”.

Пр. 52. ”Кающимся время покаяния по различию грехов, да назначается судом Епископов, пресвитер же, без воли Епископа, не разрешает кающегося, разве во время належаия нужды в отсутствие Епископа. На всякого же кающегося, аще преступление его было явное и гласное, смущающее всю Церковь, да возлагаема будет рука в притворе храма...”

Итак власть вязать и решить всегда в Церкви, со времен Апостольских, принадлежала иерархии.

Как же примирить эти два взгляда? И тот и другой основываются на фактических данных истории.

Очевидно, существовало два рода покаяния:

Покаяние, как *Таинство* (исповедь духовнику, имеющему иерархическую степень) и покаяние, как акт самоисправления, — раскаяния непосредственно перед Господом Богом.

Так именно и решает этот вопрос Заозерский:

”С глубокой древности в Церкви различаемы были два рода Исповеди: 1. Исповедь бесформенная домашняя, как акт самоисправления, самодисциплинирования, как нравственно-психологическая потребность ”извергнуть — по словам Оригена — грех, как противоестественное, прившедшее в духовный организм”: это исповедь, совершаемая каждым непосредственно перед Богом, без участия иерархического лица.

2. Исповедь, совершаемая в форме церковного акта, как благодатное средство, заглаждающее грехи, примиряющее с Богом, совершаемое необходимо при участии иерархического лица, именно Епископа или пресвитера”.

Со времен Апостольских власть вязать и решить,

власть ключей принадлежала иерархии. И по всем данным не иерархам вообще, а только *епископам*.

Пресвитеры не имели самостоятельной власти отпускать грехи. Они могли делать это лишь по поручению и с благословения Епископа.

Но очень рано такое "поручение" сделалось постоянным и мало-помалу исповедь всецело перешла в ведение пресвитеров.

Что обуславливало такой переход?

Проф. Павлов говорит:

"Епископы V и следующих столетий при многочисленности своих занятий по церковному управлению, при многолюдности своих духовных паств, а главное при несомненном понижении уровня общественной нравственности и при более легком отношении христиан к исполнению своих церковных обязанностей, — не могли уже ни соблюдать во всей строгости прежние правила о церковных покаяниях, ни тем менее принимать на тайную исповедь всех".

Исповедь всецело перешла в ведение пресвитеров и за епископами остался лишь общий контроль за деятельностью пресвитеров и решение сложных вопросов с наложением епитимии.

Такому изменению церковной практики предшествовала на востоке попытка создать особый институт пресвитера-духовника.

При таких обстоятельствах появилась в Православной Церкви должность покаянного пресвитера.

Появилась она в половине III века. Об учреждении этой должности есть два свидетельства у историков V века — Сократа и Сезамена, в которых указываются мотивы для ее учреждения не одинаковые.

Сократ объясняет так:

"После того, как новациане отделились от Церкви

и не хотели иметь общения с падшими во время гонения Декиева (250–253), епископы присоединили к церковному чину пресвитера-духовника, чтобы падшие после крещения исповедовали грехи свои перед народом для сего поставленным священником”.

У Сезамена читаем нечто другое:

”Что это было за звание, — говорит Сезамен, — откуда оно началось и по какой причине уничтожено, другие может быть рассматривают иначе, а я расскажу, как думаю. Поелику совсем не грешить свойственно только природе выше человеческой, и кающимся, хотя бы они часто согрешали, Бог повелел даровать прощение, и между тем, для получения прощения, надлежало исповедать грех, что епископам, с самого начала по справедливости должно было казаться тяжким — как на самом деле объявлять грехи, будто на зрелище перед собранием всей Церкви? То для сей цели они назначили пресвитера самой отличной жизни, молчаливого и благоразумного, чтобы согрешившие, приходя к нему, исповедали ему дела свои, а он, смотря по греху каждого, назначал, что кому надобно сделать, или какое понести наказание, и потом разрешал, предоставив всякому, согласно предписаниям, наказать самому себя”.

Как бы то ни было, но и объяснение Сократа и объяснение Сезамена свидетельствуют о том, что в III веке исповедь из ведения епископа перешла к специально для этого назначенному пресвитеру-духовнику. Должность пресвитера-духовника не удержалась в Церкви. Она была уничтожена Патриархом Нектарием около 390 г. по следующему поводу. Одна благородная женщина пришла к пресвитеру-духовнику и исповедала ему подробно свои грехи после крещения. Духовник наложил на нее пост и велел ей бес-

престанно молиться. Но потом та женщина созналась еще в одном грехе: в преступной связи с церковным диаконом. Когда это открылось, диакон был отлучен от Церкви, а в народе началось волнение и нарекание на духовенство. Один пресвитер, по имени Евдемон, родом из Александрии, дал Нектарию совет уничтожить должность покаянного пресвитера.

Почему это событие (сознание женщины в грехе с диаконом) и волнение, вызванное этим событием, могли послужить поводом к уничтожению должности покаянного пресвитера? Вопрос совершенно неясен, ибо неясно, какая связь этого события с должностью пресвитера-духовника? Много здесь сделано различных догадок учеными. Всех полнее вопрос этот освещает проф. Алмазов. По его мнению, исповедь этой согрешившей женщины разом во всем константинопольском обществе подорвала уважение к авторитету пресвитера-духовника и лишила его доверия в столь сильной степени, что на будущее время можно было предположить полное отсутствие у него исповедников. В чем же виновен был духовник? Почему исповедь женщины подорвала его авторитет, хотя он не был согрешившим? Как произошло это событие?

— Весь факт происходил так, — говорит проф. Алмазов, — женщина по определению духовника приняла исполнение возложенного на нее публичного покаяния, действия во всяком случае тяжелого даже для простой женщины, а тем более для изнеженной аристократки... И вот, находясь среди кающихся, она видит виновника своего публичного позора безнаказанным, отправляющим свои обязанности и, может быть, заведующим тем классом кающихся, среди которых она стоит теперь униженная... Презируя вышний публичный позор, она мстит за это оскорбление

публичным изложением своей преступной связи. Возбужденная речь ее должна была произвести потрясающее впечатление на слушателей и пресвитер-духовник, быть может, находившийся налицо, в глазах их явился не чем иным, как укрывателем распутства клириков и несправедливым карателем слабой женщины...

У константинопольского епископа Нектария, действительно, не было другого выхода, как отменить звание пресвитера-духовника.

Итак, в конце IV века должность покаянного пресвитера была уничтожена. Кому же перешла власть вязать и решить грехи человеческие? По этому вопросу взгляды расходятся.

Проф. Павлов находит, что власть эта перешла к пресвитерам.

”По упразднению должности покаянного пресвитера, Епископы и прежде и после Трулльского Собора, не имея возможности самолично наблюдать за всеми, преданными публичному церковному покаянию, отдавали каждого епитимийца под надзор его приходского священника, с тем, чтобы последний свидетельствовал о нравственном состоянии кающегося, и в случае благоприятного о нем свидетельства, сокращал первоначально назначенный срок епитимии”.

”Во времена Трулльского Собора, носителями духовной власти вязать и решить, несомненно, были и признавались только лица, имевшие священный сан, т.е. епископы, действующие этой властью в области внешнего формального суда Церкви, и пресвитеры-духовники, проявлявшие ту же власть на тайном суде исповеди. Само собой понятно, что круг деятельности последних был гораздо обширнее, т.е. обнимал гораздо

большее число лиц и случаев по отношению к которым необходима была благоприятная помощь, подаваемая согрешающим в Таинстве Покаяния”.

Проф. Суворов полагает, что власть эта перешла к монахам, — независимо от того, имели они или не имели священный сан.

”Во время Трулльского Собора, — говорит он, — духовниками обычно были монахи, не имевшие священного сана. К ним обращались, как к людям, опытным в духовной жизни, независимо от того, имеют ли они священный сан или нет”.

С. Смирнов решает вопрос о духовнике в эпоху Вселенских Соборов так:

”Рядом с органом сакраментальной исповеди епископам, совершавшим публичное покаяние и принимавшим тайную исповедь, в качестве совершителей покаяния встречаются и пресвитеры. Но в X—XII вв. место духовника решительно занимают монахи”.

”Священник мирской, имеющий жену, не может быть духовником” — говорится в правилах Патр. Никифора.

А Вальсамон говорит: ”Весьма неохотно, позволю даже сказать, нигде никто не открывает своих замыслов епископу или священнику, если он не монах”.

В конце XII века Вальсамону был предложен вопрос Патриархом Марком Александрийским, правильно ли поступает мирской священник, если выслушивает, по епископскому поручению, чью-либо исповедь. Таким образом, право белого священства принимать на исповедь вызывало сомнение.

Каков был внутренний смысл этого перехода исповеди к монахам? Он коренится в нравственных требованиях, предъявляющихся к духовнику. Так как исповедь не только ”разрешение” от грехов, но

и врачевство и исправление, то естественно, духовные и нравственные качества духовника не могли быть безразличны для исповедников. Кроме того, теоретически многие лица власть ключей ставили в зависимость от нравственной высоты духовника. На такой точке зрения стоял Ориген, Нил Синайский, Исидор Пелузиот и Псевдо-Дионисий. Все это в связи с падением нравов белого духовенства, особенно в эпоху иконоборческих гонений, естественно, толкало духовенство на путь монашеский.

”Переход покаянной практики в исключительное ведение монахов”, по мнению Смирнова, относится к эпохе ”иконоборчества, когда сильно поколебался авторитет иерархии, а представители монашества — старцы, в силу тогдашних обстоятельств церковной жизни, стали, наряду с епископами и пресвитерами, как равноправные совершители исповеди и покаяния”.

О таком именно положении духовничества мы имеем свидетельство в послании Антиохийского Патриарха Иоанна (1092—1098 гг.).

”И с того времени (со времени иконоборчества) и до днесь по прошествии 400 лет, чин монашеский почитается священным и чтится от всех верующих, так что исповеди, признание в грехах, соответственные епитимии и отпустительные разрешения перенесены на монахов, как это наблюдается и ныне”.

Но несомненно, что возможность такого перехода была подготовлена каким-то долгим процессом в жизни Церкви. Здесь мы должны коснуться вопроса о XII веке. Как мы сейчас сказали, сакраментальная исповедь перешла к монахам, имевшим иерархическую степень. Но до этого, с глубокой древности, в монастырях существовали ”духовники” и ”старцы”,

принимавшие на исповедь на иных, чисто духовных основаниях.

Самое наименование "духовного отца", "духовника" – монашеского происхождения. Писатели IУ и У веков "духовными отцами" называют опытных подвижников.

Преп. Марк Постник, преп. Ефрем Сирийский, преп. Иоанн Пророк, Нил Синайский, Иоанн Лествичник – говорят о "духовном отце" – в том смысле, в каком мы употребляем теперь понятие "старца".

При всем разнообразии в словоупотреблении термин "духовный отец" в христианской письменности с IУ по IX век чаще всего означает монастырского старца. Отсюда естественный вывод, что институт "духовного отца" в то время представлял собой институт монастырского старчества, что старчество – первобытная форма "духовного отца" (Смирнов).

Старец является не только "духовником" в узком смысле этого слова, т. е. лицом, принимающим "исповедь", – но руководителем всей жизни в полном ее объеме. Ясно, что такой руководитель не мог "начаться", а избирался свободно ищущим духовного руководства. Так Авва Исаия говорит: "При выборе (старца) не на того обращай внимание, кто преклонных лет уже, но кто убелен ведением и опытностью духовною".

"С великою заботливостью и обдуманностью, – говорит Василий Великий, – постарайся найти мужа, который бы непогрешительно предшествовал бы тебе в образе жизни, хорошо умел руководить шествующих к Богу, был сведущ в Божественных писаниях".

Естественно даже, что свободно выбранный старец и руководитель должен был быть *один*. Исаак Сирийский пишет: "одного имеет собеседника и сотаинника..."

Св. Иоанн Лествичник: "исповедуемся доброму нашему судие и притом ему одному".

К старцу должно быть безусловное *доверие*. Подчиниться ему надлежит безо всяких рассуждений, как говорит Нил Синайский: "Пожелать с пытливостью исследовать распоряжения учителя и оценить его приказание, значит препятствовать собственному своему преуспеванию".

Исповедь старцам имела значение не "отпущения грехов" — а раскрытия души, всех дел и помыслов человека для нравственного врачевания. Духовничество в монастырях складывалось совершенно независимо от порядков церковных в миру. Монастыри в этом отношении были как бы автономными церковными единицами. Епископы сами признавали эту самостоятельность монастырей в деле исповеди; так, один епископ писал преп. Пахомию о тяжко согрешившем египетском монахе: "Мы послали его к тебе, чтобы ты судил его, ибо он монах".

Здесь, в монастырях, духовное значение исповеди получило наиболее полное свое развитие.

"Надобно всё, даже тайны сердечные открывать настоятелю". "Исповедующийся должен ни одного душевного своего движения не оставлять в скрытности, ни одного слова не пропускать без испытания, но тайны сердечные обнажать пред теми из братьий, кому поручено..."

Такая исповедь бывает иногда ежедневной. Итак, исповедь монашеская была одним из орудий нравственного и духовного устройства души человеческой. Она не имела значения Таинства в нашем смысле этого слова, а была, как говорит Смирнов, "благочестивым упованием". И старец-духовник был не решитель грехов, а только духовный врач и руководитель.

Постепенное развитие двух видов покаяния – исповеди как Таинства и исповеди как акта самоисправления, постепенно привело Церковь, во-первых, к исповеди сакраментальной, которая перешла в руки пресвитеров, и, во-вторых, к исповеди, как врачевство и духовничество, которая перешла в руки старцев.

В XI и XII веках духовное право старцев и иерархическая власть пресвитера – соединяются в одном лице, в лице *монаха, имеющего иерархическую степень*, призванного не только “вязать и решить” (власть ключей), но и врачевать душу, “духовничество”.

Вот тот исторический путь, который подготовил монахов к роли “духовников” не только для монашеской братии, но и в Православной Церкви вообще. Вот почему сделалась возможным после страшного упадка белой иерархии, в эпоху иконоборческих гонений, эта крайность, когда духовниками сделались исключительно монахи. Греческая Церковь сохранила эту крайность и доныне. Так, все приходы каждой иерархии разделяются на духовнические округа. В каждый округ назначается духовник из монахов, во время, назначенное для исповеди, он объезжает свой округ и принимает на исповедь.

У нас, на Руси, вначале вообще не было монастырей, поэтому духовничество поручалось не монахам, а белому духовенству; однако в древней Руси, как говорит Голубинский, “не были духовниками все священники, а только некоторые по избранию и особому назначению”.

Когда появились монахи, то и у нас вошло в обычай поручать дело духовничества иеромонахам, которые жили при приходских церквях и объезжали се-

ления для исповеди желающих. Но у нас никогда власть вязать и решить не принадлежала исключительно монахам. И белое и черное духовенство пользовалось равным правом отпускать грехи кающимся. Нельзя установить точно, но с очень давнего времени у нас, в России, каждый священник есть в то же время и духовный отец, имеющий право принимать исповедь.

Когда развились в России монастыри — в них начался расцвет старчества и духовничества, и может быть древний дух восточного старчества по преимуществу перешел именно в русские монастыри. Это не могло не влиять на духовника в миру — белого священника. Ведь белый священник-духовник, появившийся в России когда не было монастырей, естественно встал в полномочие монастырского духовника в миру. Идеал русского священника-духовника — был идеал монашеский, старческий. А когда началось процветание русских монастырей и старчества в них — тогда идеал этот в миру не только не изменился, а еще более окреп — и поэтому в Православной Церкви носитель власти ключей всегда мыслился не только как разрешитель грехов, но и как духовник.

*

Подведем краткий итог сказанному. Власть вязать и решить, которую дал Спаситель Апостолам, была передана ими епископам. Епископы давали полномочия на совершение Таинства покаяния пресвитерам. С расширения круга деятельности епископов, исповедь все более и более переходила в ведение пресвитеров. В III веке была попытка учреждения специ-

альной должности пресвитера-духовника. Попытка эта окончилась неудачей и в III веке должность пресвитера-духовника была уничтожена. Исповедь после этого переходит к монахам, имеющим иерархическую степень, каковое положение удерживается в Греческой Церкви и поныне. Такому переходу содействовало развитие монастырской исповеди пред старцами, имевшей не сакраментальное, а чисто духовное значение. В России исповедь никогда не принадлежала исключительно монахам, а в наше время право исповедовать принадлежит каждому белому священнику. Но священник в миру в России всегда рассматривался, как духовник в монашеском смысле. Таков был исторический путь, пройденный Церковью в вопросе о носителе власти ключей. В следующем, четвертом чтении мы перейдем к историческому обзору покаянной дисциплины.

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Спаситель говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное".

А в Деяниях Апостолов читаем: "Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои" (19, 18).

Рассмотрение греческого текста Священного Писания приводит ученых к выводу, что Спаситель, призывая к покаянию, призывал к исповеданию грехов, ибо греческое слово "эксомология" означает покаяние в смысле явного, открытого признания.

А в греческом тексте Деяний употреблено слово "анангеллонтес", от греческого "анангелло", что значит отдельно пересказывать, подробно перечи-

снять. Отсюда делается совершенно правильный вывод, что уже в Апостольское время исповедь была "исповедью подробною не только известной категории, но всех грехов, обременяющих совесть кающихся" (Алмазов).

С первых веков в Церкви возник вопрос о том, какие грехи могут быть прощены на исповеди. Древнейшая покаянная дисциплина была очень строга и не во всех местных церквях одинакова.

Были сторонники публичного покаяния один раз в жизни, подобно тому, как один раз в жизни совершается Крещение.

В некоторых местных церквях считалось недопустимым прощение смертных грехов, причем само понятие смертного греха не было вполне определенным. Но падение нравов все более и более ослабляло покаянную дисциплину, все более и более укрепляло взгляд, что сколько бы ни согрешил верующий, он должен очищаться исповедью, и все грехи его принципиально могут быть прощены. В Церкви возникали горячие споры о покаянной дисциплине, возникали схизмы сторонников древней строгости, не желающих подчиниться слишком снисходительной практике более нового времени. Так, например, когда римский епископ Каллист, принимая во внимание распушенность римских нравов, издал эдикт, которым объявлял прощение грехов против целомудрия, это вызвало ожесточеннейшее нападение на него Тертуллиана и подорвало схизму Ипполита.

Ориген объявил нарушением священнических правомочий прощение блуда и идолопоклонства.

Были поместные Соборы, пытающиеся сохранить всю строгость древней практики. Так, Эльвирский Собор (306 г.) осудил на всегдашнее отлучение не-

которые грехи: идолопоклонство, волшебство, выдачу христианок за языческих жрецов.

Вопрос этот не был решен окончательно в практике Церкви даже в конце У1 века. Так, в 11 правиле Толедского Поместного Собора говорится: "В некоторых церквах Испании проводят покаяние не по правилу, но весьма мерзко, так что сколько угодно раз ни согрешил бы, столько требуют разрешений от пресвитера".

Наиболее совершенным выражением взгляда Православной Церкви являются слова Иоанна Златоуста в его "Беседе о покаянии".

"Согрешил ли ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты ни падал на площади, всякий раз встанешь; так сколько раз ни согрешил, покайся в грехе, не отчаивайся; согрешишь в другой раз — в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежду на обещанные блага. Ты в глубокой старости и согрешил? Войди (в церковь), покайся: здесь врачбница, а не судилище; здесь не истязуют, но дают прощение в грехах".

В конце концов взгляд этот восторжествовал. Однако, хотя прощение не было ограничено принципиально, оно было заключено в известные внешние рамки. Были установлены покаянные степени кающихся, на которые делились исповедующие свои грехи, в зависимости от тяжести грехов. Таких степеней было четыре. Впервые упоминается о них в канонах Григория Неокессарийского в половине II века (265–270 гг.). Григорий Неокессарийский знает три покаянные степени: слушающих, припадающих и купностоящих; впоследствии около половины IУ века к ним присоединилась еще одна степень —

”плачущих”, о которых первое свидетельство находим в канонах Василия Великого.

В чем различие этих степеней?

Плачущие стояли перед дверями церкви, с плачем просили входящих в храм помолиться о них и в богослужении не участвовали вовсе. Слушающие участвовали в богослужении как оглашенные, то есть в наставительной части они стояли у входных дверей.

Припадающие могли оставаться в храме во время всей службы, но на коленях: место их было в передней части храма до амвона.

И, наконец, купностоящие присутствовали на богослужении, как верные, но без Причастия. Кроме того, постепенно выработались епитимийные каноны, определявшие временное недопущение до церковного общения тяжко согрешивших.

Итак Церковь принимала на исповедь кающихся грешников.

Как же совершалась эта исповедь?

Католические ученые различают три вида исповеди в древней Церкви:

- 1) исповедь публичная перед всех общиной;
- 2) исповедь полутайная перед епископом и его пресвитерским советом, и
- 3) исповедь тайная.

Протестантские писатели отрицают существование исповеди тайной в течение первых трех веков и полагают, что никакой исповеди, кроме публичной, тогда не существовало.

По мнению наших русских ученых, хотя древнейшей формой исповеди была исповедь публичная, т. е. одного кающегося перед всей общиной, но с древнейших времен в исключительных случаях допуска-

лась и исповедь тайная: например, в случаях, когда угрожала смерть или в условиях гонений.

Во всяком случае преобладающей формой исповеди была исповедь публичная. Многие древние писатели, говоря об исповеди, разумели под ней исповедь только публичную. Сезамен, например, говоря об учреждении должности пресвитера-духовника, как мы видели, указывал и на то, что "епископам должно было казаться тяжким объявлять грехи будто на зрелище перед собранием всей Церкви".

Ученик Златоуста Нил Сорский пишет:

"Зачем ты стараешься потопить в бездне скорби Фаустина (покаявшегося), который перед всеми ими поведал грехи свои с великим смирением".

У св. Григория Богослова в слове 40 на св. Крещение читаем:

"Зная, как крестил Иоанн, не стыдись исповедать грех свой, чтобы, подвергшись стыду здесь, избежать оного там, потому что и стыд есть часть тамошнего наказания. Докажи, что действительно возненавидел ты грех *пред всеми*, открыв и *выставив его на позор*".

Св. Иоанн Лествичник признает и публичную и тайную исповедь. В слове 4-м он говорит:

"Прежде всего исповедуем доброму Судии нашему прегрешения наши наедине; если же повелит, то и при всех, ибо язвы объявленные не преуспевают на горшее, но исцеляют".

Но очень рано начинает склоняться Церковь к исповеди тайной.

Еще Тертуллиан писал, что есть люди, которым "противна исповедь пред народом".

Иоанн Златоуст имеет в виду исповедь тайную, когда говорит:

”Ты стыдишься открыть раны человеку, а не стыдишься пред всевидящим Богом”.

И св. Григорий Нисский: ”Поведай и открой священнику безболезненно все сокровенные тайны души своей, обнаружь пред ним, как пред врачом, все внутренние ее недуги”.

А Василий Великий, признавая исповедь публичную, в то же время говорит (прав. 34):

”Жен прелюбодействующих и исповедывающихся в том, по благочестию, или каким бы то образом обличившихся, отцы наши запретили явным творити, да не подадим причины к смерти обличенных”.

Публичная и тайная исповедь существовали параллельно, но тайная исповедь приобретала все более значения. По-видимому в практике Церкви существовали какие-то общие основания, по которым одни грехи требовали публичной, а другие тайной исповеди. Каковы эти основания, разными учеными решается по-разному. Некоторые думают, что публичному покаянию подлежали грехи более тяжкие, а тайной исповеди — грехи второстепенные; некоторые считают, что публичной исповеди подлежали лишь те грехи, которые были совершены публично, вводя в соблазн других, грехи тайные и исповедовались в исповеди тайной.

В IV и V вв. исповедь была уже по преимуществу тайной, но даже в XIV веке публичное покаяние было явлением обычным (Суворов), хотя тайная исповедь в то время была уже принята всей Церковью как исповедь общеобязательная.

Древнейшим памятником тайной (т. е. единоличной) исповеди считается номоканон Иоанна Постника, в котором говорится, что согрешившего надо

ввести в церковь или в келью и спрашивать о грехе подробно.

Что лежало в основе этого перехода от публичной исповеди к тайной?

Большинство ученых видят в этом переходе ослабление церковной дисциплины и общее падение нравов.

Так проф. Алмазов говорит: "Общество времен Нектария, по сознанию историков, не держалось в своей жизни столь строгих моральных правил, каких держались древние христиане, а потому и без того уже видимо тяготилось институтом публичного покаяния. Последним объясняется почему, после распоряжения Нектария и в других епархиях, независимых от него, данный институт, по замечанию Сезамена, быстро сошел со сцены".

По мнению проф. Павлова: "Ослабление прежней строгости публичных покаяний за явные грехи", объясняется "несомненным понижением уровня общественной нравственности" и "более легким отношением христиан к исполнению своих церковных обязанностей".

По мнению Смирнова: "Вместе с постепенным ослаблением нравов в Церкви и сопровождавшим его падением публичной покаянной дисциплины, частная исповедь должна была бы развиваться".

Но это ли было действительно главной причиной замены публичной исповеди исповедью тайной? Не было ли причин положительного характера? Не удовлетворяла ли тайная исповедь каких-либо положительных требований, вытекавших из самого существа Таинства Покаяния? Ведь тот же проф. Алмазов говорит о тайной исповеди, что от проповедника на тайной исповеди "требовалось открытие не только са-

мого греха, но и некоторых сторонних обстоятельств, дававших возможность духовнику точно и сознательно судить о всей тяжести исповедуемого грехопадения”. Не здесь ли лежит главная причина торжества тайной исповеди, которая была наиболее совершенной формой исповеди. В такой оценке тайной исповеди нас укрепляет рассмотрение более поздних суждений о Таинстве покаяния.

К обзору этих суждений мы и перейдем. Начнем с постановления VI Вселенского Собора. В правиле 102 читаем:

”Приявшие его Бога власть решить и вязати, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего ко обращению, и тако употреблять приличное недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры в том и другом, не утратити спасения недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен...” ”подобает, во-первых, рассматривати расположение согрешившего и наблюдать, к здравью ли он направляется, или напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь...”

Такая задача, осознанная Церковью и возлагаемая на духовника — естественно предполагает исповедь тайную, единоличную.

Что именно так понималась исповедь, делается особенно ясным из рассмотрения отдельных суждений представителей Церкви.

Так Григорий Великий говорит:

”Должно обсуживать вины и тогда употреблять власть вязать и решить, надо смотреть, какая вина предшествовала, или на то, какое после вины последовало наказание для того, чтобы слово пастыря разрешало тех, которых Всемогущий Бог посещает благодатию сокрушения...” ”и это кратко я ска-

зал о порядке разрешения для того, чтобы пастыри Церкви с великою разборчивостью старались или разрешить или вязать. Итак пастырь должен страшиться как разрешать, так и вязать по разбору”.

Св. Софроний, Патриарх Иерусалимский (ок. 640 г.), в сочинении ”об исповеди” также говорит о различии видов и способов исповеди по различию звания, возраста и состояния лиц исповедующихся, о необходимости для духовника знать качества душевных болезней, чтобы употреблять против них врачебные средства.

По словам Иоанна Постника, духовник, налагающий епитимии, должен ”брать во внимание различие и времен, и мест, и ведения, и неведения”.

Все приведенные указания об исповеди явно предполагают исповедь тайную, на которой только и можно осуществить такие требования, предъявляемые к исповеди. У писателей более поздних говорится об этом еще определеннее.

Так, в ответе Киевского митрополита Киприана (1390—1405 гг.) к Афанасию читаем:

”Чернца принимай к покаянию якоже и мирянина: поемь его к Церкви *наедине*”.

А у блаженного Симеона, архиепископа Фессалонийского, говорится:

”Принимающему исповедь должно в честном и священном месте, *наедине и без шума* сидеть и с благоговением, быть веселым и с кротостью в душе и во взоре, выражая образ действий любовь божественную...”

”Исповедующийся должен *подробно исповедать* падение... исповедующий должен напоминать ему и спрашивать...” (1430 г.).

Наконец, в книге "О должностях пресвитеров приходских" о Таинстве покаяния читаем:

"Покаяние — тайна из всех прочих таинодействий, есть дело для священника наитруднейшее, требующее бо особого искусства, осторожности и прилежности весьма великой. А то для того, что zde духовному отцу, сему лекарю, дело предлежит с больными и такими больными, коих болезни многоразличны суть. Часто в одной душе многие застарелые разгноившиеся раны все части существа и все жизненные соки повредили".

Подводя итог сказанному, мы вправе высказать следующее положение:

В Таинстве покаяния, установленном Спасителем, обязательным условием было раскаяние и исповедание грехов. Дальнейшее развитие этих основных условий привело Церковь сначала к исповеди публичной, ибо в публичной исповеди ненависть ко греху свидетельствовалась публичным покаянием. Но решив вопрос об исповеди как о врачевстве души, Церковь мало-помалу от публичной исповеди одного перед всей общиной переходит к тайной исповеди, наедине перед духовником.

Если публичная исповедь сделалась тягостной в силу общего упадка нравственного состояния верующих, то исповедь тайная, послабляя требование публичного позора за грех, в то же время более совершенно могла выполнить другую задачу исповеди — врачевство души, требующее подробного ознакомления со всеми обстоятельствами внутренними и внешними, при которых совершен грех. Исповедь тайная, которая совершенно вытеснила и заменила исповедь публичную, всегда совершалась в Церкви наедине с глазу на глаз с отпускающим грехи духов-

ником. Духовник для того, чтобы отпустить грех, должен был знать его во всех подробностях, а для того, чтобы указать врачевство — должен был разобраться в душе согрешившего, — все это наилучшим образом достигалось на исповеди тайной. Если прибавить к этому, что тайная исповедь удовлетворяла все же в известной степени и главному требованию исповеди публичной, т. е. "самоопозориванию" за грех, так как и на тайной исповеди все же был "свидетель", перед которым стыдно было признаваться в своих слабостях, то станет понятным, почему тайная исповедь получила общее признание.

Тайная исповедь, таким образом, должна рассматриваться не как упадок, а как дальнейшее развитие покаянной дисциплины.

Тайная исповедь была совершеннейшей формой, найденной Церковью для Таинства покаяния, установленного Спасителем.

Теперь нам надлежит перейти к историческому обзору епитимийных уставов, которые являются необходимым дополнением к Исповеди, понимаемой как врачевство.

К этому мы и перейдем в следующем чтении.

ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ

Что такое епитимия?

Епитимия — это наказание, налагаемое на согрешившего или в форме "запрещения", т. е. лишения Причастия на более или менее продолжительный срок, или в форме усиленного поста, милостыни, поклонов и иных подвигов. Наказание, не являющееся возмездием за грех, а преследующее воспитательную

цель исправления грешника. Епитимия — это врачебное средство в руках духовника.

Так именно понимали значение епитимии отцы Церкви.

Василий Великий говорит: "В болезнях врачи советуют больным быть внимательными к себе самим и не пренебрегать ничем, служащим к уврачеванию... Поэтому внемли себе, чтобы по мере прегрешения получить тебе пособие от врачевания. Грех твой велик и тяжел? Тебе нужна долгая исповедь, горькие слезы, усиленное бодрствование, непрерывный пост. Грехопадение было легко и сносно? Пусть же уравнивает с ним и покаяние. Только внемли себе, чтобы знать тебе здравие и болезнь души".

Св. Иоанн Златоуст в беседе 14-й на 2-е послание к Коринфянам рассуждает:

"Скажи, что оказывает милость находящемуся в горячке или в безумии: тот ли, кто полагает его на одр, связывает, удерживает от вредной для него пищи, питья, — или тот, кто дозволяет ему напиться вина, оставляет его на воле, дозволяя ему делать все, что делают здоровые? Не последний ли, под видом человеколюбия, растравляет болезнь, тогда как, напротив, первый врачует оную? Так же точно должно рассуждать и о нравственных болезнях...

Когда видишь, что конь несется к стремнине, накидываешь на него узду, со всею силою удерживаешь его и часто бьешь. И хотя это — наказание, однако же такое наказание есть мать спасения. Так поступай и с согрешившим. Свяжи согрешившего, пока не умилостивит он Бога, и не оставляй несвязанным, дабы не был он еще более связан гневом Божиим... Не почитай сего жестоким и бесчеловечным, напротив, почитай делом крайней снисходитель-

ности, превосходного врачевания и великой попечительности...”

Такое именно понимание епитимии засвидетельствовал и Константинопольский Патриарх Иеремия, который, отвечая протестантским богословам, говорит:

”Касательно определенных канонами наказаний, которые вы совершенно отвергаете, мы думаем: если они возлагаются служителями Церкви как лекарство, например, на гордецов, любостяжателей, невдержанных и распущенных, на завистников и ненавистников, на ленивых или другими какими-либо пороками болящих, то они весьма полезны и много содействуют кающемуся в деле исправления. Потому и св. отцы предписали возлагать их на обращающихся и кающихся”.

Такое понимание епитимии придало всем епитимийным уставам не категорический, безусловный характер мертвого закона. Как и всякое врачевство, оно применялось в соответствии с ходом болезни. Св. отцы настаивают, что главное в епитимиях не время, положенное для выполнения того или иного наказания, а исправление; как говорится во 2-м правиле Василия Великого: ”Врачевание же измеряется не временем, но образом покаяния”.

А потому сроки могут удлиняться и сокращаться, одна епитимия может заменяться другой, в зависимости от хода болезни, по усмотрению Церкви. Так в 5-м правиле Анкирского Собора говорится: ”Епископы да имеют власть, испытав образ обращения, человеколюбивостовати, или более время покаяния положить”. А по 3-му правилу Неокессарийского Собора, ”обращение и вера (кающихся) сокращает время покаяния”.

Этот же принцип свободного применения сроков и характера епитимии положен и в основу нашего Духовного регламента. Там говорится:

”Древние святые отцы и пастыри не так рассуждали об епитимиях, аки бы не удобно применяемых догматах, но переменяли и переменять оны допускали, имея к тому некие благословенные вины...” И дальше: ”Может духовный отец и умножати и умаляти время и количество епитимии и едину епитимию переменять на другую”.

Обязательным условием применения этого врачебного средства, естественно, является подробное и всестороннее рассмотрение души кающегося, которое вполне может быть достигнуто на тайной, единоличной исповеди. Это требование всестороннего рассмотрения души перед наложением епитимии, предписывается VI Вселенским Собором, где говорится, что принявшие власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего ко обращению ”и тако употреблять приличное недугу врачевание”. ”Ибо не одинаков недуг греха, но различен и многообразен”, поэтому надлежит ”рассматривати расположение согрешившего”.

Нам легко понять поэтому, почему церковная практика и даже епитимийные законы подвергались существенным изменениям. Эти изменения стоят в прямой зависимости от нравственного состояния людей той или иной эпохи. Изучение истории епитимийных уставов показывает, что Церковь постепенно ослабляла и сокращала строгость налагаемых наказаний. Причина этого послабления заключалась, несомненно, в упадке строгости нравов и общей церковности христианского общества. Древние строжайшие епитимийные каноны уже не могли применяться

как лечебное средство в том обществе, где болезни не являлись исключением, а были хроническим и как бы "нормальным" его состоянием.

Просмотреть путь, пройденный Церковью в этом вопросе, значит посмотреть путь нравственного и духовного упадка, пройденный христианским обществом с древних времен до наших дней.

Вот перед нами правила свв. отцов:

Читаем правила Василия Великого и ужасаемся их строгости. Чувствуем, что они не для нас. Что общество должно было жить совсем другою нравственною и церковною жизнью, чтобы возможно было в нем применять такие средства "лечения".

Правило 2. "Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства", "принимати их в общение по исполнении десяти лет".

Правило 56. "Волею убивший и потом раскаявшийся, двадцать лет будет без причастия Святых Таин".

Правило 58. "Прелюбодействовавший пятнадцать лет да не причащается Святых Таин".

Правило 61. "Укравший... аще же обличен будет, то на два года да будет удален от Причастия".

Правило 64. "Клятвопреступник десять лет да не приобщается".

Правило 73. "Отрекшийся от Христа... все время жизни своея должен быть в числе плачущих..., а при конце жизни удостоиться Причастия Святых..."

По 4 правилу Григория Нисского, за прелюбодеяние отлучаются на девять лет. По 5 правилу – убийца отлучается от Причастия на 27 лет (по 9 лет на трех ступенях покаяния).

Если бы эти лечебные средства применить к нашему современному обществу, много ли бы оста-

лось людей, достойных стоять в храме и причащаться Св. Таин? И такая строгость повлекла ли бы за собой исправление или, напротив, оттолкнула окончательно от Св. Церкви и ввергнула бы в окончательную погибель? У многих ли хватило бы терпения, и веры, и любви к Церкви, чтобы 20, 15, 10 лет оплакивать свой грех в ожидании прощения и причащения Св. Таин?

Не только в наше время, но уже в IX веке правила Василия Великого представлялись чрезмерно строгими такому строгому подвижнику, как Федор Студит.

Вот выдержка из епитимийного канона:

”Василий Великий определил, чтобы он (убийца) пятнадцать лет оплакивал свой грех... Мы же определяем это правило на трехлетний срок, если раскается и обнаружится его труд...”

”Василий Великий определил, чтобы (прелюбодей) на пятнадцать лет осуждался... а мы, если порок прекращен, определяем, чтобы виновный два года лишался Причастия...”

”Вор... говорит Св. Василий... если будет изобличен другим, понесет епитимию два года, а мы определяем епитимию на сорок дней”.

”Гробокопатель, согласно определению Св. Василия, должен быть без Причастия пятнадцать лет, а мы определяем, чтобы, если порок искоренен, виновный оставался без причастия Св. Таин год”.

Но особенно поучительно и показательно смягчение епитимийных строгостей в номоканоне Иоанна Постника, и отношение к этой снисходительности в разные эпохи. В номоканоне Иоанна Постника говорится:

”Мы теперь семь лет, за блуд определенных, со-

кратили до трех ввиду слабости нынешнего поколения”.

”Те, которые от природы горячи и борьбою плоти побеждаются сильно, если падет один или два раза от такой борьбы”... и потом ”оставит и проявит усердно раскаяние и не повторит греха... достаточно 1-го, 2-х или 3-х лет, и дать им прощение”.

Общая снисходительность Иоанна Постника выражается в следующих словах:

”Я же говорю с упованием неисчислимым на Бога благого, если кто-либо эти злые грехи сотворит, даже на слова губящие душу и плоть, но оставит их вовсе и исповедует грехи все свои и раскается усердно, дается ему канон отлучения от причастия на 8 или 10 или 12 лет, по усмотрению духовника”.

И вот этот канон казался некоторым чрезмерным снисхождением!

В XI веке афонские монахи спрашивали Патриарха Константинопольского Николая Грамматика: ”Следует ли налагать епитимии по номоканону Постника?”

Ответ: ”Этот канон, допустивший крайнюю снисходительность, многих погубил, впрочем, кто имел сознание добра, те, несмотря на поводы преткновения, подаваемые этою книгою, будут направлены к лучшему образу жизни”.

В XIII и XIV веках отношение к номоканону Постника было уже совершенно другим.

В XIII веке Патриарший Хортофилакс Никифор, а в XIV веке составители церковно-юридических сборников Матфей Властарь и Константин Арменопул цитируют Иоанна Постника наряду с правилами свв. отцов.

В половине XVII века Александрийский Патриарх Никодим на вопрос Арсения Суханова:

”Достаточно ли честь правила Иоанна Постника?” — отвечает: ”Иоанна Постника правила имамы за право и правила его имеем, якоже и прочих святых правил”.

Такое отношение к номоканону Иоанна Постника делается всеобщим: афонский иеромонах Никодим, автор принятого в греческой церкви руководства для духовников — Екхомологитария — говорит о номоканоне Иоанна Постника, как о книге, ”принятой Православною Церковью”.

Так, на протяжении 4-х веков, один и тот же номоканон в глазах представителей Церкви, из книги, ”многих погубившей” своею снисходительностью, превращается в книгу, равную правилам свв. отцов и принятой всею Церковью.

Номоканон Иоанна Постника, перешедший к нам в Россию в форме теперешнего нашего Номоканона, также претерпел на практике большие изменения, ибо и у нас строгость епитимийного устава шла неукоснительно на убыль.

Так, в 1652 г. Ростовский Митрополит Иона, в своем окружном послании к пастве, писал:

”А будет кто от мирских попов и дьяконов, или от простых людей — кто явится бесстрашником или обрящется в какове безчинии, и то нам учинится ведомо: и таковых безчинников будем казнить казною церковною, по святым правилам без милости, понеже не показали святии отцы и апостолы в своих правилах ни пощадения, ни милости, и от нас милости не будет”.

Следуя этим указаниям, священники стали налагать строгие епитимии, по точному смыслу Номоканона отлучать от Причастия на долгие сроки, началось общее неудовольствие мирян.

Духовный Регламент дает уже совершенно другие указания о применении епитимийного устава. Там говорится:

”Понеже мнозии в писании неискусне священники держатся за требник, как слепые, и, отлучая кающихся на многие лета, кажут что написано, а толку не знают и в таком нерассудстве иных и при смерти причастия не сподобляют...”

Допуская лишь в самых крайних случаях недопущение до Причащения, Духовный Регламент указывает, что такое наложение епитимии должно делаться с ведома епископа:

”Такому кающемуся может духовный отец на некоторое время, при иных к исправлению угодных епитимиях, наложить и епитимию отрешения от Св. Таин. Однако же сие само собою творити духовник да не дерзает, но у своего Архиеерея, предложив ему вся обстоятельства о кающемся, токмо не имянуя его, просит рассуждения и благословения”.

Что же касается долгих епитимий, то они решительно не рекомендуются: ”Понеже она древле была во врачество яки наказующая грехов мерзость и востягающая злые похоти; ныне же не токмо не страшна многим, но и желаемая ленивым стала”.

В 1734 году последовал указ Синода в еще более строгой форме ограничивающий права священников налагать епитимии согласно Номоканону. В этом указе говорится:

”Отныне священникам детей своих духовных и приходских людей никоею самовластием без ведома местного своего архиеерея в синодальной области Духовной Консистерии и прочих установленных под ним духовных начальников, т. е. заказчиков и С. Петербургского духовного Правления, (Св. Таин не ли-

шать). Оным же духовным Правительствам, не доложу о том Св. Прав. Синоду по силе вышеозначенного Св. Апостолов Правила, ни за какие вины отхода церковного не отлучать и прочих по чину Восточных (Церкви) Треб отнюдь не лишать, опасаясь за то себе жестокого на теле наказания и священства лишения”.

А почти через 50 лет был издан указ (21 марта 1780 г.) уже архиереям. В нем говорится:

”Ко всем Преосвященным Епархиальным Архиереям послать указы, дабы особливо в рассуждении налагаемого преступникам запрещения Причащения Св. Таин поступали осмотрительно, так чтобы ни кающегося не обременять и не привести в отчаяние и в ожесточенном не произвести неуважения к Св. Тайнам”.

В этом же направлении последовали затем указы от 11 июня 1851 г. и 18 февраля 1868 г. за № 21.

В данное время некогда грозные епитимии Василия Великого — превратились в ”поклоны”, налагаемые духовниками, в чтение ”Богородицы”, или раздачу милостыни бедным...

Таков путь духовного врачевства — епитимии, путь обусловленный нравственным упадком христианского общества и, что всего важнее, — обмирщением его в смысле церковном.

Обзором истории епитимийных уставов мы и заканчиваем наши краткие очерки исторического развития основных начал Таинства покаяния. Мы были очень кратки, но и тот материал, который дали эти беглые строчки, как увидим в следующем чтении, совершенно достаточен, чтобы ответить на вопрос, поставленный в первом нашем чтении: какова истинная природа так называемой ”общей исповеди”.

ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ

Какие же выводы можно сделать из нашего краткого обзора исторического пути, пройденного Таинством покаяния? Общий вывод таков:

Этот путь был постепенным развитием и ростом. Св. Церковь, водимая Духом Святым, не только искала и находила лучшие формы для совершения Таинства, — но выявляла и осознавала во всей полноте основные начала Таинства, указанные Спасителем. Таким образом, современная православная тайная (единоличная) исповедь — это есть завершение пройденного пути. В самом деле — неопределенная, неустойчивая в древней Церкви обрядовая сторона Таинства, после всевозможных видоизменений, выливается, наконец, в определенную и неизменную форму, принятую всей Церковью, и не нарушаемую вот уже 250 лет.

Власть ключей, переданная епископам, мало-помалу на практике переходит к священникам и иеромонахам, более близко стоящим к своим духовным детям, и потому имеющим возможность наилучшим образом выполнять задачу вязать и решить, что предполагает всестороннее знание не только обстоятельств данного греха, но и души данного человека. Через долгий процесс, при участии духовной глубокой работы монастырей, создается в Церкви духовник — в современном смысле слова, духовный отец, не только отпускающий грехи, но и врачующий и назидующий и молящийся за грешную душу. Из общего указания древней Церкви о том, что грехи должны исповедоваться, т. е. в них надлежит каяться вслух, открыто, а не про себя, вырабатывается постепенно совершеннейшая форма тайной, единоличной испо-

веди, дающая возможность духовнику узнать все обстоятельства, при которых совершен грех, и степень раскаяния согрешившего (что необходимо для совершения Таинства), и в то же время удовлетворяющая другому обязательному условию совершения Таинства — устному открытому вслух признанию в грехах.

И, наконец, врачебное средство исправления — епитимия, хотя и ограничивается в своем применении в связи с общим нравственным и духовным состоянием верующих, — но все же свято сохраняется и поныне.

Таковы выводы, которые нельзя не сделать, просмотрев путь, по которому шла Св. Церковь в постепенном развитии основных начал Таинства покаяния.

И вот появляется "общая исповедь". Что же это? Дальнейший шаг вперед? Дальнейшее совершенствование? Или полнейший отказ от покаяния как Таинства?

Я думаю, для всех беспристрастных людей ответ совершенно ясен.

В первом чтении мы приводили решительное и безоговорочное запрещение принимать на исповедь многих. Мы видели, что попытки ввести "общую исповедь" в России были давно, 200 лет тому назад. И Православная Церковь пресекала их в корне решительным запрещением. Она объясняла эти попытки нерадением и бессовестием некоторых пресвитеров. Теперь мы можем твердо установить, почему Церковь так сурово отвергала общую исповедь: потому что это был отказ не только от всего прошлого в развитии Таинства, пройденного Церковью, но отказ от основных начал Таинства, установленных Спасителем.

В самом деле, в общей исповеди из необходимых условий Таинства покаяния, сохраняются лишь три: установленная обрядовая сторона, участие иерархического лица и раскаяние верующего.

Два являются совершенно обязательными для совершения Таинства, и без которых о совершении Таинства не может быть и речи. Одно условие касается духовника: он должен, по учению Церкви, *знать* грехи, которые прощает, знать подробно, знать степень раскаяния, знать, достоин ли грешник прощения. Все это он должен знать для того, чтобы простить или *не простить* грех. При общей исповеди вопрос о том, достоин ли грешник прощения, решает *сам* грешник, а не пастырь. Пастырь на общей исповеди фактически отказывается от власти "вязать". Но отказываясь от власти "вязать", он тем самым теряет и власть "решить". Правда, на общей исповеди читает молитву священник. Этим создается видимость Таинства. Но священник не может прочесть ее *каждому*, подошедшему к нему. Значит, вопрос, достоин ли грешник разрешения или недостоин, решается самим грешником: власть ключей фактически передана ему, за священником оставлена лишь пустая, не имеющая никакого содержания форма. Таким образом общая исповедь — это отказ от самой основы, на которой зиждется Таинство покаяния.

Второе условие, необходимое для совершения Таинства покаяния, несоблюдаемое на общей исповеди, касается кающегося. Он не исповедует своих грехов, ибо исповедовать — значит открыто признавать. А на общей исповеди, когда сотни людей в один голос кричат "грешен", нет никакого открытого свидетельства о грехах, а потому нет и никакой "исповеди" их.

Итак на общей исповеди нет двух обязательных и самых основных условий содержания благодатного Таинства — нет права священника *отпускать* грех, ибо *не имеет права* священник отпускать грехи по "безотчетному произволу", и нет права *получать* отпущение, ибо, по учению Церкви, это право дает устное исповедание грехов.

Что же касается третьего, дополнительного условия Таинства, — права духовника налагать епитимии, — то оно вовсе отпадает при общей исповеди, ибо, не зная греха, естественно невозможно врачевать душу согрешившего наложением наказания.

К этим трем условиям, нарушаемым при "общей исповеди", надо присоединить еще одно, внутреннее условие, также отсутствующее при общей исповеди, — я разумею *стыд* при исповеди грехов. Об этом Феофан Затворник говорит так:

"Будут приражаться стыд и страх, — пусть. Тем и вожделенно должно быть сие Таинство (исповеди), что наводит стыд и страх, и чем более будет стыда и страха, тем спасительнее. Желая сего Таинства, желай большего устыждения и большего трепета".

"...Предел, до которого надо довести открывание своих грехов, тот, чтобы духовный отец возымел о тебе точное понятие, чтобы он представлял тебя таким, каков ты есть, и, разрешая, разрешал именно тебя, а не другого..."

Здесь каждое слово обличает "общую исповедь", указывает на ее незаконность и совершеннейшую недопустимость.

А следующие слова его должны наполнить ужасом как тех, кто совершает это беззаконие над верующими, так и тех верующих, которые предостав-

ляют возможность, чтобы над ними оно было совершено.

Феофан Затворник говорит:

”Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь дал власть разрешать *не безусловно*, а под условием раскаяния и *исповеди*. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить: ”прощаю и разрешаю”, — Господь скажет: ”а Я осуждаю”.”

И вот, несмотря ни на что, несмотря на строгое запрещение, несмотря на то, что это явное новшество, никогда не бывшее в Церкви, несмотря на то, что это явный отказ от самой основы Таинства, — общая исповедь стихийно, упорно, как какая-то страшная эпидемия, разливается по России. Препятствия, которые встречает она, не вразумляют верующих, не доходят ни до разума, ни до сердца, а приводят к озлоблению, поборники Православного учения попадают в положение каких-то смутьянов и самочинников. Почему это так? Теперь мы подошли к тому вопросу, который поставлен нами в первом чтении. Что же это за страшная стихия, охватившая Церковь, не только мирян, не только священников, но и епископов, имеющих великий духовный авторитет? Почему люди церковные, ученые, досточтимые — как бы в некоем ослеплении пребывают в этом вопросе? Не могут же они не знать всего, что говорит о Таинстве покаяния Св. Церковь, и о том, что говорит Церковь об исповеди многих? Одним попустительством, говорили мы, объяснить это нельзя. Нельзя объяснить и одними удобствами исповеди ”многих”. Нельзя объяснить нерадением и бессовестием — ибо среди практикующих общую исповедь есть люди достой-

нейшие. Какова же истинная природа общей исповеди, делающая это явление столь победоносным?

Теперь мы имеем данные ответить на этот вопрос.

Истинная природа общей исповеди – это обмирщение Церкви.

Священник на общей исповеди отказывается прежде всего от той части исповеди, которая развивалась в монастырях – и осознавалась от *духовничества*. Духовничество – это путь к церковному воспитанию христианского общества. Это тяготит мирян. Они охотно, через общую исповедь, порывают главнейшую внутреннюю связь с пастырем. "Освобождаются" от церковного водительства, устройства и контроля. Они безотчетно, сами не зная почему, чувствуют себя на общей исповеди как бы на свободе. Это дух мирского своеволия, мирская "эмансипация" от келейного монастырского духа. В самом деле, возможен ли был где-нибудь в Оптиной пустыни плакат: "Сегодня епископ такой-то проведет общую исповедь в таком-то храме, начало во столько-то часов"?!

И вот идут прохожие, читают этот выставленный на шумной улице плакат, и идут на "общую исповедь" – ни к чему не обязывающую, ничего от них не требующую и обещающую несколько хорошо проведенных минут. Это обмирщение Церкви.

Вместо серьезного отчета о своей жизни, вместо покаяния за содеянные грехи, что есть большой и трудный нравственный подвиг – который приводит к потребности "выставить грех на позор", если не перед всею Церковью, то перед духовником, – общая исповедь предлагает "коллективное покаянное настроение". Трудно и стыдно покаяться на духу. Но приятно, легко и успокоительно поплакать вместе со всеми на общей исповеди. Более или менее талант-

ливый проповедник растрогает сердце, плачущий сосед еще усилит умиление, — и вот, безо всякого труда, безо всякого подвига достигается ”покаянное настроение”, иногда очень сильное — и всегда бесплодное, ибо оно не есть результат внутренней работы. Плакать на единоличной исповеди — это одно. Плакать на общей исповеди — это совсем другое. Исповедь требует покаянного подвига. Мир дает иные средства для иллюзии покаяния — он дает ”коллективное переживание”, — в деле исповеди это обмирщение Церкви.

Спаситель предоставил право решать, достоин или недостоин грешник прощения, — иерархии.

Это требует послушания, это требует смирения от исповедующего грехи. Мир освобождает верующих от этого тягостного состояния. Он предоставляет самому грешнику решать, достаточно ли он раскаялся, достоин ли он получать прощение, дело пастыря дать ”разрешение” — а самое ”решение” на общей исповеди передано грешнику. Это обмирщение Церкви.

Вместо епитимии, духовного врачевства, вместо подвига смирения, послушания, тяжелой обязанности раскрыть душу, выставить на позор грех, вместо трудно достигаемого раскаяния во грехе, вместо контроля Церкви над помыслами, желаниями, всею жизнью — мирская стихия, овладевающая Церковью, предлагает нечто совсем легкое, удобное и приятное.

Мир спешит жить. Людям в миру некогда. Обмирщенным христианам хочется полчаса потратить на спасение души, чтобы поскорей, без задержки, бежать к своей службе, торговле, семье. Общая исповедь услужливо предлагает освободить христиан от долгого ожидания частной исповеди. Общая исповедь — это ”техническое усовершенствование”, в своем ро-

де "машинное производство". Частная, единоличная исповедь создавалась в тиши монастырей, при мерцании лампад, при трепетном отблеске восковых свечей. "Общую исповедь" породила шумная, бестолковая, вечно спешащая мирская жизнь, залитая бездушным электрическим светом.

Не простая случайность, что общая исповедь перешла в решительный натиск на Церковь после 17-го года, когда начали рушиться монастыри, которые были оплотом православной Тайной исповеди. Не простая случайность и другое явление, с поразительной ясностью свидетельствующее об этом духе обмирщения, который стоит за общей исповедью. Я разумею общую исповедь в городских монастырях.

При всей искренности руководителей этих монастырей, они могут сохранить лишь внешний порядок и настроение монашеских богослужений, но в этих монастырях, по условию современной жизни, уже не может быть настоящего монастырского уклада, и вот то, что было бы невозможно в Оптиной пустыни, делается возможным в них: эта обмирщенная "общая исповедь" в них проникает.

В миру нет потребности выставить на позор свой грех, там стараются скрыть его, там нет надобности раскрывать душу духовнику, дабы он мог руководить твоею жизнью, ибо это требует смирения, — в миру привыкли жить по своей воле, там смешны и ненужны епитимии, ибо они требуют послушания, — а в миру больше всего дорожат своей волей. Но в миру измучились, исстрадались, людям хочется поплакать слезами, которые ни к чему не обязывают, и успокоенными уйти домой. И все это дает им общая исповедь. Вот почему она кажется такой желанной, вот почему она так соответствует потребностям дан-

ной эпохи. Подделка тонкая, ядовитая, подменяющая Таинство и церковное устройство души чем-то очень заманчивым, но отравленным мирской стихией. И общая исповедь, победоносно ломая устав, отрекаясь от прошлого Церкви, повреждая самое существо Таинства, внедряется в церковную практику. Высшая церковная власть, лично не сочувствующая общей исповеди — не видит достаточной опоры в самой Церкви, охваченной стихией обмирщения, и потому колеблется произнести запрещение общего характера.

Общая исповедь проникнута тем же духом, что и обновленчество. Ибо, если от обновленчества отбросить все лишнее, грязное, в своей идейной основе оно есть не что иное, как обмирщение Церкви. Недаром переход к общей исповеди имеет один признак столь характерный для всякого обновленчества — это самочиние, небрежительное отношение к правилам Церкви и к ее прошлому. Таким образом, место общей исповеди в обновленческой, а не в Православной Церкви.

Но надо быть справедливым. В церковной жизни, наряду с явлением обмирщения Церкви, мы видим небывалый подъем церковности. Если масса церковная обмирщается, то "малое" стадо Христово, напротив, и в миру как бы восстанавливает монашеский дух — отсюда стремление мирян к частому причащению, к молитве, посту, чтению свв. отцов и к духовной жизни.

То же наблюдается и в вопросе об общей исповеди. "Масса церковная" охватывается этим недугом. Для характеристики этого процесса, я позволю привести письмо одного мирянина, полученное мной:

"Пошел я в церковь исповедоваться, — пишет

он, — я знал, с детства, что исповедоваться значит перед священником, свидетелем Божиим, подавляя стыд и страх, рассказать все грехи, осудить их, выслушать указания священника и получить от него разрешение грехов. В церкви, куда я пошел на этот раз, было предложено желающим принять общую исповедь. Я сначала подумал: да можно ли, не рассказав своих грехов, получить разрешение их, но тут же подумал, что если православное духовное лицо предлагает, — значит все в порядке. Приступили к исповеди. Духовник перечислял грехи с воодушевлением, а мы только объявляли, что грешны в этих грехах. Затем духовник предложил тем, кто имеет что-то особенное на душе, грех, который очень обременяет совесть, подойти и сказать ему это. Но что именно говорить? Что называть особенным? Я нахожусь на службе. Сосед зазевался, и я стащил у него рубль. Сосчитав деньги он обнаружил пропажу, волновался, горевал, недоумевал. Я делал вид, что сам возмущен. На общей исповеди отец духовный всей массе задал вопрос: не присваивал ли чужого? А мы отвечали: "грешны, батюшка". Значит, я уже покаяться, особенного ничего нет, многие отвечали: "грешны". Как хорошо: и покаяться и краснеть не надо. Пошел бы я на частную исповедь, сколько мучился бы, прежде чем рассказал о своем низком и грязном деле, а тут грех прощен, причащаться можно, и все шито-крыто. Решил всегда ходить только на общую исповедь.

Но после этого у меня появились искусительные мысли. Если священник, не выслушав моих грехов, может отпустить их, то почему же он не может разрешить заочно. Например, из дому пишу батюшке записку такого содержания: "Немного нездоров,

прийти в церковь не смогу, но завтра думаю причащаться, во всех грехах каюсь. Прошу разрешить”. Батюшка пишет: ”разрешаю”. Да и этого не нужно. Было бы довольно, если бы священник, выйдя с Чашей, просто спросил у желающих причащаться: ”Во всех грехах каешься?” И получив утвердительный ответ, тут же разрешил бы и стал причащать. Впрочем, и этого не надо, так как выйдя с Чашей, священник читает молитву, в которой есть такие слова: ”Помилуй мя и прости ми прегрешения моя вольные и невольные, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением...”. Причастники повторяют за священником эту молитву, значит, они каются. Священнику остается сказать – прощаю и разрешаю – и начать причащать. Если частную исповедь можно заменить общей, то общую тем более можно заменить указанным путем”.

На этом я мог бы и кончить, но нельзя не ответить на вопрос, на который мы обещались ответить в первом чтении. Как мог допустить общую исповедь о. Иоанн Кронштадтский? Неужели и он служил делу обмирщения Церкви?

Отвечаю:

Общая исповедь у о. Иоанна Кронштадтского по существу ничего общего с нашей, так называемой ”общей исповедью” не имеет, хотя подобна ей по внешней форме. Общая исповедь о. Иоанна Кронштадтского была явлением единственным, беспримерным и по существу недоступным ни для примера, ни для подражания. В общей исповеди о. Иоанна Кронштадтского не нарушались основные свойства Таинства в силу особых благодатных даров, данных ему от Господа.

Так, необходимое условие единоличной испове-

ди — обязательство для духовника знать грехи кающегося, у о. Иоанна Кронштадтского восполнялось благодатным даром прозорливости. О. Иоанн Кронштадтский не допускал многих до Чаши без предварительных расспросов, потому что он *видел грех* в душе человека, *знал* его, хотя и не спрашивал.

О. Иоанн не требовал обязательно ”исповедания” греха, но люди, приезжавшие к нему со всех концов России, по своему душевному состоянию, были готовы на какие угодно самораспятия и, при таком условии, требование обязательного произнесения покаяния вслух было бы простой формальностью. Вот почему общая исповедь о. Иоанна Кронштадтского, являясь по форме нарушением устава, в силу исключительных, ему лишь данных даров, по существу не была этим нарушением.

Общая исповедь была особым дерзновением о. Иоанна Кронштадтского, за которое он будет отвечать перед Господом, но нам он не только не завещал следовать этому примеру, а напротив, то, что оставил в руководство, ясно говорит об исповеди тайной, единоличной. И мы не должны горделиво брать пример с того деяния о. Иоанна Кронштадтского, за которым стояло особое его дерзновение, основанное на особых дарах, — а смиренно последовать тому, чему он нас учил. А для этого надо открыть книгу о. Иоанна Кронштадтского ”Моя жизнь во Христе”, — там прочтем мы об исповеди следующее:

”Исповедаться в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытием и признанием их, и чтобы больше чувствовать к ним омерзения”.

А на общую исповедь не потому ли идут многие, что стыдятся признаться в своем грехе священнику?

”Кто привык давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому не будет страшно давать ответ на Страшном Суде Христовом”, — говорит о. Иоанн Кронштадтский.

О каком же отчете может быть речь на общей исповеди?

”Только тогда ты будешь совершать достойно Таинство покаяния, — говорит о. Иоанн Кронштадтский, — когда будешь не корыстолюбив, а душелюбив, когда будешь терпелив, а не раздражителен. О, как любовь нужна к душам ближних, чтобы достойно, не торопясь и не гордясь, с терпением исповедовать”.

”Исповедь священника есть подвиг любви к своим духовным чадам, не взирающей на лица, долготерпящей, милосердствующей, не превозносящейся, не ищущей своих (своего спокойствия, корысти), не раздражающейся, не радующейся или не потворствующей неправде, радующейся же истине, все покрывающей, все терпящей, николиже отпадающей...”

”О, сколько нужно приготовления к исповеди! Сколько нужно молиться об успешном прохождении этого подвига! О, какое невежество духовных чад! День и ночь надо сидеть с ними, с спокойствием, с кротостью и долготерпением поучать каждого из них...”

А вот молитва о. Иоанна Кронштадтского перед исповедью:

”Дажь ми ныне Духа Твоего Святаго, да укрепит сердце мое к подъятию труда исповеди, к благоразумному решению или *вязанию* совестей человеческих, к терпению и благодушию, к любезному и назидательному обращению с моими духовными чадами”.

И, наконец, уже прямо против общей исповеди свидетельствуют следующие слова:

”Трудность и болезненную жгучесть операции вынесешь, зато здрав будешь (говорится об исповеди). Это значит, что надо на исповеди без утайки, все свои срамные дела духовнику открыть, хотя и больно и стыдно, позорно, унизительно”.

”Священник — врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь, искренно, откровенно с сыновнею доверчивостью...”

Вот что надлежит нам знать об исповеди у о. Иоанна Кронштадтского. А то говорят: ”О. Иоанн Кронштадтский вел общую исповедь, значит и нам можно”. Нет, не можно, потому что мы не Иоанны Кронштадтские! А то, что нам можно, он завещал в своих писаниях, а мы этого не хотим знать.

Митрополит Серафим (Чичагов), в одной частной беседе сказал слова великой мудрости:

”Умершие люди, если видят, что дела их, совершенные на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, скорбят, и душа о. Иоанна Кронштадтского не может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди”.

Вот почему владыко Серафим, хотя и не сочувствуя выступлению против общей исповеди с амвона и обращению к мирянам, но иными путями считает борьбу с общей исповедью делом своей жизни.

Слова митрополита Серафима надо помнить и всем, ссылающимся на о. Иоанна Кронштадтского в оправдание общей исповеди. Они должны знать, что ставя свое церковное беззаконие в связь с о. Иоанном Кронштадтским, они увеличивают его скорбь. Всем истинно чтущим память великого нашего молитвенника, надлежит во имя этой памяти, бороться с общей исповедью. Ибо если бы о. Иоанн Крон-

штадтский мог встать из гроба, — на основании написанного им для нас мы вправе это утверждать, — он осудил бы нашу современную общую исповедь.

Вот почему и я свой посильный труд посвящаю приснопамятному столпу Православия о. Иоанну Кронштадтскому, и так как борьба с общей исповедью есть борьба с обмирщением Церкви, и защита тайной единоличной исповеди есть защита духовенства, то другое имя, написанное мной в посвящении — есть имя духовного отца моего приснопамятного Оптинского старца иеросхимонаха Анатолия. Аминь.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

"Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения... Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним..."

(Рим. 6, 3–5, 8)

Апостол при крещении

ВВЕДЕНИЕ

1

Цель предлагаемого очерка — кратко и по возможности просто объяснить богослужение, совершаемое при крещении. Каждый православный христианин верит, что этим таинством он введен в Церковь и что в крещении началась его жизнь, как христианина. Нам часто приходится присутствовать при крещении, а иногда быть восприемником или восприемницей крещеного, то есть принимать в таинстве непосредственное участие. Но понимаем ли мы смысл таинства? Не присутствуем ли при нем часто как зрители непонятной древней церемонии, в необходимость которой мы верим, но обряд и язык которой перестали понимать? А ведь, если это таинство, как с первого дня верила Церковь, есть действительно *начало* нашей христианской жизни, основа и источник нашего спасения, то

Свящ. Александр Шмеман. Таинство крещения. Изд. "Церковного Вестника", Париж, 1951.

каждое его слово, каждый обряд раскрывает нам смысл нашей жизни и содержание нашей веры. И быть христианином — разве это не означает в первую очередь — хранить и бесконечно усваивать в своей жизни то, что получили мы в таинстве крещения! Но тогда, конечно, недостаточно просто знать, что когда-то мы были крещены, но необходимо всегда помнить и осознавать смысл и силу крещения. Лучший же способ для этого — вникать в смысл богослужения, совершаемого при крещении, и тем самым всегда снова и снова переживать его.

2

Правда, современному человеку столь многое в Церкви представляется "устарелым", "надуманным", "архаическим". Кажется, что Церковь застыла в своих древних обрядах, не соответствующих нашему времени и его нуждам, ничего не говорящих современному сознанию и потому не действительных. Мы почти механически, часто с иронической улыбкой, подчиняемся священнику, говорящему нам повернуться "плюнуть и дунуть", сказать такие-то слова, идти за ним вокруг купели — но не понимаем, для чего все это нужно. Но если с любовью подойти к церковному богослужению, уделить ему хотя бы малую долю того внимания, какое мы уделяем на все вещи и дела "мира сего", то открывается, что с виду эти архаические и странные обряды имеют глубочайший и вечный смысл, что в них и совершается нечто вечное, чего иначе по-современному выразить невозможно. Но, повторяем, для этого требуется усилие и любовь. Равнодушному ничего не откроется. Тому, кто судит Церковь, даже не постаравшись понять ее жизни и сущности, она останется закрытым ми-

ром. Но "вкусите и видите". Сделавший усилие и вошедший знает, что он касается Божественных тайн, несоизмеримых с нашими земными понятиями и суждениями и требующих для своего понимания веры, любви и смирения. Тому, кто мерит своими мерками и себя — свой разум, свою логику, свои домыслы считает мерилом всего, никогда не понять церковной жизни. Но как только человек согласится смирить себя и слушать то, что говорит ему Церковь на языке своих молитв и обрядов — тому открывается бездонная глубина церковной истины, та подлинно новая жизнь, которую Церковь дарует. Древние слова и обряды оживают тогда, как вечно новые и нестареющие, и так ясно становится, что не Церковь нужно приспособлять к миру, а наш больной, грешный и суетный мир, нашу жизнь "сообразовывать" с вечной истиной Церкви.

3

Прежде чем приступить к объяснению самого чина крещения, необходимо сделать несколько вводных замечаний.

1. В древности крещение новых членов Церкви совершалось в пасхальную ночь, было подлинно пасхальным таинством. Такая внешняя связь между крещением и Пасхой теперь утрачена, но о ней следует напомнить, так как по существу она остается неизменной и о ней напоминают нам слова ап. Павла, приведенные выше. Крещение есть таинственное участие человека в смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа. Через подобие смерти — в крещальной купели — мы соединяемся с воскресшим Господом. Своею смертью Он побеждает нашу смерть, Своим Воскресением Он дарует нам залог воскресения, Своим при-

существованием в нас Духом Святым Он дает нам прощение грехов и силу побеждать всякое зло. Мы знаем, что обряд погружения в воду есть один из самых древних, самых распространенных религиозных обрядов. И Господь не оставил нам другого знака, кроме того, которым само человечество с незапамятных времен выражало свою жажду новой праведной жизни, тоску по прощении грехов и по соединении с Богом. Но этот знак Господь наполнил смыслом и сделал действенным. Он сделал его знаком Своей смерти и Своего Воскресения и потому "если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним" (Рим. 6, 8) и уже больше "ни смерть, ни жизнь... ни настоящее, ни будущее... не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем" (Рим. 8, 38–39).

2. Крещение также совершалось всегда в собрании всей Церкви, всей общины, в нем все участвовали и оно было делом всех. Ибо смысл его именно в том, что оно вводит человека в Церковь, делает его членом Тела Христова. И немедленно после крещения новокрещенный участвовал в Литургии и приобщался со всеми вместе от Единой Чаши и Единого Хлеба. "Один Господь, одна вера, одно крещение" (Еф. 4, 5). "Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом" (1 Кор. 12, 13). И опять-таки, если внешнее крещение перестало совершаться в собрании Церкви, то смысл его всегда тот же: ввести человека в Церковь, соединить его во Христе с другими, включить в единую жизнь Церкви.

3. И, наконец, крещению предшествовал более или менее длинный период приготовления — так наз. *оглашения*, с которого мы и начнем объяснение современного чина крещения.

ОГЛАШЕНИЕ

В древности подготовка к крещению включало в себя: 1) Оглашение, то есть научение вере, 2) церковную молитву об оглашенных и 3) ряд чинов или обрядов, готовящих человека ко вступлению в новую жизнь.

1. Научение вере

Человек, ставший оглашенным, тем самым засвидетельствовал уже свою веру. Эта вера привела его к Церкви. И Церковь передает ему ту истину и ту жизнь, которые дал ей Господь и которые потому и называются Преданием (от греческого слова "парадосис" — то, что передано). Личная вера должна быть включена в веру Церкви, раскрыта и восполнена в ней. Жизнь в Церкви состоит в постоянной проверке "своего" — своей веры, своей истины — верой Церкви, ее преданием, и это и есть основа соборности, то есть согласованности каждого с целым (таков смысл греческого слова "кафолический" — согласный с целым); а с другой стороны, эта передача Церковью истины каждому своему члену возлагает на него ответственность за ее охранение, делает его "хранителем веры и благочестия", по выражению послания восточных патриархов 1848 года.

Основой этого соглашения была передача будущему члену Церкви Священного Писания и его истинного смысла, хранимого Церковью. "Тогда отверз им ум к разумению Писаний" (Лк. 24, 45). Это значит, что для понимания Писания недостаточно индивидуального чтения: „Если бы простое чтение было достаточно, — говорит св. Иоанн Златоуст, — то как объяс-

нить то, что евреи, читающие Ветхий Завет, до сих пор не поверили?" Это понимание дается только в Церкви — в Предании, идущем от святых апостолов, которым Сам Христос "открыл ум", то есть дал сокровенный смысл Писания, как пророчества и свидетельства огнем. Поэтому эта передача Писания совершалась в богослужебном собрании и состояла в чтении и толковании текста. Временем специального приготовления к крещению был Великий Пост, так как крещение совершалось в пасхальную ночь. Вот почему великопостное богослужение до сего времени в очень большой своей части посвящено чтению Ветхого Завета, причем это чтение коренным образом отличается от чтения его в другое время церковного года: вне Великого поста Ветхий Завет читается только в "паремийных" отрывках, непосредственно связанных с данным праздником. Здесь же он читается подряд, то есть глава за главой, и так, что всегда параллельно идут чтения из книги Бытия (творение мира, грех и избрание Израиля как начало спасения мира), из пророка Исайи (пророчества о Спасителе и спасении) и притчей (нравственный закон).

На основе Священного Писания и параллельно с ним шло раскрытие церковного учения, заканчивающегося передачей оглашенному Символа Веры, который он должен был в Великую Субботу перед крещальной купелью отдать Церкви, то есть исповедать его, свидетельствуя таким образом о своем включении в веру Церкви, принятии ее, и обязательстве хранить ее. Следует заметить, что исторически Символ Веры как раз и возник в связи с оглашением, из необходимости "резюмировать" Предание Церкви для исповедания его перед крещением.

И, наконец, оглашенному передавался "закон"

церковной молитвы, то есть ему объясняли смысл церковных таинств, и обрядов, и, прежде всего, конечно, смысл крещальных обрядов. Оглашенный поистине вводился в жизнь Церкви, готовился сознательно и ответственно войти в нее. До нас дошли образцы таких огласительных бесед "тайноводств" в творениях св. Кирилла Иерусалимского, св. Амвросия Медиоланского и многих других отцов и учителей Церкви. Из них видно, с какой любовью готовила Церковь своих будущих членов к таинству спасения, как с разных сторон все глубже и глубже раскрывала им смысл имеющего совершиться с ними.

Теперь крестят почти исключительно младенцев, что естественно исключает возможность приготовления к таинству и его объяснения. Эта практика очень древняя, свидетельства о ней мы имеем уже в апостольское время. В наши дни она осуждается сектантами баптистами, но это осуждение есть плод ложной рационализации христианства, свойственной сектантам. Христианство есть прежде всего новая благодатная жизнь, данная Богом во Иисусе Христе, и эта жизнь, по вере Церкви, даруется всем, и, конечно, в первую очередь детям, про которых Сам Иисус Христос сказал, чтобы им не препятствовали приходить к Нему (Мф. 19, 14).

Но если в эпоху, когда в Церковь вступали преимущественно взрослые, смысл этой новой жизни им естественно было объяснить до крещения, то теперь столь же абсолютно необходимо каждому крещенному в детстве этот смысл раскрыть, когда он будет способен принять его. Получив, по вере Церкви, этот дар, человек призван и должен принять его всем своим существом — разумом, сердцем и волей. И потому совсем исключительная ответственность лежит на свя-

щеннике, родителях и восприемниках, обязанных передать ребенку, когда он вырастет, содержание крещальных обрядов, истины христианской веры и образ христианской жизни. Преподавание Закона Божия и должно быть именно таким после-крещальным оглашением, то есть совершенно необходимым дополнением к таинству крещения, раскрытием его смысла. И страшный грех совершают те родители и восприемники, которые не заботятся об этом научении детей и о введении их в церковную жизнь.

2. Церковная молитва оглашенных

Приготовление к крещению сопровождалось особыми церковными молитвами об оглашенных. Эти молитвы и сейчас читаются в чине нашей Литургии и вся ее первая часть называется даже "литургией оглашенных", так как оглашенные присутствовали при ней, слушали чтение Священного Писания и проповедь, толкующую его. Этими молитвами соборная Церковь просит Бога, чтобы Он в "нужное время сподобил оглашенных воды возрождения ("баня пакибытия"), присоединил их к святой, Соборной и Апостольской Церкви, включил их в Свое избранное стадо" (литургия св. Иоанна Златоуста). А Великим Постом, когда приближается срок "просвещения", на Литургии Преждеосвященных Даров возносились еще и особые прошения:

"Верные (то есть уже крещенные), помолимся о братьях, готовящихся к святому просвещению о том, чтобы Господь Бог наш утвердил их и укрепил, просветил их просвещением разума и благочестия, сподобил их в нужное время воды возрождения, оставления грехов, одежды нетления (то есть бесмертия), родил их водою и Духом, даровал им

совершенную веру, соединил их со святым Своим избранным стадом". И прошения эти заканчивались молитвой:

"Яви, Владыко, лицо Свое на тех, которые готовятся к святому просвещению и хотят отрясти греховную скверну; озари их помышления, настави их в вере, утверди в надежде; усовершенствуй в любви, покажи достойными членами Твоего Христа..."

Эти прошения и молитвы показывают, что крещение, вступление новых членов в Церковь по самой своей сущности, есть дело всей Церкви, всей общины, а не "частная", "семейная" треба, в какую оно так часто превращается в наши дни. Крещение не только совершалось в церковном собрании, в величайший из всех праздников, оно само есть праздник Церкви, как нового единства собранных Христом и соединенных в Нем с Богом и между собою. "Один Господь, одна вера, одно крещение" (Еф. 4, 5), и именно через крещение, то есть через таинственное соединение со Иисусом Христом, мы усыновляемся одному Отцу и делаемся по-новому братьями для новой жизни в "единстве веры и любви" (св. Игнатий Антиохийский). И потому это таинство, через которое новый брат вступает в церковную жизнь, касается всех и требует молитвенного участия всех. В древности Великим Постом Церковь готовила не только оглашенных к крещению, но и себя к их принятию: постом, молитвой и покаянием. И было бы хорошо, если в наши дни, в тех случаях, когда невозможно по той или иной причине совершать крещение в церкви, священник доводил бы до сведения всей общины о имеющих совершиться крещениях и призывал все собрание молиться о новых членах Церкви. Тогда молитва об оглашенных оживет для нас во всем

ее значении и силе. Она будет каждый раз и напоминанием нам о смысле церковной жизни как преодолении и перерастании каждым себя и своего ради бесконечного возрастания в "единстве во Христе" -- "да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, как и они да будут в Нас едино, -- да уверует мир, что Ты послал Меня" (Ин. 17, 21). Ибо такова природа Церкви, такова миссия ее в мире, такова цель, заповеданная Господом каждому из нас.

3. Чин (обряд) оглашения

Как уже сказано выше, оглашение и молитвы сопровождались на всем протяжении Великого Поста еще особыми обрядами. Один из них сохранился еще и сейчас на вечерне перед Литургией Преждеосвященных Даров: это осенение молящихся светильником со словами: "Свет Христов просвящает всех", означавшее озарение оглашенных светом богодухновенного смысла Священного Писания, которое в этот момент читается (тот же смысл имеет подобное осенение светильниками народа, совершаемое архиереем перед чтением Священного Писания на Литургии). Все остальные обряды соединены теперь в один чин "во еже творити оглашенного", совершаемый непосредственно перед крещением. Таким образом, приступая к его объяснению, мы переходим уже к нашему порядку "крестин".

Восприемник приносит младенца в храм или, если крещение совершается на дому, к тому месту, где приготовлена купель.

1. Священник в епитрахили -- "развязывает пояс его, снимает верхнюю одежду и ставит его лицом к востоку в одной ризе -- неподпоясанного и с непокрытой головой и разутого". Это снятие одежд,

развязывание пояса с древнейших времен выражало отказ человека от прежней, греховной жизни, покаяние и смиренное обращение к Христу.

2. "И дует на лицо его три раза". Дуновение всегда в Церкви было обрядом "экзорцизма", то есть изгнания злых духов. И оно есть также дарование новой жизни, так как, по библейскому рассказу, "Бог вдунул в лицо Авраама дыхание жизни". Дыхание есть основная функция жизни и потому с ним связывает Церковь как исцеление жизни, зарождаемой грехом, так и дарование духа. Сам Господь дунул и сказал: "Примите Духа Святого" (Ин. 20, 22). Здесь оно есть изгнание злого духа силою Духа Святого.

3. "И знаменует лоб и грудь его", то есть осеняет их крестным знаменем. Раньше это был первый обряд, совершавшийся над оглашенными. Когда человек обращался в христианство, его приводили к епископу и епископ делал на лбу знак креста рукой. Это означало, что с этого момента человек "выделен" из мира и на него поставлена метка Христова.

4. "Налагает руку на голову" — и знак приобретения человека Христом, возложение на него "легкого бремени" Христова. "Разве не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа... вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою" (1 Кор. 6, 19—20). При этом священник читает молитву "О имени Твоем (т. е. от имени Твоего) ... возлагаю руку на раба Твоего, который сподобился приступить к святому Твоему имени и найти спасение под Твоей защитой. Остави (удали) от него ветхую прелесть (т. е. прежнюю испорченность) и наполни его верой в Тебя, надеждой и любовью. Да уразумеет он, что Ты единый, истинный Бог и единородный Твой Сын Господь наш Иисус Христос и Святой Дух Твой. Дай ему хо-

дить во всех Твоих заповедях и хранить то, что Тебе угодно. Ибо, так поступая, будет жить человек (т. е. будет иметь подлинную жизнь). Запиши его в Твоей книге жизни, присоедини его к стаду Твоего наследия. Да прославится в нем имя Твое Святое и Сына Твоего и Святого Духа...”

5. Запрещения. После этой молитвы священник обращается к диаволу. Иным православным эта часть крещения кажется странным пережитком древних суеверий, несовместимых с нашей теперешней верой. И можно часто слышать людей, с иронической усмешкой говорящих о приказании ”дунуть и плюнуть”, с которыми священник обращается к оглашенному (или восприемнику). Здесь нужно особенно напомнить, что Церковь всегда верила и продолжает верить в существование диавола, т. е. утверждает существование не просто зла, но и личного носителя и источника зла, восставшего против Бога, проникшего в мир через грех и смерть, ставшего ”князем мира сего”. Зло не есть, как часто говорят, только отсутствие добра, подобно тому, как темнота есть отсутствие света. Действительно, не имея своей сущности, оно тем не менее имеет страшную иррациональную силу. А имеет оно потому, что носителем его является живая личность, избравшая зло, т. е. восстание против Бога, и стремящаяся и человека оторвать от Него. Так и в мире отсутствие любви становится злом и разрушительной силой, когда есть нелюбящий и ненавидящий, т. е. личность, восставшая против любви. И потому как раз в понимании добра и зла проходит непреходимая черта между христианством и всяким ”рационализмом” или ”позитивизмом”. Эти последние отрицают зло как силу: достаточно узнать, что хорошо и правильно, чтобы злое, т. е. неправильное,

исчезло. Христианство же открывает тайну зла, как Злого, совратившего мир, утвердившегося в нем и от которого человек уже не может избавиться своими собственными силами, даже если он знает, что есть добро и зло. Христианство есть откровение о спасении мира Богом, как о борьбе с дьяволом, причем высшим и решительным моментом этой борьбы, победой в ней является воплощение, смерть и воскресение Иисуса Христа. "Ныне князь мира сего будет изгнан вон". Христос победил дьявола и "разрушил его державу". И человечеству указан путь к этой победе — в соединении со Христом, т. е. в Церкви, с которой Он пребывает до скончания века. "Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь" (Мф. 10, 1).

Поэтому Церковь, приступая к крещению, прежде всего освобождает человека властью Христовой от общего всему падшему миру рабства дьяволу. Это не значит, что совершается некое "магическое" действие, раз и навсегда освобождающее человека от зла. Мы знаем, что каждый, кто обращается ко Христу, тем самым обрекает себя на беспрестанную борьбу с дьяволом и на него будет всегда направлена вся сила зла. Но для того, чтобы человек мог бороться с нею, он должен быть сначала возвращен в правильное состояние, т. е. быть силою Христовой освобожден от природной "порчи", получить ту свободу и силу, которой он, будучи частью этого падшего мира, сам достичь не может. И если сила Христова будет дана ему в крещении и миропомазании, то освобождение, выведение его из "природного" подчинения злу совершается запрещениями и заклинаниями, предшествующими таинству. Вот почему подготовка чело-

века к крещению заканчивается этим властным повелением диаволу "оставить новозапечатанного воина Христова". Еще одного Сына Божия отрывает Церковь от диавола и его царства — злобы, греха и смерти, — еще одному дает возможность и силу вступить на путь новой жизни. И в этих "запрещениях" раскрывается суть христианства, столь часто забываемая: оно не бытовая религия с умилительными обрядами, а призыв человеку от Бога — вступить в "воинство Христово", принять участие в этой духовной брани и в ней пребыть воинами до конца.

Тремя запрещениями, каждый раз с большей силой и властью повелевает Церковь диаволу отступить и "познать свою суетную силу" — "ибо Он придет и не закоснит (т. е. не запоздает)". Христос есть Господь и Царь мира. Пред Ним уже "преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних" (Филип. 2, 10), и если диавол сохраняет еще свою власть и силу, то знает уже о своем поражении.

И, окончив запрещения, священник молится: "Владыко Господи, сотворивший человека по Твоему образу и подобию, давший ему власть вечной жизни и не отвернувшийся от него, когда он отпал (от Тебя), но воплощением Христа Твоего сотворивший спасение мира: Ты Сам и это Твое создание, по избавлении его от рабства врагу, прими в Царство Твое Поднебесное. Открой ему глаза, чтобы в них светил свет Евангелия Твоего, приставь к жизни его светлого ангела, избавляющего его от всякого заговора вражеского, от встречи со злым, от демона полуденного и от мечтаний лукавых". И, дую на рот, лоб и грудь оглашенного, священник трижды повторяет: "Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездившегося в сердце его...", "и сде-

лай его разумной овцой святого стада Христа Твоего, достойным членом Церкви Твоей, сыном и наследником Царства Твоего. Чтобы, живя согласно Твоим заповедям и сохранив нерушимой печать и соблюдши одежду неоскверненной получил от блаженства святых во Царствии Твоем”.

6. Отречение от Сатаны. Тогда поворачивает его священник к западу — стране тьмы, изображающей, по древним представлениям страну дьявола, — и три раза спрашивает: ”Отрекаешься ли ты от Сатаны, от всех дел его и от всех ангелов его и всего служения его и всей гордыни его?” — И три раза оглашенный — сам, или через восприемников, отвечает: ”Отрекаюсь”. Если сначала Церковь сама — властью и силой Христовой ”запретила” дьявола, то от оглашенного требуется вольное отречение от него, вольный отказ от служения ему. Всякое совершаемое нами зло есть служение начальнику зла. И отказом от него христианин полагает резкую черту между собой и злом, выражающуюся в решимости бороться с ним. Таков первый крещальный обет.

И снова спрашивает священник трижды, этой настойчивостью указывая на бесконечную важность этого вольного отказа: ”Отрекся ли ты от Сатаны?” И на тройной ответ оглашенного ”Отрекся” — он приказывает ему дунуть и плюнуть на дьявола, делом доказать свою готовность сразу же вступить с ним в борьбу. Пусть не улыбаются люди, совершая этот обряд, столь же древний, но и столь же ”актуальный”, как и сама Церковь. Ибо это ”дуни и плюни” есть знак нашего решительного разрыва с ним, и пусть знают все, что этого вызова дьявол не забудет. С этого момента мы обрекаем себя на смертельный бой, в котором не будет передышки. И уже

ничего не будет "нейтрального", но во всем и всегда мы будем либо с Богом, либо с дьяволом. В Евангелии много слов сказано о трудностях, печалях и опасностях этого "узкого пути": "бойтесь более того, — говорит Господь, — кто может и душу и тело погубить в геенне" (Мф. 10, 28).

7. Обращение ко Христу и подчинение Ему. Тогда поворачивает священник оглашенного на восток в знак его обращения, т. е. той внутренней перемены, кризиса, покаяния, с которого начинается подлинное следование за Христом. Восток есть страна света и солнца, и христиане всегда, молясь, оборачиваются к востоку, в солнце физическом видя образ того "Солнца правды" — Христа, Который Своим пришествием просветил людей, "сидевших во тьме и сени смертной". "Восток — имя Ему", — повторяем мы в церковном песнопении слова пророка... И спрашивает священник три раза: "Сочетаваешься ли со Христом?" (т. е. соединяешься?) — и три раза слышит ответ — "Сочетаюсь". И снова три раза: "Сочетался ли ты со Христом?" — "Сочетался". За вольным отречением от дьявола, вольное соединение со Христом и по Христу.

8. Исповедание веры. "И веруешь ли Ему?" — продолжает священник. — "Верую Ему, как Царю и Богу" — отвечает оглашенный, свидетельствуя не только о „вере в Бога", но и о вере в Царство Его, пришедшее во Христе и данное людям. Ибо "приблизилось Царствие Божие". И вслед за этим оглашенный произносит Символ Веры, переданный, как мы уже говорили, ему в подготовительные к крещению недели. В Символе Веры кратко запечатлено все содержание нашей веры: в Пресвятую Троицу — Отца, Сына, и Святого Духа, в Бога Творящего, Спасяющего и Ос-

вещающего нас. По отношению к Господу Иисусу Христу, Которым мы усыновлены Отцу и Которым соединены с Духом Святым, Символ Веры перечисляет те события Его жизни (... ”и сшедшего с небес... воплотившегося... вочеловечшегося... распятого... страдавшего... погребенного... воскресшего... восшедшего на небеса... и т. д.), из которых каждое есть содержание нашей веры, смысл нашей жизни, источник бесконечной радости и спасения. Три раза повторяет оглашенный Символ Веры и после каждого раза он снова на вопрос священника повторяет свое твердое желание сочетаться со Христом.

”И поклонись Ему” — говорит священник, — ”Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной”.

Оглашение закончено. Огражденный, ”запечатанный” Церковью оглашенный вольно отрекся от сатаны, обратился ко Христу, исповедал свою веру в Истину, хранимую Церковью. Священник оканчивает оглашение торжественным благословением Бога, Который хочет, чтобы все люди спаслись, т. е. пришли к познанию Истины. И в последней молитве, подводящей нас уже к Крещальной купели, он просит Бога призвать раба Своего к святому просвещению, и сделать его достойным этой великой благодати... в соединении Христа... чтобы не был он чадом тела, но чадом Царствия Божия.

КРЕЩЕНИЕ

Завершив оглашение, священник облачается в белую ризу. Белую одежду получает и новокрещенный, выйдя из купели. Этими белыми одеждами Церковь в древности являла образ новой жизни, нового творе-

ния, осуществляемого в Ней Христом, и, давая их крещенному, тем самым свидетельствовала, что он призван сохранить их незапятнанными, т. е. жить согласно с полученной в крещении благодатью. "И зажигаются свечи, — пишет Симеон Солунский, — означающие просвещение духа и то, что крещаемый идет от тьмы к свету и становится сыном света. Каждение же являет благоухание и святую Духа".

В древности, как уже сказано, крещение составляло часть пасхального богослужения и было, конечно, обставлено очень торжественно. Торжественность эту наш "Требник" предписывает соблюдать и теперь, так как где бы ни совершалось крещение, оно всегда есть "величайшее дело Божие — воссоздание человечества". Оно пасхально по самой своей сущности и потому есть праздник всей Церкви.

Освящение воды

Таинство крещения начинается с освящения воды. И в Ветхом Завете и вообще в дохристианских религиях, вода была всегда естественным символом нравственного очищения. И погружение в воду (а само слово крещение, греч. "ваптисма", и значит буквально погружение в воду) было выражением покаяния и обновления. "Я крещу вас в воде в покаяние" — говорит св. Иоанн Предтеча. (Мф. 3, 11). С другой стороны, вода была также и символом жизни, как условие и основа всякой жизни. И этот древний и "естественный" символизм воды был воспринят также и христианством. Сам Господь говорил о рождении водою и Духом и принял крещение Иоанново. Но как и все человеческие символы, в Церкви — это погружение в воду перестало быть только символом, но в нем человек действительно получил то, что он

мог только изображать, символизировать. Ибо один Бог может символ наполнить реальностью и символическое погружение в воду сделалось крещением "в Духе и огне" (Мф. 3, 11). Человек может раскаяться в грехе и выразить свое раскаяние и тоску по прощении — но один Бог может простить, человек может жаждать подлинной жизни, т. е. соединения с Богом, но один Бог может дать ее. И Бог простил наши грехи и дал нам новую жизнь в Сыне Своем, Который стал Сыном Человеческим, соединился с нашей человеческой природой, принял на себя наши грехи и понес наши болезни. И каждому верующему в Него Он дал возможность стать сыном Божиим и иметь новую и вечную жизнь. То, что человечество бессильно изображало в символах и образах, чего ждало и о чем молилось, дано ему было наконец реально. И тогда символ стал Таинством. Это значит, что продолжая быть изображением, Он Самим Богом был наполнен действительной силой, стал реальным. Эта сила есть сила Самого Христа, Который Духом Святым исполняет, т. е. делает действенным всякое таинство. И вся жизнь Церкви таинственна и не может не быть таинственной. Она таинственна потому, что в ней всегда действует Сам Христос, обещавший быть в ней "до скончания века". Она не может не быть таинственной, потому что Церковь всегда воспринимает и изображает то, что сделал для нас Христос. Но Он сделал это один раз, это есть единственное событие, совершившееся здесь, на земле, в человеческой истории — "при Понтийском Пилате". Оно неповторимо: если бы оно было повторимо, это значило бы, что одного этого события недостаточно для спасения мира. Но Христос умер один раз и за всех людей. Он воскрес и царствует, "смерть уже не имеет над Ним власти"

(Рим. 6, 9). А через таинство каждый человек вводится в это Событие, для себя получает его силу. Так, Литургия есть не повторение Тайной Вечери, а воспоминание ее, но это воспоминание таинственно делает нас участниками единой и неповторимой Тайной Вечери, вечно продолжает ее в Церкви. Так и Крещение есть воспоминание смерти и Воскресения Господня, но в этом воспоминании человек таинственно соединяется со Христом — "соумирает" и "совоскресает" с Ним и получает в себя Его жизнь. Иными словами, в таинстве — спасение мира, совершенное Христом, — вечно действует в мире, в нем преодолевается время, прошлое живет в настоящем, и реально преображает его, и уже вводит в "мир сей" новую жизнь века будущего, т. е. Царства Божия.

Жизнь Церкви не может далее не быть таинственной, потому что само Богочеловечество Христово, т. е. соединение в Нем Бога и человека есть таинство. И как во Христе вся полнота Божества обитала телесно (Кол. 2, 9), так и в Церкви Божественная невидимая сторона никогда не отрывается от человеческой, видимой, но всегда воплощена в ней. Человеческое слово Писания есть Слово Божие, Евхаристический хлеб есть Тело Христово, Миро — есть дар Св. Духа. Вся наша вера всегда основана на том, "что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши" (1 Иоан. 1,1). Ибо "Слово стало плотью" и Сын Божий есть навеки и Сын Человеческий.

И, наконец, в таинстве само вещество, сама материя мира восстанавливается в том значении, какое имела она до грехопадения. Она не отделяет человека от Бога, а напротив, есть путь и средство к соединению с Ним, она не владычествует над человеком, а

напротив, сама служит ему, становится "материей таинства", ибо для этого она создана.

Вот почему таинство нашего соединения с Богом, таинство прощения грехов и дарование нам новой жизни во Христе совершается через Крещение в воде. Вода не сама по себе имеет значение, не есть она и просто "символ". Но освященная, т. е. действительно исполненная Духом Святым, она получает силу Христову и в ней человек действительно соединяется со Христом, и весь — душою и телом — обновляется для новой жизни.

Водоосвящение начинается возгласом "Благословенно Царство" и это еще раз указывает на то, что крещение раньше совершалось в непосредственной связи с Литургией: рождение в новую жизнь, естественно завершалось принятием пищи этой новой жизни, т. е. Тела и Крови Христовых, которые суть истинная пища и истинное питие (Ин. 6, 55).

Следует великая ектения, к которой прибавляются прошения — об освящении воды сей силой, действием и пришествием Св. Духа, — о послании в нее благодати искупления, благословения Иордана (ибо Сам Господь освятил воду Своим погружением в Иордане) — о просвещении нас светом разума и благочестия через снисхождение Св. Духа — о том, чтобы через эту воду отогнаны были все замыслы видимых и невидимых врагов, — о том, чтобы погруженный в нее достоин был нетленного царствия, — о приходящем теперь к святому просвещению и о спасении его, — о том, чтобы Бог показал его сыном света и наследником вечных благ — о том, чтобы он был присоединен и был участником смерти и воскресения Христовых, — о том, чтобы он сохранил одежду крещения и обручение с Духом неоскверненным и

непорочным в страшный день Христа, — чтобы вода эта была водой нового рождения, оставления грехов и одежды нетления.

Священник молится затем о себе самом: чтобы в этот час, когда через него должно совершиться "великое, страшное и пренебесное таинство", Бог простил бы ему его грехи и всего его освятит "всесовершенною силой невидимой". Чтобы "другим свободу возвещая и подавая ее верою совершенною", он не был бы сам рабом греха. Молится и о том, чтобы Бог "вообразил Христа в том, кто должен снова родиться", т. е. сделал бы его действительным образом Христа, утвердил его на основании Апостолов и пророков и сделал его „насаждением истины” (привил бы его как ветвь) в Святой Соборной и Апостольской Церкви...”

Тогда начинает священник громко молитву водосвящения, открывающуюся торжественным утверждением: "Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя и ни едино же слово доволно будет к пению чудес Твоих".

В этой изумительной, поистине космической молитве возвещает Церковь свою веру в Бога Творца, Промыслителя и Спасителя мира. И все творение устами Церкви благодарит, славословит и хвалит Бога, ибо в этом высшее блаженство твари, в этом ее назначение и ее подлинная свобода. Для верующего весь мир отражает Его славу, Его премудрость и Его благость — вся тварь стремится к своему Первоисточнику и в соединении с Ним находит блаженство и смысл жизни. "Перед Тобой трепещут все небесные силы, — возглашает священник, — Тебя поет солнце, Тебя славит луна, Тебе присутствуют звезды, перед

Тобой трепещут бездны...". Все Божие, все Им сотворено и все стремится к Нему. Но человек, вместо этой истинной свободы, свободы сынов и друзей Божиих, избрал свою, маленькую "рабскую" свободу, свободу бунта и разрушения, и мир пал. Но Бог не оставил его. Бог Творец стал и Богом Спасителем.

"Ты, -- продолжает священник, -- будучи Богом неописанным, безначальным и неизглаголаным, пришел на землю, образ раба принял, в подобии человеческого был. Ты не стерпел видеть мучения рода человеческого от диавола, но пришел еси и спас еси нас".

Таково вечное, бесконечно-радостное, бесконечно-страшное утверждение Церкви, которым она живет и которое до скончания мира будет она возвещать всему миру --

но Ты пришел и нас спас.

"Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния: Ты освободил нашу природу, Ты освятил девственную утробу Рождеством Твоим и вся тварь воспевает Тебя явившегося. Ибо Ты -- Бог наш, на земле явился и жил с людьми. Ты Иорданские струи освятил, послав с неба Святого Духа".

И потому что Он пришел, потому что Он спас мир и Своим явлением навсегда освятил его, Его сила живет в мире. Он дал ее Церкви, в ней Он продолжает Сам все освящать, и наполнять Собой. И потому -- "Сам, Человеколюбче Царю, прииди и ныне, и освяти воду сию Духом Твоим Святым".

"И дай ей благодать искупления (т. е. через нее получить плоды искупления), благословение Иорданово, сделай ее источником бессмертия, даром освящения, разрешением грехов, исцелением недугов, ги-

белью демонов, наполни ее ангельской крепостью и да бегут от нее все замышляющие против Твоего создания, ибо я призвал имя Твое, Господи, дивное и славное и страшное сопротивным...”

И три раза перекрестив воду, погружая в нее руку и дунув на нее, священник продолжает:

”Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего все сопротивные силы”. Как сначала читались ”запрещения” над самим оглашенным, так теперь читаются они и над водой: творение Божие — мир, един в своей жизни, через человека, призванного быть его хозяином, он весь пал и ”с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покори-лась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне” (Рим. 8, 19—22). Спасение человека означает воссоздание в нем и через него и мира. Мир есть дом человека — и Христос Своим сошествием в Иордан, т. е. в материю, уготовил новый, очищенный, освобожденный мир, воссозданный с Богом, чтобы в нем жил, им питался и его возделывал в своей новой жизни спасенный человек.

И освободив воду, священник еще и еще молится, чтобы Бог сделал ее — ”водой искупления, водой освящения, очищением тела и духа, освобождением от цепей, оставлением прегрешений, просвещением души, баней новой жизни, обновлением духа, дарованием усыновления, одеждой нетления, источником жизни. Ибо Ты сказал: омойтесь и будете чистыми, отложите лукавство от душ ваших, Ты даровал нам свыше новое рождение водой и духом. Явись, Господи, и на этой воде и дай претвориться (т. е. изменить-

ся, стать новым творением) крещаемому в ней, чтобы он отложил ветхого человека... и оделся в нового, обновленного по образцу Того, Кто его создал. Чтобы он был срашен (соединен, привит) подобно смерти Твоей крещением, был бы и общником воскресения и, сохранив дар Святого Духа Твоего и возраст залог благодати, принял почеть высшего звания и присоединился бы к первожденным, записанным на небе...”

Помазание воды маслом

После освящения воды совершается освящение елея и помазание им воды и крещаемого.

Елей есть образ лечения ран, милости, мира и радости. Масличную ветвь принес голубь, выпущенный Ноем из ковчега, в знак прекращения Божьего гнева, примирения Его с человеком. Христос в Своих притчах употребляет образ елея (ср. Лк. 10, 34): им милосердный самарянин мажет раны человека, попавшего в руки разбойников. Таким образом, через прибавление к воде священного елея знаменуется, что в крещении происходит примирение человека с Богом, совершенное Христом, излечение его ран, т. е. грехов и болезней, дарование ему силы для борьбы со злом.

”Мир всем” — говорит священник. В этом возгласе выражается сущность Церкви, как примиренного с Богом человечества, некогда не помилованного, а ныне помилованного (1 Петр. 2, 10). Оно имеет мир Христов, по Его слову — ”Мир оставляю вам, мир Мой даю вам” (Ин. 14, 27). И затем снова дуновением освобождая елей, как сделал он это прежде с водой и с самим крещаемым, священник освящает его крестным знаменем, молясь, чтобы елей этот был

”оружием правды”. И при пении ”Аллилуйа” три раза крестообразно помазывает воду.

Этим помазанием воды закончено приготовление к крещению. Уготован ”гроб и мать”, по выражению св. Кирилла Иерусалимского, гроб, потому что войдя в купель, человек в подобии соединяется со смертью Христовой, мать, потому что через эту крещальную смерть совершается его новое рождение. И это приготовление завершается торжественным возгласом священника — благословением Бога ”просвящающего и освящающего всякого человека, грядущего в мир”.

Помазание маслом крещаемого

”И приносится крещаемый”. И его священник помазывает освященным елеем. В древности воины, готовясь к сражению, обмазывали свое тело маслом для его укрепления. Так и христианин, вступая в число воинов Христовых, получает особую силу для той ”невидимой брани”, которую он вольно принимает, избирая ”узкий путь” спасения. ”Ты помазан, — говорит св. Амвросий Медиоланский, — как подвижник Христов, имеющий противоборствовать брани века сего”.

”Помазуются раб Божий елеем радования, — говорит священник, делая крест на лбу, — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь”.

Затем на груди: ”во исцеление души и тела”,

на ушах: ”в слышание веры”,

на руках: ”руки Твои сотворили и создали мя”,

на ногах: ”чтобы ходить ему по пути заповедей Твоих”.

Весь человек: все его тело и все его чувства обновляются, очищаются и укрепляются для служения Богу.

Крещение

”И когда помажет все тело, крещает его священник”, — т. е. погружает в воду три раза, говоря: ”Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа. Аминь”.

Таков единственный по своему значению, ни с чем не сравнимый момент нашей жизни, не только земной, но и вечной. Погружаясь в воду, мы умерли со Христом, и выйдя из нее, мы с Ним ”воскресли” — и ”эта спасительная вода нам гроб и мать”. ”И как Христос был воистину распят, погребен и воскрес, так и мы через крещение удостоились в подобии быть погребенными и восстать с Ним” (св. Кирилл Иерусалимский).

Псалом

Поэтому немедленно после крещения священник и все собрание поют псалом 31, в котором выражается радость полученного прощения и начала новой жизни. ”Блаженны те, кому прощены беззакония и чьи грехи покрыты... Веселитесь о Господе и радуйтесь праведники и торжествуйте правые сердцем”.

Облачение в белую одежду

И затем облачает священник новокрещенного в белую одежду. Как снятие одежды до крещения означало снятие с себя прежнего греховного человека, так эта белая одежда есть образ нового человечества, ”по образу Создавшего его”.

”Облачается раб Божий, — говорит священник, — в ризу правды, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь”. — И в это время поется тропарь: ”Ризу мне дай светлую, Ты одевающийся в свет, как в ризу, многомилостиве Христе Боже наш”.

”Когда совлекая ты ветхих одежд, — говорит св. Кирилл Иерусалимский, — и облекуся духовно в белые, то надлежит во всякое время носить белое. Не то говорим мы, что тебе всегда нужно одеваться в белые одежды, но в белые в истинном смысле и светлые, т. е. духовные. Если белая одежда дана нам Богом, то мы должны сохранить ее белой в нашей жизни земной и ”сынами света” предстать перед Богом, когда призывает Он нас к Себе. По обычаю на новокрещенного надевают и крест для постоянного ношения на груди, как напоминания слов Христовых: ”Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест и следуй за Мною” (Мф. 16, 24).

Так заканчивается таинство крещения и мы приступаем к таинству миропомазания.

МИРОПОМАЗАНИЕ

Крещение есть таинство прощения и обновления, таинство рождения. Но за рождением следует жизнь. Бог при творении мира создав человека ”вдунул в лице его дыхание жизни” (Быт. 2, 7) и после нового творения — спасения мира, совершенного Христом, Дух Святой в День Пятидесятницы сошел на Апостолов, чтобы ”облечь их силою свыше”. Так и после крещения, Он низводится на новокрещенного в таинстве миропомазания.

Это — таинство жизни: Дух Святой есть ”Жизни податель” т. е. источник той новой, божественной жизни, которую получает человек во Христе. ”Ибо жизнь явилась, — говорит св. Иоанн Богослов (1 Ин. 1, 2) и эта Жизнь дана нам Духом Святым”.. ”И уже не я живу, но живет во мне Христос” (Гал. 2, 20). Эту жизнь подает, о ней свидетельствует Дух

Святой, сошедший на Апостолов в Иерусалиме, совершающий всякие таинства Церкви и низводимый на нас через миропомазание: "Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом... И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть Истина (1 Ин. 5, 6)".

Таинство освящения: "святой" прежде всего означает освященный, т. е. посвященный Богу, отданный на служение Ему. Потому Церковь есть "род избранный, царственное священство, народ святой" (1 Петр. 2, 9). Она служит делу Христову, Сам же Христос пришел, "чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (Мф. 20, 28). И в Церкви мы живем не для себя, но чтобы исполнить Его дело в мире. Мы "люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство" Того, Кто призвал нас из „тьмы в чудный Свой свет" (1 Петр. 2, 9). Каждый из нас освящен Духом Святым, т. е. посвящен на служение Господу своему. Каждого Дух Святой посылает на особое служение и нет члена Церкви, не призванного к служению, так как сама Церковь есть вечное служение Богу, вечное свидетельство о Его Царстве в мире и над миром.

Таинство одухотворения: наша жизнь, по слову преп. Серафима Саровского, должна "быть стяжанием Духа Святого", т. е. безостановочным восхождением и одухотворением. Мы призваны к совершенству: "Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 5, 48), — и в таинстве миропомазания нам подается благодать, т. е. сила, помогающая нам в этом восхождении, в этой непрестанной борьбе за духовную жизнь, за одухотворение всего нашего человеческого существа. Дух Святой, данный нам, есть источник той внутренней жажды, которая уже

не дает нам успокоиться на одном земном и материальном, но всегда зовет нас к небесному, к вечному, к совершенному. Он есть совесть, осуждающая наши дурные поступки и дающая нам "видеть наши прегрешения", Он же есть те "радость и мир", которые уже здесь на земле дают нам предвкушать вечную радость Царства Божьего (Рим. 14, 17).

Вначале низведение Духа Святого после крещения совершалось через возложение рук. Апостолы, пришедшие в Самарию, помолились о самарянах, "чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во Имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святого" (Деян. 8, 15–17).

Затем возложение рук было заменено помазанием Св. Миром, т. е. особым маслом, составленным из драгоценных веществ и освященным в Великий Четверг представителями Поместных Церквей. "Миро" по-гречески значит благовонное масло. Помазание маслом всегда было образом посвящения и посыла-ния на служение. Сам Христос есть Помазанник, так как слово "Христос" по-гречески означает "помазанник": "Дух Господен на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим" (Лк. 4, 18). Это духовное помазание верующих во Христа и совершается через таинство миропомазания.

Молитва

О даровании этой жизни освящения и благодати для духовного возрастания и молится священник сразу после облачения новокрещенного в белую одежду.

"Благословен еси, Господи Боже Вседержителю, источнике благих, солнце правды, воссиявший сущим во тьме свет спасения явлением Единородного Тво-

его Сына и Бога нашего, и даровавший нам недостойным блаженное очищение во святой воде и Божественное освящение в животворящем помазании. (Ты, Который) и ныне благоволил паки родити (снова родить) раба Твоего новопросвещенного водою и Духом, и вольных и невольных грехов оставление тому даровавший, Сам, Владыка и Всецарю благоутробный, даруй (ему) и печать дара Святого и всесильного и поклоняемого Твоего Духа и причащение Святого Тела и честной Крови Христа Твоего. Сохрани его в Твоем освящении, утверди его в православной вере, избави его от лукавого и всех начинаний его и спасительным Твоим страхом в чистоте и правде душу его соблюди; да во всяком деле и слове благоугождая Тебе, сын и наследник будет небесного Твоего Царствия”.

Миропомазание

И затем помазывает новокрещенного Св. Миром, делая крест на лбу, на веках, на ноздрях, на рту, на ушах, на груди, на руках и на ногах, говоря каждый раз:

”Печать дара Духа Святого. Аминь”. Печатью это помазание называется потому, что через него Господь ставит печать на нас: мы Ему принадлежим, Его народ составляем в этом мире и Он наш Царь и Господь не только на небе и в будущей жизни, но и здесь, на земле, и в каждый момент нашей жизни. И эта печать ставится на всем теле, на всех его членах, так как вся наша жизнь, и духовная и телесная, освящена, т. е. отдана на служение Богу: ”Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и

в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии” (1 Кор. 6, 19–20)

Образ Круга

И, завершая таинство крещения и миропомазания, священник и новокрещенный (или восприемник, держа крещеного младенца) три раза совершает образ круга, т. е. обходит кругом купели при пении стиха из Апостола Павла: ”Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь” (”Крестившись во Христа, во Христа облеклись” — т. е. в соединении с Ним стали подобными Ему — помазанниками Св. Духа).

Круг знаменует всегда вечность, полноту и верность. Он соединяет навеки: священник при посвящении делает круг вокруг престола, мужа и жену при венчании обводят кругом аналоя и дают им кольца. Круг не имеет конца — он есть вечность. Крещение вводит человека в вечную жизнь, оно соединяет его навеки с Богом, оно призывает нас к верности Ему и зовет стремиться к полноте, т. е. к совершенству.

Апостол и Евангелие

Прежде, когда крещение совершалось в пасхальную ночь или, во всяком случае, в начале Литургии и в церковном собрании, немедленно после таинства, новокрещенные крестным ходом вступали в храм, для того, чтобы впервые участвовать в Евхаристии и быть причастниками ее. Три таинства эти неразрывно связаны: крещение — рождение, миропомазание — новая жизнь, и Евхаристия как участие в этой жизни и ”нетленная пища”, которой мы и живем. Об этом свидетельствует и приведенная выше молитва, в которой священник просит о даровании новокрещен-

ному животворящего помазания и причащения Святого Тела и Крови. И, конечно, теперь, когда крещение совершается обычно не в храме и в отрыве от Литургии, совершенно необходимо новокрещенного младенца принести к Литургии и сделать причастником в ближайший день, ибо для этого он и крещен — ”да ядите и пиете за трапезою Моею в царстве Моем” (Лк. 22, 30).

Потому и Апостол и Евангелие, которыми теперь завершается таинство, суть те же самые, что и в Великую Субботу, день крещения по преимуществу. Это послание к Римлянам гл. 6, ст. 3–11, — приведенные в начале этого очерка и в котором раскрывается связь крещения со смертью и Воскресением Христовым, и Евангелие от Матфея гл. 28 ст. 16–20 — о явлении воскресшего Господа апостолам — ”Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их... уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века”. Христос уже не царствует и Его Царство дано людям в Церкви: мы призваны всюду и всем нести Благую Весть о Нем и всех вводить в Него, ибо в Нем Сам Господь пребывает с нами, а быть с Ним есть смысл нашей жизни.

* * *

*

Современный чин крещения заканчивается омовением новокрещенного и пострижением волос. В древней Церкви оба эти чина совершались на восьмой день после крещения: в течение всей недели новокрещенные сохраняли белую одежду, проводили почти все время в храме, ежедневно участвуя в богослужении и слушая заключительное поучение, называвшееся

мистагогией, т. е. введением в таинство церковной жизни.

Омовение

Священник молится о том, чтобы новокрещенный сохранил "просвещение лица Христова в сердце... щит веры... нетления одежду, в которую он оделся... духовную печать" и, чтобы в этом Таинстве Сам Бог возложил на него Свою "державную руку". После возгласа "Мир всем" священник приглашает преклонить головы перед Господом и новокрещенный в первый раз участвует в этом изъявлении послушания и подданства всех христиан Богу. Затем священник оmyвает места, где совершено было миропомазание, говоря:

"Оправдался еси. Просветился еси. Освятился еси. Омылся еси. Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Крестился еси. Просветился еси. Миропомазался еси. Освятился еси. Омылся еси. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Это омовение — вводя человека в его обычную жизнь — означает, что то, что совершилось с ним таинственно и духовно остается действенным навсегда. Завершая таинство, оно означает, что человек призван всегда "исполнять" его в своей жизни.

Пострижение волос

На это указывает и пострижение волос — образ принесения человека себя в жертву Богу — отдачи себя на служение Ему. Бог создал человека душою и телом: "от души словесные (т. е. разумной) и тела благолепного — чтобы тело служило душе... и чтобы всеми чувствами человек благодарил изрядно художника, т. е. Бога...". И отдавая часть своего тела — волосы, человек свидетельствует, что в Церкви восста-

навливается этот правильный порядок и мир примирился с Богом и Ему служит.

И все таинство заканчивается отпуском, т. е. конечным благословением.

С. И. Фудель

У СТЕН ЦЕРКВИ

Материалы и воспоминания

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это и воспоминания, и размышления.

Жизнь определенно кончается, а в душе еще много невысказанного. Вспоминаются слова:

Мы вериги несем на теле
Нерассказанных этих лет.

Сил на что-то цельное и большое у меня совсем нет, а поэтому решил записать то, что успею, в надежде, что и это может кому-нибудь пригодиться.

— — — — —

Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости Церкви. Это длится недолго, а человек в эти минуты еще не знает наверняка, — находится ли он сам в этой Святости, т. е. в Святой

Сергей Иосифович Фудель скончался в 1977 г. Его рукопись закончена, очевидно (судя по анализу текста), в конце 60-х годов.

Церкви, на какой-то блаженный миг он чувствует, что стоит около ее пречистых стен.

Ибо наше бытие в Церкви — это не право наше, а всегда Чудо и Нечаянная Радость.

*

Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально, так что, когда ты стоишь в храме, то тогда только истинно приходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигало вокруг тебя колючую проволоку: ни неверия священника, воображаемого тобой только или действительного, ни злости "уставных старух", ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуту услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, — голос Человека и Бога: Иисуса Христа.

*

Ощущение Церкви, как общечеловеческой реальности, дается иногда совсем неожиданно.

Я еду в метро, стою и вижу: сидящая женщина держит на руках девочку лет двух, а она, через спину матери и вне ее ведения, тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу: вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед: еще молодой, хорошо одетый, обычный москвич. Наши взгляды

встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись: нас охватило обоим единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания "добра и зла", а здесь — тепло и непостижимая, себя не сознающая, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, а как люди единого и тоже, на миг, теплого чистого сердца. А это и есть Церковь.

*

Старец архимандрит Серафим (Батюгов) провел в затворе — не в монастыре, а в миру — примерно 12 лет, главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 г. В затвор он ушел по послушанию. Он был в Дивееве у блаженной Марьи Ивановны, рассказывал ей о своей работе на приходе (в церкви Кира и Иоанна в Москве), работе, очень его вдохновляющей, а она его прервала и говорит: "Иди в затвор". Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое.

"И тогда, — рассказывал он мне, — я ей сказал: "благословите, матушка". В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности Церкви, как-то изменяются в ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха, о. Алексея Зосимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы.

Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением о. Серафима епископ был несогласен, и о. Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил о. Нектарий Оптинский, и тогда о. Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого Оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы невыносимо.

Помню серебро длинных волос на плечах о. Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущает, а может быть испытывает меня: "Вот вы так снисходительны, — говорит он, — не обращаете внимания на мой костюм". — "Батюшка, — восклицаю я совершенно искренно, — какое же это может иметь значение?" Он молчит, но я вижу, что он доволен: значит нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной, ничто внешнее этому не мешает.

Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенцы не всегда чувствуют себя уютно. Бесконечность человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит, или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании с уже не человеческой, но сверхъестественной силой, много духовного зрения, — вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца.

Помню, я переписывал одно его письмо к какой-то духовной дочери, по его поручению, и оно начиналось так: "Чадо мое любимое". Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, — со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, — какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам, но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит Богу. Или бывало так: он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, "уставно", но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним могло быть, так сказать, неудобно молиться, так же "неудобно", как неумеющим плавать идти за умеющим в глубокую воду. О. Владимир (Криволицкий) однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал и — не изменился. И я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках, и пророчествовали. Для нас такое богослужение — только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности губительно ("вне Устава, — как-то сказал он мне — когти дьявола"), но сам в своем служении входил фактически в какую-то иную эпоху Церкви, которая,

наверно, во многом будет походить на первохристианскую.

*

Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает рассеянные лучи в одно обжигающее пятно. Икона — учили Отцы — есть утверждение реальности человеческой плоти Христовой, и кто отвергает икону, тот не верит в реальность Боговоплощения, т.е. человеческой природы Богочеловека.

И при всем этом вот какие чувства рождаются в современности. Я ночевал в новом районе Москвы. Из нелепо-громадного окна открывался холодный вид бесконечных новостроек. В комнате икон не было, а хотелось молиться. Я подошел к окну: уж лучше, думаю, опасности марсианского пейзажа смотреть в глаза, а не создавать себе в уголке иллюзии, что ничего не случилось. И вдруг я почувствовал, что молюсь легко и просто, точно и действительно ничего не случилось. Я молился небу, и оно было таким близким, и чувство небесной родины, чувство не-страшности окружающих пространств и еще чувство свободы человека в христианстве — с силой охватило меня.

*

Христианство не умирает при умирании иконы как исторического факта. Догмат об иконе имеет вечный смысл, отразив вечную правду реальности вочеловечивания Бога. Но самих икон может и не быть. Я помню, как люди молились в тюрьме, стоя перед пустой стеной. В тюрьме молиться и трудно, и легко.

Трудно потому, что сначала вся камера уставится тебе в спину, и все, что у многих на уме ("ханжа" или еще что-нибудь), будет на уме у тебя. Легко потому, что когда преодолевается это "назиране", то, правда, будто бы стоишь несколько минут у "врат Царства". В тюрьме "Господь близ есть, при дверех". А насколько это противоречит пока еще установившемуся в веках понятию "православный", стало однажды мне ясно.

Был там в камере старый "белый" офицер, воевавший когда-то на бронепоезде у Врангеля, совсем русский. После одной такой молитвы у пустой стены он спросил: "вы что, сектант?". И стало понятно, что без иконы можно молиться, если ее нет, а вот без смирения, т. е. с осуждением, например, вот этого человека — нельзя.

*

Но икона — святыня, святая память о Боге. Старец Серафим (Батюгов) как-то рассказывал: "Когда я еще служил у Кира и Иоанна, позвала меня одна прихожанка отслужить на дому молебен. Окончив молебен, я взял святую воду и пошел окропить комнаты и вещи. Подошел к какому-то шкафу, она открыла мне для окропления дверцы и вдруг меня охватило необычайное волнение, точно передо мной открылась дверь во что-то святое, священное. Я кроплю, ничего не понимаю, и только радостно трепещу перед чем-то. И вот — можете себе представить! — спустя много времени в этот самый шкаф была поставлена, в связи с закрытием нашего храма, большая икона святых мучеников Кира и Иоанна, и пребывала она там многие трудные годы".

*

Помню я, как в начале 30-х годов закрывали и наш храм на Арбате, там, где теперь "Диетический магазин". Дня за два об этом как-то узналось и я пришел проститься. Храм стоял уже без службы и был пуст. Я ходил и целовал иконы, как живых людей. Я недавно вспомнил об этом, глядя на икону Спасителя, и снова ощутил уход из мира иконы Христовой. Из мира уходит лик Христа, — и в буквальном, и вот в этом, "иконном" смысле. В этом есть нестерпимая скорбь.

*

Святость человека есть его благодатность, наполненность его благодатью Божией. Мы плохо понимаем, что такое благодатность, и потому нет понятия более далекого и загадочного для современной церковности, чем понятие святости. Реальная, т. е. не символическая святость уже давно заменяется в церкви ее словесными знаками — титулами. Это один из признаков отвердения христианства в истории: Церковь болеет и на Востоке, и на Западе тяжелой и давней болезнью обмирщения. И в то же самое время мы знаем, что, несмотря на эту болезнь, Церковь живет, как Святая. Святость ее не только в святыне таинств, но и в реальной святости ее, может быть, неведомых миру праведников, в любящей вере простых сердец. О. Николай Голубцов настойчиво говорил: "Записывайте все, что знаете, о современных святых".

Солоухин ищет "черные доски" икон, чтобы под чернотой открыть красоту. Мы ничего специ-

ально не ищем, но Бог посылает встречи с живыми иконами: людьми Божиими.

*

Болезнь Церкви во всех нас. Когда искренно осознаешь себя самого в этой больной части церковного общества, тогда не боишься, вслед за Великими Отцами Церкви, признать самый факт болезни, и в то же самое время почему-то только тогда начинаешь в радости сердца ощущать непобедимую церковную Святыню.

Митрополит Антоний (Блум) говорит: "У Церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект Церкви — это каждый из нас... Мы уже в Церкви и мы еще на пути к ней". (Ж. М. П., 1967, № 9).

*

Одна женщина решила покончить с собой, и когда с этой целью пошла в лес, увидела сидящего на пне старичка. "А ведь ты нехорошо задумала", — сказал он, когда она проходила. Пораженная, она вошла в разговор, уже как бы забывая о том, с какой целью она сюда пришла. И разговор кончился тем, что старичок сказал: "Иди в Церковь, к отцу Алексею Мечеву и скажи, что тебя к нему послал убогий Серафим".

О. Алексея я увидел впервые, кажется, в начале 1918 года. Это было многолюдное собрание московских священников, которые, как мне казалось, были все совершенно одинаковые. И вдруг я сразу спросил своего отца: "А это кто?" Я увидел малень-

кую фигуру, быструю походку и такие веселые и всевидящие глаза. ”Это замечательный священник, это наш духовник” — ответил мне отец.

Преподобного Серафима видел в лесу под Москвой — (в Лобне) и отец Серафим (Батюгов), в 20-х годах.

*

Отец Сергей (Успенский) (от ”Неопалимой Купины”) говорил мне в 34—35 году в Вологде об аскетическом периоде своего брака как о периоде его полного расцвета и завершения: на земле брачного воздержания открылась глубина дружбы между ним и женой. В первохристианстве такие браки были часты, но они не умирали и в эпоху внешнего благополучия и внутреннего оскудения Церкви. В 30-х годах XIX века о них, как о существующих в России, говорит в своих письмах Георгий Затворник Задонский, бывший духовным руководителем многих девушек и женщин образцового круга. Существуют ли такие браки в наши дни? О. Серафим (Батюгов) говорил, что на этот великий подвиг можно идти только по особому благословению старца, т. е. истинно-духовного руководителя.

*

Под Воронежем недавно умерла слепая манатейная монахиня Смарагда. Она — я знаю — совершала ежедневно по несколько тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом, и не о прозорливости ее я хочу рассказать.

В городке, где жила Смарагда, ходила нищая,

или, как там говорили, ”побирушка”, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка, опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверно вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: ”Дашка, иль мы не христиане! Ведь надо ее опять брать!” И ее взяли, конечно, с ребенком.

*

В Ярославле, уже после этой войны, умер епископ Тихон, сын члена ЦК партии Народной Воли Льва Тихомирова, одного из тех, кто решал в 1881 году судьбу императора Александра II. Епископ Тихон прожил в этом городе последние 15 лет в затворе, в бедности, в крошечной комнате. Он выходил из дома только раз в несколько лет: на выборы в советские органы. Во время войны однажды я долго ждал в кухне окончания его одинокой молитвы, чтобы повидаться. Он нес подвиг молитвы совершенно один.

Когда он умирал, он сказал: ”Я пойду домой”. Я вспоминаю, что над столиком, за которым он меня угощал чаем, висели фотографии всех его близких и родных и родного дома в Загорске. По распоряжению патриарха, отпевание его совершал местный архиерей, сказавший громадной толпе собравшихся: ”Вот мы жили с вами в этом городе и не знали, какой светильник хранится в нем под спудом”.

Может быть кто-нибудь спросит, зачем затвор?

Любовь к людям не отрицает пустыни и, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. "Пустыня внемлет Богу" — сказал поэт. — "И звезда с звездой говорит".

В начале войны у нас жил о. Владимир Криволюцкий. Весь день он был на людях, среди нас: мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец уходил во "внутреннюю пустыню".

В пустыне видней вечность, а еп. Игнатий (Брянчанинов) говорил, что нам надо "всмотреться в вечность, прежде вступления в ее неизмеримые области".

*

Умирала одна праведная деревенская старуха и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет шести: "Дай попить". И когда подали ковшик, то услышали пение: "Тело Христово примите".

Отец Серафим (Батюгов) говорил: если негде будет вам причаститься, а вы будете чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причащением "правило", и, после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие.

*

В зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них добровольно приехал его келей-

ник-монах и еще один "вольный", юноша лет 20-ти, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания: ни с кем ни о чем никогда не говорил, а когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа, и незадолго пред этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой-то веселостью, как у отца Алексея Мечева, — глаза. Ходил он босой, в длинной холщевой рубахе, без пояса. Один раз он у меня ночевал. Я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, "стуча веригами", как в "Детстве и Отрочестве", а он вместо этого знаком спросил меня о чем-то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери и, зная, что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг: "Подвижники благочестия XVIII и XIX веков". "Вот, — думал я по глупости, — он обрадуется". А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался.

Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают.

*

Метро в Москве начали строить в 30-х годах. В 1936 году о. Михаил Шик сказал мне: "Молитесь везде. Какая будет радость, когда вы, например, в метро почувствуете, что "небо отверсто", что нет преград для молитвы".

Из этих слов можно заключить, что уже тогда Московское метро было освящено молитвой о. Михаила. Четки в его комнате висели поверх фотогра-

фии его умершей сестры. В том же, кажется, 36-м году он и погиб. (В 38-м.)

Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил: не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова. Апостол Павел сказал: *"Всяким* молением и прощением молитесь на всякое время духом". Об этом же учит и еп. Феофан Затворник.

Один Валаамский иеромонах (Спиридон) учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося в молении и в заступлении Богородицы: *"Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас"*.

Нас – погибающих.

*

В 30-х годах умерла одна мне знакомая праведница мирская, женщина великого страдания и кротости. И когда она совсем отходила, ясно отпечатлелось над подушкой светлое сияние от ее головы.

Эту праведницу отпевал праведник – о. Михаил Шик.

*

В одном сибирском селе, где я жил с 48-го по 51-й год, было много ссыльных крестьян, католиков из Литвы. Их молодые женщины и девушки приходили по воскресеньям в православный храм со своими католическими молитвенниками, опускаясь на колени, молились. Бывали изредка и мужчины. Никто с нами

не спорил о догматах, никто не измерял глубину чужих или своих ошибок. В храме, без всякой "экуменической" подготовки, совершалось соединение Церквей. Наверно, и во всемирном масштабе это совершится когда-нибудь так же: вне экуменических съездов, но среди грома исторических событий, в молитве и в ощущении единого прибежища — *Духа Святого*.

Помню, как, боясь нарушить тишину этой неожиданной радости, приходилось твердо оттирать плечом местных парней, лезущих беззлобно, но в крайнем любопытстве к склоненным молодым фигурам с четками.

Но около этой же маленькой деревянной церкви я испытал очень тяжелое чувство. Был Великий пост, шла исповедь, я вышел из храма и сел на скамеечку. Рядом сидели две молодые женщины и мы разговорились. Они пришли из дальнего села, где жили вместе, одна была католичка, другая — православная. Ближайшая от них — наша церковь была от них на расстоянии 35—40 км. Смотрю: у православной на глазах слезы. Оказывается, у нее только 3 рубля, а батюшка сказал старосте, чтобы исповедь оплачивали 5 рублями (по тогдашней валюте). Она не выражала осуждения священнику, и она не переходила в католичество, но она плакала. Я видел эти слезы, и я думаю, что нам всем надо видеть их.

*

В 20-х годах в одном подмосковном храме кончилась литургия. Все шло, как обычно, и священник сделал завершающее благословение. После этого он вышел к народу на амвон и начал разоблачаться. В наступившей тяжелой тишине он сказал: "Я двадцать лет вас обманывал и теперь снимаю эти одежды". В толпе поднялся крик, шум, плач. Люди были потрясены и оскорблены: "Зачем же он служил хотя бы сегодня". Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг на амвон не взошел какой-то юноша и сказал: "Что вы волнуетесь и плачете! Ведь это всегда было. Вспомните, что еще на Тайной Вечери сидел Иуда". И эти слова, напомнившие о существовании в истории темного двойника Церкви, как-то многих успокаивали, или что-то объясняли. И присутствуя на Вечери Иуда не нарушил Таинства.

Эти слова многое объясняют, но они не снимают с нас ни скорби, ни страха.

Один подмосковный протоиерей мне рассказывал: "Совершаю литургию. Направо от меня стоят два неслужащих сегодня священника, один из них настоятель, налево — дьякон с членом двадцатки. Направо — передача какого-то анекдота, налево — спор о церковном ремонте. Приблизилось "Тебе поем" и я не выдержал: "Отцы! Да помолчите же, я так не могу!"

Можно было бы привести повсеместные тяжелые факты — или явного греха или неверия, или равнодушия и формализма в среде духовенства. Ведь все это происходит не в какие-то далекие времена "Бурсы" Помяловского, а в те самые годы, когда руководство Русской Церкви так смело говорит о ее духовном благополучии.

Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой Церкви, в церковной ограде всегда жило зло, и

на это надо иметь открытые глаза, надо всегда знать, что "рука предающего Меня со Мною на трапезе". Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить о духовной болезни своей местной Церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: "Не узнав духа убивающего, не узнаешь Духа Животворящего. Только по причине прямых противоположностей Добра и Зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно и ту, и другую".

А для Церкви теперь такое время, когда особенно важно, чтобы зрение христиан было ясно, чтобы они могли "узнать и ту и другую".

*

Зрение у христиан уже давно ослабело. Причем особенно важно заметить, что слабость духовного зрения иногда сочетается с личной высокой нравственностью. Для Церкви такое сочетание особенно опасно.

В 1923 году мне рассказывал о тюрьме архиепископ Фаддей (Астраханский), человек строгой монашеской жизни, человек кроткий и чистый, о том, с каким наивным доверием принимали в дореволюционной России Распутина именно такие, как он, хорошие архиереи. Ему, в частности, каялся в этом тот архиерей (кажется, Феофан Полтавский), который был сначала ректором Петербургской Духовной академии, и с именем которого связан момент "оседания" Распутина в столице. Такова была эпоха.

Апостольское "различение духов", святоотеческий духовный вкус, зоркость, мудрость и мужество — все больше терялись в общей массе священства. Церковь все больше обмирщалась, все дальше уходила от святости. Явление Распутина с его жутким учением

”спасения *через грех*”, не случайно. Кончилась ”Сардийская церковь, которой было сказано в Откровении: ”Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв” (3, 1).

*

О. Валентин Свенцицкий, с одной стороны, был как бы обычный семейный священник, с другой, опытный учитель непрестанной молитвы. Это поразительный факт, что еще в 1925 году, в центре Москвы, этот человек вел в приходских храмах свою горячую проповедь великого молитвенного подвига. Он много сделал и для общей апологии веры, но главное его значение в этом призыве всех на непрестанную молитву, на непрестанное горение духа.

”Молитва, — говорил он, — воздвигает стены вокруг нашего монастыря в миру”.

Он же выразил в краткой формуле разрешение всей сложности вопроса о внутреннем церковном зле. ”Всякий грех в Церкви, — сказал он, — есть грех не Церкви, но *против* Церкви”. Отсюда понятно, что церковный раскол по мотивам упадка нравственности, уже не говоря о других мотивах, есть прежде всего религиозная глупость, недомыслие. Все искаженное, нечистое, неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть Церковь, и для того, чтобы не иметь с этим общения, совсем не надо выходить за ее ограду, нужно только самому в этом зле не участвовать. И тогда будут исполняться слова: ”Для чистого — все чисто”.

Церковный раскол есть не только глупость, но и гордость. Первый значительный раскол (монтанизм во II веке), утверждал, что откровение Святого Духа, имеющееся у Церкви, недостаточное, а вот теперь мы (монтанисты) ждем его полноты. Значит, у них был не просто дисциплинарный раскол, в целях усиления внутрицерковной чистоты и дисциплины: в постах, в браке, в принятии падших, — но и отрицание духовности Церкви, с приписыванием этого состояния только себе. По существу, так же мыслят и наши старообрядцы. Что касается нравственного критерия, как повода к расколу, то недопустимо из мистического факта делать рационалистический, административный вывод: по каким-то внешним признакам расслаивать верующих на "святых" и "не святых", кои подлежат извержению. Кто видит в нас наши внутренние пороки: гордость, злобу, лицемерие, неверие, холод? Где тот критерий святости, который был бы нам дан столь явно, что мы могли бы совершать им некий нравственно-химический анализ?

Только Святая Церковь есть Церковь, но бытие Святой Церкви есть тайна, нам не вполне открытая: нашими глазами не может быть явно зримо Тело Христово, мы могли утверждать, что для того, чтобы быть в Церкви, надо быть в истине, в Святыне Божией, но кто именно в данный момент состоит и кто не состоит в ней, — мы не знаем. Поэтому Господь и сказал: не выдергивайте на поле плевел, чтобы вместе с ними не выдергивать пшеницу. Это надо понимать прежде всего в том смысле, что сейчас я, или ты, или она — плевелы, а через час и я, и ты, и она может стать пшеницей, или, как сказал св. Ириной Лион-

ский, "человек сам для себя есть причина того, что он делается иногда пшеницей, иногда соломою" (Против ересей, кн. 4, гл. 4).

*

Входит девушка в храм без косынки, или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком, — на нее набрасываются, как ястребы, "уставные" женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что "оформление" атеизма его дочери совершилось в храме, под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну такую ревнительницу Устава и человеконенавистницу. "Ты думаешь, что ты здесь хозяйка? — грозно говорил он ей при всех с амвона. — Не ты, а Матерь Божия". И еще я слышал, что один мудрый московский протоиерей называет этих женщин "православными ведьмами".

*

Помню, в 1922 году, в Бутырской камере, во время бесконечного обычного хождения по ней, я среди других людей точно столкнулся с о. Валентином (Свенцицким) и глупо почему-то спросил: "Вы куда?" И вдруг лицо его удивительно просветлело внутренним теплом, и он сказал: "К вам". Он был такой уединенный, скрытый в себе, строгий и нетерпимый, несущий что-то от своего предка — польского кардинала. А тут был ясный и тихий луч чисто рус-

ской святости, доброй и всевидящей святости старцев. Он шел прямо ко мне, к душе, которую он тогда, наверно, ограждал от какого-то зла. Так тюрьма может просветить и освятить душу, раскрыть в ней чудесно то, что в другое время и не разыщешь. Я читал проповеди о. Валентина, которые он говорил по московским церквам уже после этих Бутырок, и в них нигде не видел лучей.

*

Некоторые молодые из недавно пришедших в Церковь бездумно и доверчиво принимают все, что в ней есть, а потом, получив удар от церковного двойника, огорчаются смертельно, вплоть до возврата в безбожие. А нам ведь сказано: "Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби".

Я знал одного такого юношу, который в период своих "Великих вод" христианства ночью тайно вставал на молитву, ставя свой единственный образок только на эти минуты в кадку с пальмой, все время боясь, что придет, увидит и разгромит отец — активный безбожник. Этот юноша мечтал тогда о монастыре, и никто его ни о чем не предупредил, не наставил. "Все, мол, у нас замечательно". И поэтому, когда наступил зной внутренних церковных искушений, он не выдержал и отошел.

О церковном двойнике надо говорить с самого начала, говорить ясно и просто, так же ясно, как о нем говорится в Евангелии. Знайте о нем и ищите Христа в Церкви, только Его ищите, потому что Церковь и есть только Христос в Своем человечестве, только Тело Его, и тогда вам будет дано мудрое сердце для различения добра и зла в церковной ограде, для

того, чтобы видеть, что "Свет (Церкви) во тьме светит, и тьма не объяла его".

*

Часто слышишь вопрос от недавно вошедших в Церковь: что читать для укрепления в вере? В христианстве только одна книга вполне его раскрывает, это "Новый Завет", а все другие только более или менее. Поэтому все остальные книги, говорящие положительно о христианстве, надо понимать не безусловно. Слова Варсонофия Великого приближают нас к словам апостола Павла почти вплотную: такова сила духа Святых Отцов. Но кроме них есть множество книг с самыми православными заголовками, написанные, наверно, с самыми хорошими намерениями, которые христианство или затуманивают, или даже искажают.

"Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого", — сказал апостол. Только такой меч может рассеять темноту и путаницу в богословской и околоцерковной литературе и проложить человеку путь, ясный, как луч.

Но чтение Слова Божия есть уже подвиг, труд. "Покуривая", можно читать Розанова или Фому Аквинского, может быть даже Вл. Соловьева, но не апостола Павла или Макария Великого.

*

Есть богословие школьное, есть, пожалуй, богословие "салонное". И есть еще истинное удивление мысли о Боге — радостное богословие. Флоренский, вопреки всей своей учености, учил именно этому бо-

гословию. Как сказал один близкий к нему человек, "величие Флоренского не в учености, но в преодолении ее". И это подтверждалось всегда при личном общении с ним: от его тишины веяло истинной духовностью разума. Почему только разума? На заре сначала освещается только верхушка холма, а все остальное еще в тени. С разума начинается одухотворение целостного состава человека: его тела и души.

Летом 1917 года я видел его в белом подряснике на террасе его дома в Посаде, вместе с Нестеровым и Булгаковым. Кажется, тогда Нестеров писал их общий портрет ("Два философа").

Терраса выходила в сад, на столе стоял самовар, брынза, хлеб. Было утро, ясное и свежее от ночи, и время было такое, что, как будто, открывалась для Церкви возможность расцвета через свободу от всякой государственности, от всякого обмирщения.

Но эта свобода и независимость требовала оплаты жертвенным подвигом, который вскоре оказался непосильным для многих плеч.

*

Очень нужно понять, что христианское отречение от мира не только не есть отречение от любви к миру, но, наоборот, — ее первое истинное утверждение. Я сознательно сказал "к миру", хотя можно было бы сказать "к людям", и тогда никто не был бы смущен и не привел бы мне текст апостола: "не любите мира". Этот текст помнят, не понимая его, а другой текст и не помнят, и не понимают: "Бог возлюбил мир". Бог возлюбил, а вот мы не любим, а потому и не хотим соучаствовать в том, о чем говорится дальше

в этом тексте: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего" (Ин. 3, 16).

А мы только судим мир с полным сознанием своего судейского права, хотя опять же в этом тексте сказано, что "не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него". А как мы можем, не имея любви, отдавать себя за людей? Только святость любви может восходить на Голгофу.

Не любить мир означает не любить прежде всего самого себя, свою темноту и грех, это означает прежде всего осознать самого себя как этот самый мир, не любящий и темный. И тогда, в *такой* нелюбви к миру, в человеке начинает восходить заря любви к людям, великого сострадания к миру.

*

Апостол учит: "Вы — храм Божий". Среди молитв есть молитва о себе как о храме Божиим: "Да придет Сила Твоя на мя грешнаго и непотребнаго раба Твоего, и да укрепит *мой храм* Евангелием Божественного учения Твоего... яко да по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли — *храм*, неискушен всякие сопротивляющая сети" (Молитва 12-й кафизмы).

*

Основное, что надо понять и принять в христианстве, это что оно не есть какое-то разумное социальное учение, призванное к разрешению мучительных проблем человеческого общежития. Можно даже сказать, что оно не гуманизм. Оно, по определению

Христову, "не мир, но меч". Оно зовет к преодолению не социальной несправедливости, но человеческого естества — во имя преображения его в естество божественное. Христианство есть преображение человека в Бога, по причастию божественной благодати. Установлением такой высочайшей цели и объясняется "узкий путь", "аскетизм", "подвиг" и "меч" христианства: вне родов Голгофы не рождается в человеке Бог.

Голгофа выше человеческого естества, настолько она выше-естественна, что даже Христос в Своем человечестве молился до кровавого пота, чтобы ее не было. "Но продуман распорядок действий": не так-то просто привить человеку вкус вечности, а только в этом и есть цель христианства: обоготворить человека, и при этом всего человека — и душу, и тело. Поэтому когда отрицается Голгофа и узкий путь, то можно безошибочно сказать, что тем самым отрицается, снимается с христианства и его высочайшая цель, а выхолощенное христианство превращается в одну из бесчисленных группировок людей, мыслящих о разрешении социальных конфликтов. "Христианство не поэма, а подвиг", — сказал мне как-то о. Серафим (Батюгов).

*

Постоянный святоотеческий термин: "обожение" — смущает нас грандиозностью горизонтов. А ведь только из этого окна видно все христианство, его "широта и глубина и превосходящая всякое разумение любовь Христова", делающая нас не только "царями и священниками", но и "богами по благодати".

В богослужебных текстах понятие "обожения" иногда дается в еще более ясном для нас термине "обоготворения".

"Род человек, порабощен(ный) мучителем грехолюбным, Кровию Божественною Христос искупил и, *обоготворив*, обновил, яко прославися (Глас 3, Канон Крестовоскресен, недели, песнь 1).

Вера в Бога есть вера в бессмертие человека, т. е., иначе говоря, вера в Бога есть вера в человека, вера в то, что и человек станет богом.

*

Удивительные мне как-то попали слова Отцов: "Чтобы выдержать мучения, мученики первохристианства имели благодать не только в душе, но и в теле". Значит, мучителю предстояло уже обожествляемое при этой жизни тело. Оно страдало и изнемогало, но оно уже делалось непобедимым. В христианстве плоть человека входит еще при этой жизни в лучи нетления, идущие от богочеловеческой плоти Христовой.

"Бог сый (будучи Богом) соединяется плотию нас ради, и распинается, и умирает, погребается, и паки воскресает, и восходит светло с плотию Своею Христос ко Отцу; с нею же приидет и спасет благочестно Тому служащия" (Глас 1, Канон утрени, нед. песнь 5). Здесь открывается пропасть между христианством и спиритуалистической философией.

В христианстве — живое чувство вечной, а не временной, провиденциальной, т. е. не случайной, связи данной души с данным телом. Эта связь как бы временно прерывается — смертью, но вновь восстанавливается — в воскресении. Поэтому святые учат, что

и после смерти тела душа носит образ своего тела, наверно, как-то тоскуя о нем. Говоря об умерших, св. Иринеи Лионский пишет: "Души сохраняют образ человека, так, что могут быть узнаваемы, и помнят о том, что здесь" (Против ересей, кн. 2, гл. 34). Душа любит свое тело — свой храм! — божественною любовью.

*

Только в этом свете понятен пост.

Пост — начало преодоления "слишком человеческого", начало одоления ограниченности естества для введения его в безграничность, для его благоухания Вечностью.

К сожалению, и это наследство уходящей церковной эпохи мы передаем молодым христианам в каком-то искажении или непонимании.

Св. Максим Исповедник учил: "Всякий подвижнический труд, чуждый любви, негоден Богу". А это был самый распространенный факт: пост совершался в гордости о своем подвиге, т. е. вне любви, а потому так часто приводил нас не к уменьшению, а к еще большему увеличению холода и ненависти в мире.

Все в христианстве определяется и проверяется любовью.

Некоторые слова о посте, с разных сторон его освещающие, надо знать.

Св. Исаак Сирин говорил: "Дух не покоряется (кресту), если прежде не покорится ему тело" (подвигом, а значит и постом).

В XV веке было пророчество св. Нифонта Цареградского о том, что священство последних веков

Церкви будет в нравственном падении через две страсти: тщеславия и чревоугодия.

Апостол Павел учил: "К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти" (Гал. 5, 13).

Один старец сказал своему ученику, у которого пост был чужд любви (по слову св. Максима Исповедника): "Все ешь, только людей не ешь".

*

Если пост понимается как прежде всего воздержание от нелюбви, а не от сливочного масла, то он будет пост светлый и время его будет "время веселое поста" (Стихира на Господи воззвах, вторн. веч. 2 нед. Вел. Поста).

"Подавай сердцу моему чистейший страх Твой в душе моей совершенную любовь" (Стих. на Госп. воззв. четв. веч. 3 нед. Вел. Поста).

Не-любовь — это самое страшное невоздержание, объядение и пьянство собой, самое первое, первоисточное оскорбление Святого Духа Божия. "Умоляю вас, — пишет апостол, — любовью Духа".

Любовь противопоставляется и гордости и злобе. В вечерней молитве мы просим прощения у Святого Духа — "*Творца мира*", по слову св. Иринея Лионского ("Против ересей", кн. 2, гл. 30) — особенно тех грехов, которые были прямо против любви: "или кого укорих, или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся, или солгах..., или нищ прииде ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или кого осудих, или развеличахся..., или греху брата моего посмеяхся".

"Простися от всякой злобы". Одна современная

девушка так раскрыла в случайном разговоре зловередность озлобления против людей. Разговор шел о будущей жизни. "Там ведь с *каждым* надо будет *радостно встретиться*", – сказала она.

Учитесь не только у святых отцов, но и у современных девушек.

*

В связи с непониманием молящимися славянского текста не только Писаний, но и многих молитв, в церкви можно наблюдать одно утешительное явление: непонятный текст часто как бы делается понятным через его церковный напев. Церковная музыка есть составная часть Священного Писания, она благодатна и ее мелодии настолько слились за долгие годы своей жизни с обычными для каждого верующего христианскими чувствами, что сделались смысловыми переводчиками незнакомого текста. Ключом церковной музыки открывается дверь нашего восприятия.

Обратное этому мы имеем при оперно-концертном исполнении, когда текст и знакомой молитвы становится как бы непонятным от музыкального сумбура чувств, несоответствующих чувствам христианским и христианскому пониманию данных слов.

Помню, как однажды, на первой неделе Великого Поста одна женщина сказала мне во время молитвы всенощной: "Куда же вы уходите? Сейчас будут петь концертное "Покаяние".

Концертное "Покаяние" звучит немногим менее кощунственно, чем, скажем, "балетное покаяние".

Всякое оперное пение отнимает в церкви у людей соборную молитву и дает вместо нее развлечение,

т. е. лишает их последнего духовного руководства. Не говоря об исключениях, в смысле Отческого руководства мы еще чаще всего "овцы, не имеющие пастыря". Но если в храме поется по-церковному, то люди ведутся всем строем и музыкально-осмысленной целостностью богослужения. Когда же до слушателей в храме доходит только некоторый вокальный эффект или просто музыкальные крики, то они остаются уже совсем на себя, отстраняются от участия в таинственном и страшном богослужении.

Недавно именно в связи с оперным пением, прот. Трубецкой в "Ж.М.П." (X – XIII – 59) писал: „Живая идея литургической соборности постепенно замирает в Церкви". Не то же ли это самое, что сказать, что в Церкви постепенно замирает идея Церкви?

*

Русский перевод Нового Завета был сделан только в середине XIX века, и этот перевод плохой.

Вот только два примера прямого искажения смысла Писания в русском переводе:

Первый стих главы 13-й Евангелия от Иоанна читается по-русски так: "Перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, *явил делом, что*, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их". Подчеркнутые здесь слова "*явил делом, что*" в славянском тексте вообще не существуют, но, что еще важнее, эти слова не только неизвестно зачем сюда русским переводчиком вставлены (они печатаются курсивом), но они звучат здесь почти кощунственно: получается, что Господь только теперь, перед смертью, "*явил делом*" Свою любовь, а до этого Он этого "делом не являл".

Второе место это 1 Кор. 7, ст. 21–24. Здесь по-русски мы читаем: "Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся".

Получается ясный вывод: надо пользоваться возможностью освободиться от состояния раба. Какой возможностью, не сказано, но всякому понятно, что эта возможность лежит в области социальной борьбы. Уже не сближается ли позиция апостола с позицией Спартака? Но вот славянский текст: "аще и можеши свободен быти, больше поработи себе", текст, дающий противоположный смысл.

Протицирую толкование этого места, данное *св. Иоанном Златоустом*:

"Призван ли рабом? Не заботься; оставайся рабом... это не служит препятствием благочестию... Вот как он (Павел) смотрит на рабство... "...аще и можеши свободен быти, больше поработи себе"), т. е. тем более служи... хотя бы, говорит (апостол), в твоей власти было сделаться свободным, ты лучше оставайся рабом. Затем приводит и причину: "раб, призванный в Господе, есть свободный Господа..." Но каким образом раб может быть свободным?.. "Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков". Это сказано не только рабам, но и свободным, потому что можно и в рабстве *не* быть рабом, и в свободе быть рабом... Иосиф был рабом (в Египте), но не раболепствовал... разве рабство послужило ему препятствием к добродетели?.. Когда господин не требует ничего противного воле Божией, тогда должно повиноваться ему... а простирается далее (т. е. в противовес воле Божией) не должно: так раб остается свободным... Таково христианство:

оно и в рабстве доставляет свободу” (Творения. Изд. СПб Дух. Акад., 1904, т. 10, сс. 182–184).

А вот ученая справка: ”В 1 Кор. 7, 21 апостол дает совет, чтобы раб, вместо мечты об освобождении, лучше бы исполнял свое призвание в качестве раба, и это место филологически нельзя понимать иначе”. (Г. Ульгори, Христианская благотворительность в Древней Церкви, СПб, 1899, с. 89).

*

Один из священников, из таких, которые с уважением и любовью относятся к богослужебному Уставу, говорил мне: ”Вы не можете себе представить, как я иногда мучаюсь, переживая несоответствие обряда отпевания фактической церковной действительности”.

Центральная часть отпевания — ”Со святыми упокой” — раскрывает тот его смысл, что оно предполагает наличие хоть какой-то христианской веры в усопшем, хотя бы искры раскаяния, а священнику приходится иногда теперь, по желанию родных, хоронить явных и воинствующих безбожников. Еще темнее этот вопрос в отношении заочного отпевания. Часто священник совсем не знает — что за человек им отпевается, он никогда в жизни его не видел, а в молитве, которую он торжественно читает над ним, он называет его ”чадо по духу”.

С совершенно такими же словами священник обращается и к самоубийцам, отпевание которых теперь все чаще разрешают архиереи.

Устав окаменел где-то в XI–XII веке, с ”чадом по духу”, и что-то из того, что тогда было ”духом”, жи-

вым и истинным, стало тяжелой и кощунственной косностью.

*

В Церкви надо вести прямую проповедь христианства, и именно христианства, а не отдельных, вырванных из контекста добродетелей. "Вера от слышания, а слышание от Слова Божия" (Рим. 10, 17). И вот мы должны отдать себе отчет, что славянский язык Слова Божия постепенно делается на Востоке римско-католической латынью и причем тогда, когда Рим, наоборот, начал отказываться от своей латыни. Во время чтения нужнейших для современного христианства апостольских текстов, в храме часто наступает какой-то благочестивый антракт непонимания. Я знаю трудность этого вопроса. С одной стороны этой трудности — плохое качество русского текста Священного Писания, с другой — косность традиций. "Не положено по Уставу". Но положено ли по Уставу, чтобы люди, стоящие в храме, скажем, только что принявшие христианство, не понимали бы слов апостольских? Неужели любовь к ним не выше Устава? Трудностей много, но ведь никто и не болеет о них.

*

В славянском тексте много разных несуразностей, и нужно знать, чтобы не смущаться. Это "пыль веков", ошибка переписчиков, переводчиков.

1. В старых молитвенниках еще до сих пор можно встретить (в утренних молитвах) вместо "*Внезапу Судия приидет*" — "*Напрасно судия приидет*".

2. В прокимне перед апостолом в четвертую службу мы и сейчас слышим: "Господь воцарися, *да гневаяются* людие". Почему они должны гневаться? Нужно сказать: "*да трепещут* людие". Так в тексте русской Библии, так и по смыслу.

3. В службе недели апостола Фомы мы слышим и недоумеваем: "*любопытною* десницею" (кондак). Конечно, надо сказать "*испытующей* десницей", так как у апостола никакого "любопытства" не было.

4. В 118 псалме несколько раз повторяется "в заповедях Твоих *поглумлюся*", а на самом деле, как тут же, на полях, славянской Псалтири, и как в Библии русской написано, надо: "в заповедях Твоих *размышляти* буду".

5. В 103 псалме мы слышим: "Змий сей, его же создал еси ругатися ему", а Флоренский по подлиннику уточнил: "игратися ему". И в Псалтири это слово "игратися" тоже написано, но почему-то не в тексте, а стыдливо сбоку, на полях. И в Библии "играти", а не "ругати".

Таких примеров много. Мы, старые, все это знаем, а как разбираться молодым?

*

Я видел неверующих священников, гордящихся знанием и соблюдением Устава. То, что было создано в монастырях Византийского Средневековья, они исполняли, не имея Веры Евангельской. Без нее же всякое "типиконство" есть нечто крайне тягостное, духовно невыносимое: на грозную пустоту церковной действительности оно набрасывает покрывало какого-то византийского благополучия — "У нас,

мол, все в порядке, так как мы пропели все 10 стихир, а не 9, и именно шестым, а не пятым гласом”.

Архиепископ Илларион, будучи в Соловках, как-то с доброй улыбкой спросил одного священника (о. П.Ш.): ”И вы тоже принадлежите к секте типиконщиков?”

Устав зовет к молитвенному подвигу, т. е. к ”побеждению”, а не к ”угождению” плоти, и воспринимаемый так, он есть святое оружие духовной борьбы. ”Живоцерковники” потому и нарушили его, что для них этой борьбы не существовало.

Опасность устава начинается тогда, когда забывается его историческая условность, и его начинают как бы догматизировать, возводить в догмат. Тогда и возникает это ”оцеживание комаров и поглощение верблюдов”, то есть подмена христианства ветхозаветной обрядностью.

Уставом нельзя пренебрегать, но всегда при этом надо помнить: ”суббота для человека, а не человек для субботы” – Устава, то есть во имя любви к людям Устав можно изменить. В этом смысле о. Алексей Мечев и говорил: ”Любовь выше Устава”.

Знаю, что понятие этой мудрости любви для нежелающих очень неопределенно, но это предвидел апостол, сказавши: ”Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему” (Иак, 1, 5).

Сочетание свободы любви с Уставом возможно только тогда, когда в человеке все стоит на своем месте: ”безусловное на первом, условное на втором. О безусловном нам сказано ясно: ”Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам” (Мф. 6, 33). Царство Божие ”внутри нас”, в благодати Святого Духа. Поэтому, особенно в наше

время ухода от основ христианства, от его духовности, не о том надо прежде всего болеть, что не знают Устава, но о том, что так мало людей знает, что стяжание Святого Духа должно быть постоянной, ежедневной целью каждого христианина. Это апостольское (завещание) вновь произнесено у нас преп. Серафимом Саровским.

Сочетание свободы с Уставом возможно только через духовность, через стяжание Святого Духа. И тогда сама собой разрешается антиномия, на одной стороне которой: "Устав — это святое предание", а на другой слова: "Если же вы духом водитесь, то вы не под законом" (Гал. 5, 18) Устава.

*

Рассудочный бунт против содержимых в Уставе церковных форм есть чистое протестантство, т. е. неверие в Церковь, в то, что жизнь ее может наполнить своим нетленным содержанием разнообразные формы.

Еще при жизни Василия Великого, т. е. во второй половине IV века, Евхаристический хлеб давали всем причастникам в руки, и они могли хранить его у себя дома для больных. Но было бы безумием ввести просто так, административно, в нашу жизнь эту первохристианскую практику, не имея для этого ни почвы в духовном уровне верующих, ни нужды. Когда же обстоятельства и духовные и внешние меняются, тогда Церковь просто и благодатно переходит от одних форм к другим.

Помню, осенью 1922 года, в Бутырской камере архиереи, сидящие в ней, обсуждали вопрос о том, чтобы дать уже назначенным в ссылку мирянам час-

тицу Евхаристии, зашив ее в ладанку. А на этапе, кажется, в Вятке (Киров) одна женщина (С. Ив.), сопровождавшая своего духовника, передала нам в тюремный вагон Святые Дары для архиепископа Фаддея Астраханского.

*

Конечно, в обрядовой практике есть какое-то наследство Византийской империи в чистом виде, и чем скорее от него освободится Церковь, тем лучше. Помню, что когда после нескольких лет пустынной жизни я увидел в столичном храме, как "отрок" несет за архиереем шлейф его великолепной шуршащей мантии, — в моем свежем восприятии возникла только одна ассоциация: образ когда-то прочитанного описания великолепного "выхода" Екатерины. Причем я заметил один еще более тревожный факт: именно молодые архиереи принимают в наше время эту внешность и пышность не только совсем мирно, но и с явным удовольствием. А в одном дореволюционном церковном журнале я прочел недавно такое открытое письмо очень известного тогда архиерея: "С ужасом прочитал я сейчас в вашей газете, что мне готовят в этом, текущем году 25-летний юбилей... У нас, архиереев, юбилей каждое воскресенье: нас встречают в церкви, водят под руки, провожают, приветствуют: и по-славянски, и по-русски, и по-гречески. Довольно этого...". Один старый архиерей на докладе консистории о том, "когда владыке угодно будет назначить юбилей?" написал резолюцию: "когда сойду с ума". (Это из журнала 1910 года.)

Надо осознать то, что мы должны входить в какую-то уже не византийскую эпоху Церкви, что мы

должны возвращаться к простоте в обряде, к простоте во Христе.

*

Недавно я стоял на заупокойной службе в пасхальный еще период. Было множество поминаний: время, обычно длящееся томительно и долго, но здесь прошедшее легко. Певчие все время чтения медленно пели и повторяли пасхальные песни: стихиры, канон. Это не положено по уставу, но воспринималось как неожиданное откровение: имена усопших звучали точно на фоне пасхального благовеста, они были именами не мертвых, а живых.

”О, Пасха великая и священнейшая...”

Не так ли в наши дни неожиданно создается неумиряющее Священное Предание — просвещение Церкви?

*

Церковь утверждается как апостольская не потому, что она содержит только те одни слова, молитвы и правила, которые установили апостолы, но потому, что она, кроме всего, полученного от апостолов, получает в течение всей своей исторической жизни через других святых то же самое по качеству ”апостольское просвещение”, что получали и передавали апостолы. Апостолы взрастили Церковь, но ведет ее по истории Тот, Кто взрастил апостолов и Кто сказал: ”Я с вами во все дни до скончания века” (Мф. 28, 20).

Священное Предание и есть это божественное просвещение, — и уже данное, и *вновь* даваемое Церкви всегда, ныне и во веки веков.

Но кроме этого Предания с большой буквы, в ограде Церкви есть еще много преданий с маленькой, к которым относится совокупность разных обычаев: поместных, областных и даже приходских церквей, иногда хороших, иногда менее хороших или даже просто плохих обычаев. Благодушно можно терпеть даже и плохие обычаи, но не надо возводить их к апостолам, то есть к Священному Преданию Церкви, которое может жить в разных формах, и в простоте, и в сложности церковного обряда, но которое всегда едино в своей духовности. Эта Святыня Предания есть постоянное, вечно древнее и вечно новое водительство Церкви Духом Святым.

Вот простота апостольского служения литургии в Троице, в доме ученика: „В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба... Павел, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел”. Он „поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме” (Деян. 20), где, как он знал, его ждали мучения и тюрьма. И вот иная литургия, совершаемая в богатстве и в покое XVIII или XIX века, скажем преп. Серафимом, Тихоном Задонским или Иоанном Кронштадтским. На престоле драгоценные ткани и драгоценные металлы, разнообразен в веках созданный обряд, поются молитвы, совсем не известные в апостольское и послеапостольское время. И вот, разве не видим мы, — не смея поднять глаз, — что и багряный шелк и парча, и серебро на престоле понижаются все тем же драгоценным лучом апостольской благодати, точно сама материя их претворяется в нетление, точно мы никуда не уходили из первохристианства. Вблизи от святых всех веков мы

ходим по земле Первоначальной Церкви. "Дух дышит, где хочет".

Но Церковь не только онтологически пребывает в Троице, но и исторически идет к ней, и как важно нам осознать, с одной стороны, эту "одинаковость" Троицы и Сарова, а с другой то, что Троица — это и начало и конец церковного пути, начало и конец церковной истории.

*

У матерей бывает тяжкая скорбь в случае рождения мертвого ребенка. Один благоговейный священник дал мне две молитвы о них:

1. Помяни, Человеколюбче Господи, души младенцев Твоих, кои умерли в материнской утробе и потому не приняли святого крещения. Окрести их Сам, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченно Твоею благодатию. Аминь".

2. (Молитва матери). "Господи, помилуй чадо мое, умершее в утробе моей. За веру и слезы мои и ради милосердия Твоего не лиши его света Твоего Божественного".

А вот что я нашел случайно у св. Фомы Аквинского (XIII век):

"Мы воскреснем благодатию Христа, посредством которой произошло то, что Он принял нашу природу, так как чрез это мы сделались *сообразными* Ему в природных вещах. Поэтому те, которые умирают в материнской утробе... воскреснут из-за этой *сообразности* своей природы с Ним (с Христом), каковую сообразность они получили, постигнув (в утробе) совершенства человеческого вида". (Это из его

”Сущности богословия”, часть III, добавл. В-75 п. 2, отв. 5).

Написал св. Фома по-средневековому несколько темновато, но в общем ясно: эти не рожденные живыми, но получившие биологический человеческий вид младенцы увидят великий свет. ”В доме Отца Моего обителей много”.

Здесь же запишу и молитву о самоубийцах, которую давали Оптинские старцы:

”Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имя), и, аще возможно, помилуй его. Не поставь мне во грех молитву сию, но да будет Святая Воля Твоя”.

*

Не только сам подвиг, но даже само это слово нам чуждо, под ним нам мерещится сразу несколько карамазовских Ферапонтов.

Слово ”подвиг” имеет корнем ”двиг”, ”сдвиг”, т. е. движение. Подвиг есть всего только движение к Богу. Вот почему на утренних молитвах мы каждый день так просто и обыденно говорим: ”И на дела Твоя подвизаются (т. е. двигаюсь) милосердием Твоим”. И каждый, кто делает хоть малейшее дело Господне, двигается к Невечернему дню Божию.

*

То, что страх Божий от веры, а не наоборот, т. е. что вера от страха, или ”со страха”, как думают некоторые боязливые, видно хотя бы из этих слов: ”Да возвеселится сердце мое бояться имене Твоего” (псал. 85). Веселиться можно только от радости, или,

что то же, от любви. Страх Божий есть "начало премудрости", но не начало веры. Начало же веры — любовь. Вне любящей веры мы останемся с верой бесовской, ибо и "бесы веруют и трепещут", т. е. имеют страх. "Мы же веруем, потому что любим Бога" (свящ. Ал. Ельчанинов).

О страхе Божиим, даже в его первоначальном, "обучительном" смысле, надо говорить только в неотрывности от любящей веры, или, по слову апостола, от "веры, действующей любовью", т. е. так, как это дано в молитве Василия Великого: "Пригвозди страху Твоему плоти наши и любовь Твою уязви души наши". "Где нет любви, там нет веры" (св. Тихон Задонский), а значит и нет истинного страха Божия, рождаемого верой.

*

Есть разные "страхи".

Блаженный Диадок так пишет о необходимости особой заботы в отношении наших невольных и иногда для нас неведомых грехов. "Если мы не будем достаточно о них исповедоваться, то во время исхода нашего страх неопределенный найдем в себе". "А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастными никакому страху: ибо кто тогда будет в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих и есть" (Добротолюбие, т. 3).

*

Весь смысл, вся крепость нашей жизни в том, чтобы накапливать в сердце Божие богатство — духовное свое счастье, свою радость о Боге и о жизни на Его земле, с Его людьми. Богатство это не наше, а Божие, и что-то особенно радостное есть в том, что оно не наше, что мы, наконец, освободились в нем от себя. Оно "сокровище смиренных", и чаще всего мы можем о нем только вздыхать.

Этому взыханию о нем меня учил, не словами, а всем своим бытием, о. Сергей Сидоров, которого я знал в первые годы революции, когда он был еще только "Сережа".

Через него я понял, что две истины, как два ясных светильника, стоят у входа в христианство, у входа в человеческое счастье: теплейшее чувство Земли (у Сережи в те годы это включало даже и романтику XVIII века) и еще более теплое, если это возможно, чувство той мироотреченности которая выражена в эпитафии на могиле Григория Сковороды, странника и мудреца XVIII века: „Мир ловил меня, но не поймал”.

*

В жизни Григория Сковороды был такой случай. Он вошел в храм как раз в тот момент, когда священник вышел с Чашей и говорил: "Со страхом Божиим и верою приступите". И странник Григорий с дерзновением подошел к амвону, хотя он и не исповедовался. Он "приступил" в дерзновении любви, так как больше никто не "приступил".

И мы часто видим это: выносятся Чаша и никто не

идет к ней. Кажется, Вл. Лосскому принадлежат такие хорошие слова: "Невозможно всегда только оставаться зрителем литургии".

*

Я знал молодого священника, который в наше время посещал больных, умирающих в больницах, для их причащения. Всякий поймет, сколько для этого требуется мужства веры. В плане человеческом такой священник мог это делать только потому, что не имел длинных волос и бороды и был вполне по-мирски одет. Это — "священник-воин".

А вот бывают и такие. Я стоял по одному поручению о. Николая Голубцова в приемной архиепископа Макария. Приходили и уходили разные люди и священники. Потом, смотрю, пришел еще один посетитель: великолепный плащ и шляпа, такой же костюм, лицо почти Дориана Грея. Но главное было в походке и в глазах: такая чуть презрительная уверенность, такая легкость умения вести себя. В левой руке его был желтый громадный портфель. Ну, думаю, это не иначе, как журналист или заслуженный мастер спорта. И вдруг вижу: он снимает плащ, вынимает из портфеля рясу и священнический крест и начинает не спеша все это на себя надевать. Я ждал, замирая, что из того же желтого портфеля он вытащит теперь черную византийскую бороду.

Так что, перефразируя Колю Красоткина, можно сказать, что "батюшки бывают разные".

Надо смотреть не на бороду и не на отсутствие ее, а на глаза и на походку.

*

В одном приходе крестили мальчика лет 5–6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: "Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил". Мальчик посмотрел и ответил: "Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке".

Говоря о темном двойнике Церкви, я говорю не о конечной судьбе людей, которая так же неизвестна, как до распятия была неизвестна судьба "благоразумного разбойника".

Помню, о. Владимир Криволицкий мне рассказывал, как его однажды позвали причащать умирающего, который за много лет перед этим снял сан священника. "Когда я, – рассказывал о. Владимир, – поставил на столике у кровати дароносицу и все приготовил, умирающий вдруг чуть приподнял голову и весь точно потянувшись к столику и вдыхая запах святыни, сказал: "Боже, Боже, чего я себя лишил!"

*

Человек может не нарушать своей православности, т. е. своего благоговения перед Церковью, если он, встретившись с той или иной ошибкой того или иного святого, осознает эту ошибку. Но он нарушит свое православие, если будет намеренно эти ошибки искать.

У Варсонофия Великого есть прямые слова о том, что и святые ошибались. Что же в этом такого страшного? Апостол Павел в послании к Галатам поведал нам для нашей пользы о том, что ошибался "вероучительно" даже апостол Петр.

Иногда это совсем и не ошибка, но чуждый нам стиль мышления и речи. Св. Иоанн Златоуст говорил в формах византийской риторики конца IУ века, в формах для нас тяжелых, ненужных, даже досадных. Помню, архимандрит Серафим (Батюгов) имея в виду именно этот внешне чуждый нам стиль, говорил: "Читать всего Златоуста так, как он напечатан, нам почти невозможно. Его надо издавать как-то по-другому".

И в то же самое время и для о. Серафима, и для всех нас, Златоуст, "умопостигаемый" через его литургию, через его молитвы перед причастием, через слово на Пасху, через дошедшие до нас из моря риторики корабли его нетленной мысли, — бесконечно нужен и легок.

"Уст Твоих, якоже светлость огня воссиявши благодать, вселенную просвети... преподобне, всеблаженне".

*

Христианство чудотворно, но в плане человека, а не в плане истории. Перемещения истории мы не наблюдаем в христианстве. Поэтому мы не совершим ничего неправославного, если не будем верить тому, что евангелист Лука в I веке, т. е. тогда, когда вообще еще не было икон в нашем смысле, — написал икону, и при этом в законченном византийском стиле XI—XII века.

Но, не считая себя православно обязанным верить этому, мы, с другой стороны, обнаружим недостаток церковности, если, взирая на лик Пречистой на Ее Владимирской иконе, не почувствуем, насколько именно первохристиански, евангельски Она изобра-

жена здесь неведомым нам средневековым святым провидцем.

”И твое сердце оружие прбйдет”... ”Яко призре на смирение рабы Своя”.

Не к апостолам надо относить написание икон, ибо этого не могло быть, но к иконе надо относить апостольское прозрение божественных тайн.

Как говорил митрополит Антоний (Блюм) в 1966 году: ”Икона есть явление будущего века”.

*

Та же Евангельская мысль в ”Нерукотворном образе”. Мы не знаем, — как можем мы любить Бога — Непостижимого, Невидимого, Бестленного? И вдруг через этот образ Нерукотворного Спаса мы вспоминаем о каплях пота на Его челе, о том, что Он сказал: ”Жажду!”, то есть ”Хочу пить!” И это нас обжигает, освещая тьму.

Вот почему именно на праздновании Нерукотворного образа (”третий Спас”) мы поем: ”Яко да Твой образ зряще, нас ради воплотившегося и пострадавшего волею, к Твоей любви распяляемся, юже на нас излия, великия ради Твоя милости” (Стихира на Господи воззвах).

*

Мне всегда кажется, что когда ”солнце пошло на лето, а зима на мороз”, это солнце становится иногда загадочным, точно уже понимающим, что скоро весна, и не только эта весна обычная, но и Весна грядущая вечная. Я очень люблю это солнце, и другие его очень любят: от одного человека я слышал, что он

в лагере, глядя именно на такое солнце, плакал какими-то непонятными слезами, в которых, как он говорил, было и не горе, и не радость, а что-то больше и того и другого. Это "оцет, смешанный с желчью, подносимый чьей-то любовью".

В первый раз в своей жизни я увидел такое солнце поздне-зимнее, когда мне было 16 лет, и было это в Зосимовской пустыни. Кончалась ранняя обедня в Надвратной церкви, народу было совсем мало, на клиросе три-четыре монаха так легко — по-монашески! — возносили к небу Херувимскую песнь, а посреди храма стоял на коленях очевидно только что пришедший в монастырь странник, освещенный этим солнцем, — в каких-то лохмотьях, веревках, котомках, с лохматой, еще совсем молодой головой. Он очень молился.

Вспоминая его, я вспоминаю слова апостола:

"Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" (Рим. 8, 26).

*

Флоренского люди знают, собственно говоря, только по одной его книге о Церкви. Но ведь это только самое начало Флоренского и только его начало познания Церкви.

Все, что он говорил (именно больше говорил, а не писал) после этого, то есть в первые годы революции, когда он вел свои беседы по московским церквям с амвона и по аудиториям, все это носило более глубокий смысл. Именно уже после "Столпа", (который, я знаю, и лично его не удовлетворял), он начал подходить совсем близко к настоящим откоро-

вениям о Церкви и о мире, иногда, как зарницы, освещавшим наше сознание.

Поэтому его отход, его уход, его смерть есть нечто непоправимо-скорбное. Точно в познании о Церкви что-то нужное и ожидаемое — не совершилось.

Конечно, во всем Промысл. Но Промысл был и в смерти Первомученика Стефана, а однако, как сказано в Деяниях, тогда у христиан был "великий плач по нем" (8, 2). В уходе Флоренского есть какой-то знак Божьего суда о всех нас.

*

И в личной жизни каждого может быть знак этого Суда.

О будущих муках надо так мыслить: если даже их не будет для других, — для меня они должны быть. Я чувствую их логику в отношении себя, я утверждаю их сам о себе. Если я останусь таким, какой сейчас, я сам буду для себя Будущей мукой и, как говорится, "туда мне и дорога".

А сверх этого все должно предаваться в волю Божию.

Если искренно жить, видеть себя так, как есть, не прятаться от самого себя, то Страшный Суд начинается еще при жизни. "Праведен Суд Твой, Господи, помилуй меня".

*

Идет в наши дни ранняя обедня в московском храме. Пришла молодая женщина с девочкой лет 5-ти. У девочки длинные ресницы, в руках большая кукла. Девочка таращит изумленные глаза на алтарь и

прижимает куклу. Потом мать взяла куклу и положила на окно, и кукла закрыла глаза — заснула, а девочка на нее и не смотрит. Она вся в зрении открытых Царских Врат.

*

В молитве св. Амвросия Медиоланского есть такие слова: "Отыми от меня сердце каменное и даждь ми сердце плотяное". И у св. Исаака Сирина есть молитва о том же: "Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной". И этот же святой говорил: "Жизнь вечная есть утешение в Боге".

Сердце — это орган чувствования, ощущения. Святые учат, чтобы мы еще здесь, в этой земной жизни, ощущали свою "жизнь вечную", свое "утешение", идущее от Духа-Утешителя.

Жить в вере — это и значит стремиться жить в ощущении жизни вечной. Если нет такого света этого ощущения, то жизни веры, по существу, еще и нет, или она бродит в сумерках, в "окамененном нечувствии", как мы читаем в вечерних молитвах. Еп. Игнатий Брянчанинов, вспоминая слова мироносиц: "Кто отвалит нам камень от двери гроба?" — пишет: "Камень это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие ее недуги и которые св. Отцы называют "нечувствием" (2 том).

Наличие духовного ощущения есть признак живой духовной жизни. Вне духовного ощущения начинается пребывание во внешности и формализме. Но св. Отцы, уча об ощущении, тут же предостерегают от духовного сластолюбия. Отец Алексей Зосимовский говорил так: "Надо поддерживать (в себе) всегда и везде горение духа", но "никогда не нужно браться

за духовные подвиги ради ощущаемой от них духовной сладости, а исключительно только для приобретения покаяния”.

Искать “всегда и везде” нам нужно ощущения покаяния и предощущения любви. Нам нужно искать Христа, а не опять-таки самих себя в какой-то духовной сладости. Утешение же в руках Божиих, и, конечно же, сердце наше вздыхает о Нем.

*

“По множеству болезней моих в сердце моем утешения Твоя возвеселиша душу мою” (Пс. 93).

Если нет покаянного подвига (“болезней”), нет и утешения (в чем же, собственно, утешать?).

Но если нет подвига, нет и христианства.

Нельзя домогаться утешения (хотя его можно смиренно желать), но надо “домогаться” христианства, т. е. покаяния и любви, и тогда непреложно получишь всем сердцем ощущаемое утешение.

Еп. Игнатий (Брянчанинов) так молился об одном своем друге: “Господи! Даруй Леониду ощутить духовное утешение, чтоб вера его создалась верой живой, верую от *извещения сердечного* но не одного слуха” (“Письма”).

Архимандрит Гурий писал: “*Церковь – это ощути-мо начавшееся богообщение*” (“Будд. и христ.”).

*

Понятие жизни в Церкви очень трудно для объяснения и очень просто для восприятия.

“*Вся права суть разумевающим и проста обретающим разум*”.

Это "всего только" жизнь от "извещения сердечного", а "не от слуха", и это, кроме того, не философское рассуждение и не обрядовый рефлекс.

"Церковь это не стены и крыша, но вера и жите", — говорил Златоуст. И еще можно сказать: жизнь в Церкви это прежде всего — слезы, так как стоять у Креста без слез невозможно.

*

У Пастернака есть стихотворение "В больнице", которое надо было бы знать всем живущим в пустыне жизни. В нем о человеке, подобранном на улице "скорой помощью" и умирающем в больнице. Вот его мысли, когда он узнал, что умирает:

О, Господи! Как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже! Волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознать...

Для меня это звучит так же, как слова умирающего Златоуста: "Слава Богу за все".

Об обрядовом рефлексе я вспомнил, когда прочел слова преп. Ефрема Сирина об исповеди:

”Если один обычай влечет тебя к Врачу, то не получишь здравия... Премилосердный требует любви от того, кто хочет прийти к Нему, и если приходящий приносит любовь и слезы, то он даром приемлет дар (прощения)” (Творения, 3 изд., сс. 208–209).

Чистота и святость достигаются через покаяние. ”Раскаянность есть уже степень святости”, – говорил о. Александр Ельчанинов. Завершая таинство исповеди, священник, покрывая епитрахилью голову кающегося, произносит молитву: ”Приими и соедини его (кающегося) святой Твоей Церкви”. Эту молитву воцерковления он произносит над нами всегда, даже если бы мы исповедовались ежедневно. Мы ежедневно грешим и поэтому ежедневно требуем очищения и соединения с Церковью через покаяние.

Живя вне покаяния, мы живем вне Церкви. У нас ”положено” священникам раз в году исповедоваться у назначенного по благочиниям духовника. Многие священники относятся к этому чисто формально, и если уже нельзя совсем уклониться, то делают это только исполняя Устав и обычай. Получается, что люди, имеющие наибольшую нужду в очищении и святости, сами себя ставят вне пути, ведущего к ней. У них, видите ли, лежит в столе ”ставленная грамота”, как все покрывающий патент.

Я говорю не об исключениях, а об общей массе. Исключений я видел, слава Богу, достаточно. В Глинскую пустынь в 50-х годах постоянно приезжали священники к духовникам и старцам. Сейчас ездят

некоторые в Лавру, в Печеры. Помню, что после смерти о. Иоанна Быкова, личного духовника о. Николая Голубцова, он настойчиво искал себе в Москве нового духовника.

*

Благодать действует в свободе человека и свобода в благодати, они, по выражению еп. Феофана Затворника, "взаимовходны".

Поэтому весь процесс спасения каждого человека совершается "неразлучным действием обеих сил" (Бог. Энц., 1901, т. 2, с. 649).

*

Свобода человека выражается в его самоопределении к Богу, которое благодаря первородному греху, неизбежно принимает форму борьбы за свое спасение от греха, форму подвига.

Подвиг есть акт человеческой свободы, определивший себя к Богу. Но если свобода и благодать "взаимовходны" и "неразлучны", то, очевидно, при оскудении подвига, "оскудевает" и благодать, — удаляется от ленивого раба. Наличие в данный момент в человеке дара той или иной благодати удостоверяется не документом, но истинным присутствием в нем благодатного огня.

Можно иметь документ о том, что благодать когда-то была дана, но сейчас не иметь благодати. Апостол ясно говорит, что огонь благодати надо "возгревать", то есть поддерживать. "Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение" (2 Тим. 1, 6).

Вот почему многие святые учили, что священники, не живущие в подвиге покаяния, не очищающие себя от греха, не имеют благодати очищения от грехов на исповеди и других людей, не имеют "власти ключей", той власти, которая вновь соединяет падшего человека со Святой Церковью, власти "вязать и решить".

Преп. Симеон Новый Богослов пишет:

"В том, кто получил благодать, она или умножится, если он подвизается, или умалется, если понерадит; и если это нерадение продолжится, то мало-помалу она и совсем в нем оскудеет и оставит его совершенно пустым. Оставит, а он долго еще будет думать, что имеет ее...". "Покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет". "... которые не прияли света Его, не прияли еще благодати... Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи, или иереи... Все они еще во тьме сидят и во тьме ходят...". "Но, говорят, ведь такова власть иереев (вязать и решить). Знаю это и я, что она есть достояние иереев, но не просто всех иереев, а тех, которые священнодействуют евангельски, с духом смирения, и живут безукоризненною и добродетельною жизнью... тех, говорю, иереев, которые каются, плачут день и ночь с совершенным смирением... и много плачут о чужих грехах... тех, которые... ходят Духом и никакой похоти плотской не совершают... Таких достояние — вязать и решить, священнодействовать и учить, а не тех, которые принимают только от людей избрание и рукоположение" ("Слова". Вып. 1, М., 1892, сс. 464–467; Вып. 2, М., 1890, сс. 318, 319, 322–323).

*

Отец Нектарий Оптинский говорил: "Мария Египетская в пустыне была по любви", то есть любовь двигала ее подвигом.

Монашество, как истинный подвиг любви, уже давно оскудело, и тот дух оскудения — омертвения в форме — перешел и к современным нам остаткам монашества в России. Иногда удивляешься: сколько холода в мире, такой в нем холодный сквозняк, а мы этого холода еще от себя добавляем!

Недавно слышал замечание одной молодой девушки-монахини в связи с разговором о возможности зайти кому-нибудь из православных в католический храм. "Православный, если зайдет — осквернится", — твердо сказала она. А я подумал: "Иисусе, теплото любимая, помилуй нас!"

И вот, в то же самое время, когда из среды этих самых монашествующих, вдруг, как чудо, возникают настоящие подвижники любви, ученики Христовы, то именно они, а не миряне, делаются светильниками света, делаются вождями людей.

Тот, кто не понимает монашества, не поймет и первохристианства.

*

Епископ Феофан Затворник говорил, что молиться только по написанным молитвам — это то же, что говорить на иностранном языке по так называемым "разговорникам". Он, как и многие Отцы, учил, что надо искать свои слова для молитвы. Но это для нас возможно (если, конечно, не иметь в виду искусственное составление каких-то "своих" слов), наверно,

только тогда, когда захлестнет горе со всех сторон, — тебя или друга. Вот тогда уж не замолишься, а просто закричишь к Богу. Не "спаси, Господи!", а "молю же Тебя, Господи, спаси!", "Согрей сердце его, Господи!", "Пожалуйста, Господи, приди к нему и утешь, я изнемогаю от скорби за него". Но дерзновение молитвы рождается только в дерзновении любви. Вот почему Макарий Великий говорил, что "молитва рождается от любви".

*

В том, что "молитва рождается от любви", и вся тайна и все объяснение молитвы.

Можно прочитывать множество акафистов и тысячи раз перебирать за день четки, но не имея любви, т. е. скорби о людях, еще не начать молиться. И так "не начать" можно всю жизнь. Поэтому Антоний Великий говорил: "Возлюбим скорбь, чтобы приобрести Бога". Он не говорил: "будем искать скорбь", но возлюбим ее, потому что, хотим мы этого или нет, — она есть чаша, подносимая нам Христом, и в этой чаше мы приобщаемся молитве.

Вне же скорби о людях мы имеем еще не молитву, но только "исполнение правила". И исполнение правила хорошо и необходимо, но только тогда, когда знаешь, что это только средство, а не цель, т. е. оно понимается как только кнут для ленивого раба.

И четки (т. е. "счетки") тоже только "погоняло" для тварей, находящихся под тенью первородного греха. Никак нельзя ждать для молитвы какого-то особого молитвенного "настроения". Надо брать кнут своего правила и грубо гнать себя им на молитву. Но зачем же хвалиться кнутом? Кнут надо скрывать,

как нечто весьма несовершенное. Сидит человек на берегу и удит рыбу. Все тихо и благополучно, все по рыболовному уставу, красивый поплавок покачивается на воде. А не знает человек, что крючка внизу нет, и поплавок поэтому только одна "химера", и все его ужение — одна фикция. Таким благополучным поплавком бывает для некоторых их молитвенное правило. Только на крючке страдания выуживается любовь.

*

О келейном молитвенном правиле так писал в одном письме еп. Игнатий (Брянчанинов): "Относительно правила знайте, что оно для вас, а вы *не* для него, но для Господа. Посему имейте свободу рассуждением" ("Письма").

*

О влиянии молитвы человека на окружающих его людей говорил Б. М. Назаров, кажется, в 1925 году. Он был морской инженер-судостроитель и много работал в каком-то учреждении. "Там, среди людей, — говорил он, — было много всякой вражды и волнений, и я не знал, куда от всего этого деваться. Потом решил: буду на работе вести постоянную молитву. И, представьте себе, результаты сказались скоро. Не только я сам успокоился, но стали спокойнее и все те, которые со мной общались".

Известны многим слова преп. Серафима Саровского: "Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся". В этом моем знакомом, тогда еще молодом, был мирный дух, и молитва его была мирная, т. е.

смиренная. Отец Николай Голубцов любил повторять: "Мир и смирение — слова одного корня".

*

Вот мирная молитва св. Иосифа Белгородского, которую, говорят, он любил повторять всякий раз, когда слышал бой часов.

"Будь благословен день же и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей приими дух раба Твоего, в странствии суца, молитвами Богородицы и всех святых".

*

Святые Отцы-молитвенники и так еще говорили: "Любовь выше молитвы". Это говорили те же, кто утверждал любовь источником молитвы.

Я однажды жил один в глухом селе. Была Великая Суббота, службы в церкви не было и я готовился прочесть ночью, благо я был совсем один, пасхальную заутреню. Вдруг ко мне постучался и пришел странник и попросился ночевать. Я пришел в великое смущение, почти в негодование: "Значит, я не смогу помолиться!" И вот, в своем безумии, я препроводил его к соседям. Очевидно, вместе с ним ушла и ночь, и моя предполагаемая молитва.

Есть грехи, не прощаемые себе во веки.

Надо отличать молитву от особого и отвратительного молитвенного сластолюбия, когда нет любви, и в памяти держишь только самого себя, стоящего на "молитвенной высоте".

*

Соборность — это единство христиан в святом Телес Христовом. "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20). Соборность — это богочеловеческое единство любви, т. е. Церковь. Церковь есть именно соборность, собор (сбор) учеников Христовых в "храме Тела Его".

"Да двое едино будут".

Не пустив странника, отказавшись от "вечери любви", я отказался от соборности с ним, и со Всей Церковью. В ту пасхальную ночь, вычитав все положенное, я был уже совсем очевидно вне Церкви.

"Агапы" (вечера любви) совершались вместе с Евхаристией. Только Карфагенский собор 391 года отделил совершение Евхаристии от агап, так как постановил, "чтобы к Евхаристии приступали натошак" (Богословская Энциклопедия).

*

"Молитва рождается от любви". Не то же ли это самое, что сказать: "Молитва рождается от слез"? Я это понял, услышав слова одной современной девушки. В храме ее кто-то спросил: "Как научиться молиться?" Она не испугалась трудности вопроса, но ответила сразу: "Пойди, заплачь, и научишься". Эта девушка дополнила древний Патерик.

*

В храме, в который ходила матушка Смарагда, был неверующий священник. Матушка Смарагда это знала, тяготилась, но деваться было некуда. Так вот,

на исповедь к этому священнику она ходила так: сначала исповедовалась одна у себя в келье пред иконой св. Спиридона Тримифунтского, которого особенно чтит, а затем шла в храм на исповедь явную. Явная была необходима как открытый подвиг смирения и урок всем о недопустимости раскола. Как-то к случаю она рассказывала близкой душе: после одной такой двойной исповеди она увидела во сне, что стоит на клиросе, кто-то раздает всем по цветку, а ей дает два со словами: "Это тебе за две исповеди".

*

Видеть все надо: и веру, и неверие, и Церковь, и ее двойника, а Господь вразумляет (как поступать) каждое смиренное сердце.

Какой-то француз хорошо сказал: "Потерять веру в факт первородного греха опаснее, чем потерять веру в Бога". Потеряв веру в факт первородного греха, "забыв о нем", человек теряет чувство реальности и человеческой, и церковной. Он надевает на глаза розовые очки благополучия и делается недоступным для трагедии мира и страдания Церкви.

*

"Каждый человек имеет свое небо и землю, дух и плоть, внутреннее и внешнее, остаток первобытного совершенства и хаос греховного растления, из которого действием Благодати устроится новая тварь..."

(Записки на Книгу Бытия. Митр. Филарет, Москва, 1867).

Под Воронежем, у самой опушки громадного заповедника, жила старуха Адриановна с дочерью Сашей. Саша была уже в средних годах, оставаясь всю жизнь девушкой. Она была убогая — в детстве упала в колодезь и оглохла навсегда. У них была большая изба, на отлете от деревни, сзади лес, впереди большой луг. Была тишина в их доме, тишина не наша, и такая мирность, что ласточки, жившие в сарае под одной крышей с домом, влетали в комнату, сначала уничтожали всех мух, а потом садились по краям большого зеркала и долго с интересом заглядывали в него.

Дочь пасла ежедневно свою корову в лесу. В лесу этом можно было встретить не только зверя, но и плохого человека, и Саша, входя в него, говорила: "Ну, теперь, Господи, сторожи меня". И Господь сторожил.

Из рассказов Адриановны передам один. Умер брат ее мужа от раны, полученной на фронте. Она сначала его поминала в годовщину, а потом как-то и позабыла, после чего тут же видит его во сне. "Ну как ты там?" — спросила она. Он ответил: "Господь мне все показал — где я плохо делал, где хорошо, с семи моих лет показал, с того, как я на чужом огороде свеклу вытащил, попробовал съесть, да и бросил... Но только за фронт много он мне простил..."

Вспоминаю я их сейчас, уже через 20 лет после этого рассказа. Адриановны нет в живых, а про Сашу ничего не знаю. Но живу их верой и, когда мне хорошо, их тишиной. И все надеюсь, что в Царстве Божием разрешено мне будет снова взойти в их дом с ласточками.

*

”Не имамы дерзновения за премногие грехи наши” (Молитва 6-го часа).

О. Николай Голубцов умирал с дерзновением. Он сказал своему брату: ”Спой мне мой любимый прокимен”. И брат пропел ему умирающему: ”Честна пред Господом смерть преподобных Его”.

*

Прочтя 500 страниц Фомы Аквинского, я вдруг набрел в этой великой пустыне на живые слова: ”Тем человеком, в котором пребывает вера, она сознается через внутренний акт сердца”.

Одна монахиня, не знающая ничего об Аквинате, жившая в подвиге и скудности, когда у нее как-то кончился чай огорчилась и, обращаясь к иконе, сказала: ”Матерь Божия! Ведь у меня чай кончился!” Это были слова от ”внутреннего акта сердца”, от дерзновения его.

*

И сейчас, в наши дни, в одном глухом углу России живет человек, имеющий дар прозорливости.

Работает баба на своем огороде, а уже месяц почти нет дождя, все засыхает. Баба про себя в душе молится: ”Господи, уж на всех-то не хватит, Ты на один мой огород, на одну мою полоску пошли дождичка”. А этот человек, о котором говорю, шел в это время вдалеке, поднял руку, погрозил ей и кричит: ”Что это! — ”на мою полоску”! Ты о всех молись, не о себе одной!”

*

Современная городская жизнь как бы вытесняет молитвенное правило, совершаемое долгое время, и кажется, что дело здесь не только во враждебности жизни и молитвы. Даже верующей семье трудно огородить в ускоренном потоке времени какой-то час покоя, и даже в такой семье трудно открыто долго молиться. Точно этой одинокой долготой нарушается что-то еще более нужное для этой современной пустыни. Поэтому каждому, если его жизнь тесно связана с жизнью других, надо знать краткое молитвенное правило, завещанное преп. Серафимом, учителем современного христианства: "Отче наш", "Богородице" по три раза и "Верую" один раз: это совершить утром, а затем, как сказано в этом правиле, идти на свою работу и по своим делам, непрестанно взывая про себя к Богу с краткой молитвой.

Епископ Феофан Затворник учил, что краткой утренней молитвой может быть любая, например, "Боже, в помощь мою вонми" или "Господи помилуй".

Смысл нового молитвенного правила в краткости его у себя дома и в непрестанности его среди людей, на работе. Из своего угла надо идти к людям, но идти с молитвой.

*

Начало Революции — 1917—1919 года — было временем удивительного духовного подъема, духовной легкости. Душа тогда стояла у открывшихся врат новой, великой церковной эпохи, и страшась, и как бы уже изнемогая от ясно видимых туч, она в то же са-

мое время вдруг задышала воздухом небывалой духовной свободы.

Что-то в истории Церкви возвращалось к первоисточной чистоте и простоте, освобождаясь от вековых пут, от тяжелых риз обмирщения, внешности и лицемерия. С "Троицы" Рублева сняли тогда Годуновскую ризу. Сердце человеческое тогда вновь обретало счастье своей забытой "первой любви". Над Церковью восходила заря жертвенности. Было тогда нам, молодым, и страшно, и радостно.

*

С этими годами связаны для меня воспоминания о многих людях. Помню праведника Н. Н. Прейса, в золотых очках и в черной, какой-то докторской шапочке, обходившего московские храмы с клеенчатой сумкой, в которой он носил "Новый Завет", Псалтирь и книги каких-то поэтов, все еще ему дорогих, вопреки (а может быть, "благодаря") его церковности. В храмах он читал "Шестопсалмие", кажется, наизусть.

Тогда в Москву (на жительство в Загорске) переехал из Петрограда В. В. Розанов и С. Н. Дурылин возил его по Москве с визитами к разным почтенным лицам (вроде основателя 2-го Моск. Университета — Вл. Герье).

Розанов был маленький старичок с зорким взглядом, весь в облаках табачного дыма и какого-то особого "самозатвора" в этих облаках, за которыми целая эпоха русской интеллигенции. В этой эпохе и настоящий ум, и пустая болтовня, и искренность в людях, и занятость только собой, и отрицание атеистического тупика, и пожелание настоящей веры.

В общем — ”середка на половинку” маловерия, и ”вы, конечно, правы (насквозь прокурена душа), но оставьте меня в покое с моими гениальными мыслями”.

Читая недавно автобиографию Бердяева, я убедился — насколько живуча вот эта сторона той эпохи, и насколько она бесплодна. И вот однажды (это было, кажется, весной 1918 года) Прейс приходит к Дурылину в Обыденский переулок и застаёт там Розанова, лежащего на кровати, в носках, в дыму и в книгах. Прейс вошел со своей котомкой, остановился над ним и грозно сказал, точно пробиваясь сквозь дымовую завесу интеллигентности: ”А ведь Христос-то действительно воскрес!”

Потом был в Москве голод, и Прейс ходил по городу беспризорный, голодный, во вшах, приходил к тем, кто его продолжал принимать. Спать его тогда клали на полу из-за вшей. Одним из принимавших его был о. В., умерший в тюрьме в 40-м году и сказавший перед смертью своей жене: ”Самое великое счастье для священника умереть в тюрьме”.

*

Недавно среди писем старца-епископа и его духовной дочери, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях, я прочел такое место: ”Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть перед Искупителем всю душу, обремененную грехами многими, и с души, как бремя скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко” (М. М. Серг. посад, 1915, с. 36).

Последние 15 слов целиком принадлежат Лермон-

тову, но они, очевидно, так были духовно нужны для этого места письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, и они же мои слова, и слова всякого, ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха.

Вот нет среди нас таких чудачков, каким был Н.Н. Прейс, который бы, если бы я ему показал это письмо, лишний бы раз помолился за убиенного и обремененного стихотворца Михаила.

А кто будет за нас, обремененных, молиться?

*

Помню в эти же годы большую комнату у М. А. Новоселова, где я слушал С. П. Мансурова, читавшего отрывки из своей удивительной "Истории Церкви". Удивительной она была тем, что это была впервые действительно история именно Церкви, т. е. святого Богочеловеческого Организма, история святой жизни и мысли тех, кто составил ткань этого организма, а не история ссор на соборах, преступлений пап и патриархов и заблуждений мирян. О зле внутри церковной ограды очень нужно писать, но не как о Церкви, а как об анти-Церкви, а этого как раз и не делается, в результате чего в "Истории Церкви" можно заблудиться и не найти ее.

Удивительной была не только "История Церкви" о. Сергия М /ансурова/ (он тогда еще не был священником), но и он сам, подвижник Церкви тех лет.

Мы сидели в комнате, на стенах которой висели большие портреты трех великих мирян Церкви XIX века: Достоевского, Хомякова и Соловьева.

В начале нашего века М. Новоселов издал серию книг, брошюр и листков своей "Религиозно-философской библиотеки". Эта библиотека — некоторое событие в жизни русского церковного общества. Она вывела религиозную мысль из плана рационалистического или протестантского школьного богословия на просторы церковного познания, к первоисточникам христианства и познанию через благодать.

Митрополит Антоний (Блум), кажется, в 1966 году указал на то огромное влияние, которое имел на его духовный путь первый выпуск этой библиотеки: "Забытый путь опытного богопознания", кстати, составленный лично М. Новоселовым.

Просматривая недавно перечень выпусков этой библиотеки за ряд лет, я наткнулся на интересные цифры. Из общего числа 114 выпусков библиотеки 10 связаны с именем Достоевского, в том числе 5 отдельных выпусков посвящены только ему, а в остальных он сотрудничает с другими. В числе отдельных выпусков один содержит "О Писании в жизни отца Зосимы", а другой "О молитве, о любви, о соприкосновении мирам иным", т. е. куски из "Братьев Карамазовых". Из отдельных русских писателей XIX века в "Библиотеку" вошли: Гоголь, Хомяков, Вл. Соловьев, Жуковский, Герцен, Ю. Самарин, Тютчев и другие. Но в числе этих других, конечно, нет Леонтьева, и в этом нельзя не видеть какого-то ему приговора от религиозной мысли современности.

Леонтьев бесплоден для религиозного познания. Религиозная мысль может иногда вполне соглашаться с его пессимистическими прогнозами, но строить только на пессимизме и только на прогнозах ниче-

го невозможно. А христианская мысль всегда созидает: во все эпохи своей истории.

*

В храм вошли два мальчика: одному лет шесть, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, и старший водит его как экскурсовод. Вот и Распятие. "А это чего?" — замирает младший с широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно: "А это — за правду".

О преп. Сергии говорится в акафисте, что он "во плоти жил духовно, на земли небесно, с человеки пребывал ангельски, в мире — премирно".

Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру своих сил жить "в мире премирно", "на земле небесно".

*

Есть одна трудная антиномия. С одной стороны, — в Евангелии нет никаких оснований для веры в духовный прогресс истории, в нравственное преобразование человечества. Если люди держатся подобного взгляда, то это или лукавство обмирщения, или же мечтательная глупость. Даже первохристианский хилиазм Церкви, то есть вера в "тысячелетнее царство Христово на земле" в границах земной истории, не есть вера во всеобщее человеческое благополучие. Как сказано в 20-й главе Откровения, это тысячелетнее царство есть только "стан святых" и "город возлюбленный", окруженный со всех сторон враждебными народами, бесчисленными, "как песок морской". Хилиазм — это всего только вера в то,

что перед концом истории Церкви, именно Церкви, а не всему человечеству, будет дана на какое-то время какая-то возможность ограничения своей святой жизни от тоже еще находящегося на земле "Гога и Магога".

Это с одной стороны антиномии. А с другой ее стороны то, что, наверное, самое страшное искажение христианства — это его холодное самозамыкание в своем самоспасении, отрицание борьбы и страдания за мир, нелюбящая, а значит нехристианская мироотреченность.

Антиномия о мире разрешена только "крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира" (Гал. 6, 14). Мироотреченность угодна Богу только тогда, когда через нее принимается в сердце весь мир, т. е. только во имя спасения мира.

*

Но надо осознавать отдельность мира от Церкви: мы не имеем права не знать, что мир не хочет Церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть Завещание. В ней о Церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира.

"Духа истины мир не знает, а вы знаете" (14, 17) ... "Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня" (14, 19) ... "Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир" (15, 19). "Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется" (16, 20) ... "В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир" (16, 33).

Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру.

*

Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. "Иуда не Искариот говорит Ему: Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим" (14, 22—23). Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечери так явно утверждал Себя главою не мира, а только Церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о "явлении миру". В мире создается "обитель" Церкви и в ней и через нее будет "явление Христа" миру.

Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно призывается в Церковь, хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал Церковью. Но мир — мы видим — хочет остаться самим собой.

Писать можно много о всех дорогих людях, о всех живущих в памяти сердца. Но не лучше ли замолчать, чтобы они не ушли куда-то дальше, потревоженные, может быть, не так сказанным словом? Слишком драгоценна эта память, это несение в себе живых людей.

Но я не могу скрыть свою благодарность всем тем, кто так или иначе, случайно или неслучайно, много или мало приоткрывал мне в течение жизни — дверь в Церковь.

Потому и страшно жить, что все меньше в мире этих приоткрывателей дверей, что все меньше пра-

ведников. Как сказано: "Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный".

*

О. Александр Ельчанинов пишет: "Главная ошибка современной молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, которую они в данном своем состоянии могут усвоить себе. Христианство есть жизнь".

Иногда наблюдаешь: чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство: — "такое богатство мышления после скудости материализма!" — но вот проходит время, и не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне христианства. К одному Валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне св. Иоанн Кронштадтский и сказал: "копай глубже", т. е. доберись в темноте души до какого-то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: "Копайте глубже".

*

Варсонофий Великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо "беречь глаза", так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между нами и Отцами огромная, но и солнце отражается в "малой капле вод". По закону какого-то уподобления подвиж-

нические советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере.

Помню, как всегда с опущенными глазами ходил в Посаде (Загорске) Флоренский. Церковь, где он совершал богослужение, была домовая, в больнице, там, где теперь поликлиника. Я был на его литургии и видел, что и во время службы он "берег глаза".

*

"Непрестанно молитесь" — это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии "сердечности" молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной, или неизменяемой молитвенной искренности к Богу, он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания.

Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть-Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой-то форменной одежде, в "галунах", и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы.

*

"Монастырь в миру" или "белое монашество" есть утверждение узкого пути Евангелия для всех, а не только для небольшого количества людей, на-

ходящихся за монастырской оградой, он есть попытка осуществления полноты христианства, в гуще мира, а тем самым он есть всего только возвращение к первохристианству. "Монашество в миру" никто не придумывал, его потребовала история Церкви, конец которой смыкается с началом.

Мир возвращается к язычеству. Конечно, он "возвращался" уже давно, но за последние века процессы ускорились. Поэтому все яснее начали говорить о монастыре в миру религиозные мыслители этих веков: Тихон Задонский, Амвросий Оптинский, Достоевский.

*

Матушка Смарагда говорила про себя: "Я нерадивый монах. И спастись мне нетрудно: на работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойди спасись на торчке, среди мира, как все другие живут".

Так что "монастырь в миру" есть христианство "на торчке". Звучит не благолепно, но так, как есть.

*

Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве.

После того, как мы оканчиваем молиться, т. е. делаем перерыв в молитве, исполнивши то или иное молитвенное правило, или отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, т. е. по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла: мы

только что очень много раз сказали: "помилуй меня", а в наступившей паузе мы удовлетворительно и устало вздыхаем и совсем в общем не считаем, что нас надо "помиловать". Прерывность молитвы может создать — черноземную почву для гордости.

Затем в нас возникает какая-то особая после-молитвенная беспечность ("я помолился, теперь все в порядке"), от которой начинаются все те после-молитвенные искушения, о которых без конца предупреждают Отцы.

В непрестанности молитвы есть духовная логика молитвы, и прежде всего для укоренения совершенной искренности ее смирения, т. е. самой природы молитвы. Я не могу не молиться постоянно, так как я именно постоянно нуждаюсь в божественной помощи.

И почему я должен гордиться, если я непрерывно эту помощь зову? Мы ведь не гордимся своим физическим дыханием, его непрерывностью, мы никак его умом не замечаем, не расцениваем, — мы просто дышим. Так же и молитва должна стать незамечаемой простотой непрерывного дыхания.

Меня, наверно, осудят за то, что я пишу об этом. Я сам себя осуждаю, потому что пишу о молитве, не умея молиться. Но я убежден в одном: если мы не молимся, то мы должны хотя бы иметь воздыхание о молитве в нашем грешном сердце. Грешному сердцу и нужно больше всего воздыхать.

*

Еще раз пишу, что о молитве говорил еп. Феофан Затворник. "В сердце жизнь, — там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных. Нет, это дело

всех начинающих искать Господа. Тогда только и начало жизни, когда в сердце покажется сосредоточенная неугасимая теплота. Се есть огонь, который Господь пришел низвести на землю”.

Не ”пепел Клааса стучит в мое сердце”, но не пройденный мною ”путь Отцов”. А пишу я для тех, кто пройдет.

*

”Сосредоточенная неугасимая теплота” в сердце это благодать Божия, поселившаяся там, сделавшая это сердце простым, и искренним.

О. Нектарий Оптинский учил: ”Просите у Бога благодати... Молитесь просто: Господи, дай мне благодать Твою”.

Домогаться благодати нельзя, а просить надо, так как этим мы просим, чтобы сердце всегда было простое, искреннее и теплое. Просить о благодати — это то же, что замерзающему просить о тепле. ”Приидите вси, облечемся во Христа, да согреемся” (Икос Богоявления).

*

Молитва требует какой-то тишины и внутри, и вокруг. Вот почему она невероятно трудна в наше шумное и гордое время.

Я помню чьи-то стихи, записанные мною у покойного Г. И. Чулкова, когда-то приятеля Блока, а потом духовного сына о. Алексея Мечева.

В заботах каждого дня
Живу, а душа под спудом

Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.

И часто, спеша к трамваю,
Иль над книгой лицо склоня,
Я слышу ропот огня,
И глаза закрываю.

Может быть, и молитва сейчас живет "под спудом".

*

Одной из любимых молитв о Серафима (Батюгова) была "Взбранной Воеводе", молитва не о себе только, но и всех. "В наше страшное время, — сказал он мне незадолго до смерти, — эту молитву ограждения надо повторять почти непрестанно".

А схи-игуменя Мария, духовная наставница многих, недавно умершая в Загорске, говорила, что в наше время надо почти непрестанно читать "Богородицу". Оба они этим говорят об одном и том же: "Богородицею помилуй нас!" — если мы спасемся, то только Богородицею.

*

На закрытие храмов надо отвечать исканием непрестанной памяти Божией. И это не потому, что через это откроются храмы, а потому, что этим создается Незакрываемый Храм.

Предсмертные слова епископа-подвижника Афанасия (1962) были такие: "Всех вас спасет молитва".

О памяти Божией, хранимой в душе, я когда-то

так написал, вспоминая детство. В Зосимовой пустыни был колодец-часовня. На потолке был изображен благословляющий Спас. И вот, когда посмотришь, бывало, вниз, — Он же, благословляющий, ясно и тихо отражается на темном покое воды. Так и в колодце души может сохраниться живой памятью — молитвой благословляющий Спас как видение детства.

*

Все больше пустыни в Церкви и все меньше людей в храмах. Это с одной стороны, а с другой: все многочисленнее экуменические съезды. Но мат. Смарагда говорила своей ученице: "Даже если и совсем одна будешь стоять в церкви, — стой!" И в храме, в смысле посещения богослужений, и в Церкви, в смысле верности ей. И она же говорила: "Мы приближаемся к печатям".

*

Религиозные прозрения некоторых писателей, например, Достоевского или Пастернака, были посылаемы от Бога для восполнения пустоты религиозной литературы их времени, для какой-то духовной компенсации. Иногда их можно расценивать как глас Валаамовой ослицы, "остановившей безумие пророка".

Причем интересно, что все религиозно-ценное, что есть в мировой литературе, восходит не к учено-богословскому рационализму, но к золоту подлинной письменности Церкви. Вот один пример. Отцы-подвижники очень советовали заучивать *наизусть* отдельные куски Нового Завета и Псалтыря, чтобы постоянно жить в них. Бредбери, конечно, об этом не знал, когда вложил в сердце последних людей хрис-

тианской цивилизации, живших в условиях атомного одичания, идею заучивания *наизусть* глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте, как золотые звенья человечества ("451⁰ по Фар.").

Я думал, что этот совет и Отцов и романиста надо осуществлять и нам, введя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски Новозаветного текста, заученные наизусть. Это нам может еще особенно пригодиться.

*

Гоголь издавал свою благочестивую переписку с самыми благими православными намерениями, а Оптинские старцы ей не доверяли. На церковном Западе "Сущность богословия" Фомы Аквинского считается богословским основанием Католической Церкви, а Бердяев точно сказал об этой книге: "Если бы я прочел ее всю, я, может быть, стал бы неверующим".

И наоборот: можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихи Лермонтова, Тютчева, Пастернака или Блока. Я уже не говорю о Достоевском или Лескове. У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского и сделавшийся из неверующего верующим. О Бредбери кто-то сказал, что у него апокалипсическое прозрение Запада.

Какой же из этого вывод? Надо и в этом быть мудрым, "как змеи" и простым, "как голубь". Литература полна хаоса и развращенности. Не только не нужно, но прямо вредно все подряд читать. Но не надо отрицать возможность увидеть свет и в этом темном лесу. Если люди от Бога, то и стихи их могут быть от Бога. "Все от Него, Им и к Нему". Ибо, как

говорит тот же апостол, цитируя в своей религиозной проповеди языческие стихи (Деян. 17, 28), — ”мы Его и род”. Я в нестерпимой толкучке метро иногда слезно молюсь своему Ангелу словами тютчевских стихов:

Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для успокоенной* души.

О Гоголе я упомянул не случайно. Некоторые молодые христиане без разбору принимают за подлинное все то, что было в дореволюционной церковной литературе. Это ошибка, опасная для духовного здоровья. То зло, которое мы видим в современной церковной ограде: равнодушие к человеку, внешность во всем, — и в подвиге (если он есть), и в молитве, — стирание границ между церковью и государством, обмирщение, богословский рационализм, жизнь по плоти, а не по духу Божию — все это есть наследство, полученное от прошлого. Мой отец был очень правоверный священник, ученик Оптинских старцев и Леонтьева, но я помню, как он страдал в душном предгрозовом воздухе дореволюционной церковности. Достаточно сказать, что Толстого Синод отлучал, а Распутина не только не отлучил, но этот человек находился где-то около самого центра высшей православной иерархии.

Приведу несколько строк из воспоминаний об отце одной его близкой духовной дочери.

”Перед первой мировой войной, — пишет она, — о. Иосиф пережил какое-то большое, потрясающее

* У Тютчева: ”Для очарованной души” (стих.: ”День вечерет...”). — Р е д.

переживание. Об этом мне рассказывала его жена после его смерти (в 1918 г.). Она помнила, как о. Иосиф сидел у углового окна, выходящего на Арбат, и, глядя на перспективу улицы, точно на перспективу истории, говорил о своей потере веры в страну... "Я верил, что русский народ носитель православия. Было, может быть, и ушло". В начале мировой войны 1914 года была мечта о "Кресте на св. Софии" (в Константинополе). Еще до того, как исторически стало ясно, что это неисполнимо, о. Иосиф говорил: "Зачем нам св. София? Кто в нее войдет? Распутин!?"

Дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святость.

*

"Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа" (Евр. 12, 14).

"Храм Божий свят, а этот храм — вы" (1 Кор. 3, 17).

А "кто делает грех, тот от дьявола" (1 Ин. 3, 8), т. е. значит, он не от храма, не от Церкви, пока не покается. Для постоянства бытия в Церкви необходимо постоянство покаяния. Вот с какой стороны проливается свет на необходимость для всех постоянной покаянной молитвы. "Согрешил на Небо и пред Тобою Господи; приими меня в число наемников Твоих".

*

Любовь есть качество воли, или, как говорил митр. Николай Кавасила (XIV век), "добродетель воли". Бог ждет от нас только этой нашей воли к Нему, т. е. любви, и дает Себя людям не за дела их и

подвиги, в порядке какой-то оплаты, а только за эту волю — любовь, за возжелание Его бытия, за волю к жизни. Бог-любовь ждет любви, а потому ждет воли. Человек весь в путах первородного греха и сам по себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога, т. е. свое спасение, кроме того, чтобы возжелать Его, потянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту свободную волю, дает человеку помощь Своей благодати, через которую и приближает его к Себе и совершает в нем все его благие дела. Не человек совершает своей силой, но благодать Божия — ради человеческой воли, т. е. ради любви, обнаружившей себя попыткой — ”трудолюбного делания” в подвиге.

Именно на этом основано учение Церкви о спасении человека *даром*, за смиренную веру, а не в виде вознаграждения, как учит Рим. Подвиг есть только обнаружение или признак благой воли — любви к Богу. Духовный труд совершенно обязателен, но все, что человек обретает, это не его, но Божие, и обретает он не через труд, но по милости Божией. ”Хотя бы мы взошли на самый верх добродетели, но спасаемся мы все же по милости” (св. Иоанн Златоуст).

Это одна из самых поразительных и самых радостных антиномий христианства.

Радостно осознавать наконец, что ты — ничто, и что ”все от Него, Им и к Нему. Ему слава во веки!”

*

”Не любите мира” (1 Ин. 2, 15). ”Так возлюбил Бог мир” (Ин. 3, 16). Не то примечательно, что здесь мы видим выражение закона противоречий христианского познания, а то, что эти две противоречивые

фразы о любви и не-любви написаны одним и тем же апостолом любви.

Сущность этого закона антиномий хорошо раскрыта Флоренским. Противоречие реально, но оно также (или даже более) реально разрешается в единстве благодати, в которую погружается человеческий разум в Церкви.

Вот еще пример противоречия. Ап. Павел в послании к Титу пишет: "Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости" (3, 5). Тут, как будто чисто лютеранское спасение только верой, без необходимости подвига и "добрых дел". Но через один стих апостол добавляет: "Чтобы, оправдавшись Его благодатию... уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам" (3, 7–8).

На единстве этого противоречия, неразрешимого для Запада, стоит вся дивная высота православных святых.

"Не надейся на себя: *все благое*, совершающееся в тебе, есть *следствие* милости и силы Божией" (преп. авва Исаия). Это постоянная формула аскетики.

"Подвизайся... Когда же сможешь перейти страну страстных помыслов, не окажись неблагодарным, не признав в сем *дара*, свыше тебе данного, но исповедуй с апостолом, говоря: "не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною" (1 Кор. 15, 10) сделала сию победу" (преп. Иоанн Карпафийский).

*

Очищение человека от греха – это его просвещение Светом Невечерним Божиим, и оно совершается не по заслугам человека, не потому, что он живет

в подвиге, хотя он должен жить в подвиге, а "паче ума", или "священнотайно".

"Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством священнотайно" (Антифон 4 гл.).

*

Кажется, на 40-й день после смерти о. Николая Голубцова, когда цветы на могиле еще не совсем увяли, мы были опять вместе — какие-то незнакомые друг другу, близкие люди. Небо было еще милостивое, и мы все стояли как-то шеренгой в узком проходе. Панихиды не могло быть, но вдруг мы слышим: кто-то ее читает, уверенно, знающе, вполголоса. Видим: отдельно от всех у самой могилы стоит незнакомый мужчина в кожаном пальто, бритый, пожилой, но не старый. И тогда небо стало еще ближе и шеренга людей еще тесней. Когда этот человек кончил, поклонился могиле и пошел к выходу, мимо нас, мы все ему тихо говорили: "спасибо".

*

Тем молодым христианам, которые по религиозной молодости бросаются искать внешнее, например, акафисты, хочется сказать: „Ищите прежде Царства Божия”, а тогда, может быть, приложатся вам и акафисты. Акафисты найдут и на этом успокаиваются, а нам заповедано искать общения с Господом и общения с людьми.

Преподобный Ефрем Сирийский говорил: "Монашество это не одежда, (даже!) не пострижение, но божественное желание и небесное житие".

Такое житие нам и во сне не приснится, но "божественное желание" мы все должны иметь, желание божественного веяния Святого Духа. Только это и есть цель христианства, и беседа преп. Серафима "о цели христианской жизни" раскрывает нам эту истину, зовет, сметает с пути обман внешности и холодного самозамыкания в себе, утверждает единственную и постоянную нашу задачу: соединение с Господом, богообщение.

*

Сейчас многие люди пишут стихи, технически гораздо более совершенные, чем стихи Пушкина или Блока. И в то же время все знают, что у нас нет ни Пушкина, ни Блока.

В богословии происходит примерно то же: многие стали грамотно богословствовать, умело и профессионально, т. е. совершенно бесстрашно говорить о "гнозисе" и "аскезе", "энергиях" и "преображении", "соборности" и "уединенности", "катафатической" и "апофатической" традиции. Все слова вроде бы правильные, но иногда так томительно бывает их слушать. Богословие можно ввести в салон, а его надо вводить в подвиг молитвы и в простоту любви.

"Чтение тонких исследователей о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление" ("Патерик").

"Ищи Господа, но не испытай, где Он живет" (преп. Серафим Саровский).

*

Отцы учили, что молитва — это богословие, а бо-

гословие — молитва. Практически это нам надо понимать так, что только то богословие необходимо людям, как-то уже стоящим около церковных стен, которое может быть переходом к молитве.

После всей математики Флоренского легко переходить к молитве. Он о ней почти не писал, но он строил для нее, иногда неумело, благоухающий храм. Его метафизика всегда тоскует и стремится к реальному русскому древнему храму.

То же чувство от богословских работ митрополита Антония (Блюма). У некоторых других современных богословов очень много религиозного рационализма, будет ли он гностический, общефилософский или ортодоксальный. За множеством их слов не слышно их молчания, а ведь это молчание богослова нужнее всего.

*

”Я рассудил быть у вас, — говорит апостол, — не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” (1 Кор. 2, 2).

Вот тот центр, как от камня, брошенного в воду, от которого расходятся круги апостольского богословия. Я, помню, видел когда-то древнюю икону Спасителя, которая называлась ”Иисус Благое Молчание”. Спаситель был на ней изображен как ”Великого Совета Ангел”, как средоточие Божественной премудрости и Ведения.

Благодатное видение — познание есть самый воздух Церкви. Если мы в Церкви, т. е. если мы любим, то мы познаем и богословствуем, ибо ”любовь рождает знание” Церкви.

Церковному человеку можно, а некоторым и даже

нужно, насыщать свой ум также и общечеловеческими знаниями, если только они и при этом сумеют так жить умом и сердцем, чтобы быть "не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого".

*

О сочетании общечеловеческого знания, или "мирской премудрости" с премудростью Божественной лучше всего сказано у Варсонофия Великого, подвижника VI века и апостольской веры.

"Ты не должен обращать внимания на одну только мирскую премудрость, ибо если человек не имеет данной свыше духовной премудрости, то бесполезна ему первая. Если же имеет ту и другую, то таковой блажен" (Ответ 822). Как мало таковых "блаженных", сумевших войти в тайну сочетания.

*

"Молитва Иисусова веселила меня в пути, и люди все стали для меня добрее, — точно они обновились в любви... Когда встречался с ними, все без изъятия казались мне так любезны, как будто родные, хотя и не знакомился с ними... И когда я при сем начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет — все как будто говорило мне, что существует для человека, все свидетельствовало Божию неизреченную любовь к человеку... И я понял, что такое "ведение словес твари", и как "всякая тварь воспевает Бога" (Из рассказов странника о благодатных действиях молитвы Иисусовой. Изд. З. М., 1893).

Во время войны и после нее в одном городе под Москвой ходила за милостыней по домам нищая праведница. На трудфронте она отморозила пальцы рук, а жила она с родственницей, которая ее за убожество не любила и не кормила. Была она не такая, как все, может быть она и юродствовала отчасти; так или иначе, над ней люди смеялись, — иные беззлобно, а иные со злом. Однажды она про всех этих людей сказала: "Если просто так человек над тобой смеется, — о таком надо молиться в поле, у березки полевой, молодой, у которой кора еще гладкая. А о тех, кто со злом или обижают, за тех в лесу надо молиться одному, у березы корявой, старой".

*

Мы далеки от христианства уже потому, что мы в лучшем случае только "душевные", а по слову апостола "душевный человек не принимает того, что от Духа Божия" (1 Кор. 2, 14), т. е. духовности.

Но я знаю, что есть дверь, через которую нам возможно войти в духовный мир Духа Божия: это общение в молитве любви с умершими близкими. Господу мы неуютны, но Он не может противиться любви, и нам через нее приоткрывается дверь в тот мир, где живет "Бог живых" — не мертвых, но живых и тоже любящих.

Благословенны умершие!

*

Вхождение в духовность дает человеку осознание условности времени. В духовности начинается тропа Вечности, где "времени больше не будет". Снимаются

какие-то стены, стена, отделяющая и закрывающая мое настоящее от моего прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ.

И еще возникает новое: возможность как-то *изменить* что-то в своем прошлом, в себе, давно бывшем, точно смыть что-то в черном осадке падений и измен Богу. Нам сказано: "Все возможно верующему". Старец Серафим (Батюгов), помню, говорил: "Наступит время в вашей внутренней жизни, когда вы начнете залечивать прошлое".

*

"Побеждаются естества уставы в Тебе, Дева Чистая" (служба Успения). Бог хочет нашего спасения, а "идеже бо (там где) хочет Бог, побеждается естества чин" (служба 7 гласа). Тот несомненно выше-естественный мир, в который христианин должен переходить не "когда-то там", "на том свете", а уже теперь, на земле, среди современной цивилизации, называется "духовный мир", а состояние человека, в него как-то вступающего, состояние "духовное". Почему так? Только потому, что это состояние божественное. Духовность — синоним стяжания божественности, так как "Бог есть Дух". Эти слова сказаны Христом именно тогда, когда Он открыл пред человечеством, в лице Никодима, всю реальность существования иного, божественного мира и всю трудность перехода в него. Духовность есть Царство Божественного Духа, а христианство — учение об этом Царстве и вход в него.

Вот почему призывом "ищите Царствия Божия" наполнено Евангелие. Никодим, как мы знаем, ужас-

нулся, поняв реальность нового рождения в духовность и его выше-естественность для земных людей. И мы ужасаемся при мысли о духовности и прячемся от нее в любую внешность: философскую, экуменическую, типиконическую.

Матушка Смарагда сказала: "Невозможно вам объяснить — что такое духовная жизнь; но хорошо, если вы знаете, что она существует".

Я помню когда-то в Художественном театре шла вещь: "У врат царства". Мы перед духовной жизнью стоим, как "У врат царства".

*

На сто человек, стоящих в храме, хорошо если есть двое-трое мужчин и две-три женщины моложе 50 лет. Раньше, в 20-х годах, мы говорили: "Церковь оставлена на женщин", и вспоминали при этом верных Христу мироносиц: тогда в храмах еще много было молодых женщин и девушек. Сейчас надо менять формулу: Церковь оставлена на старух, хорошо, если не очень злых. И некоторые молодые христиане не отдают себе отчета в этом страшном процессе де-христианизации России и, имея счастье жить в Москве, около кучки верующей молодежи, уверяют себя, что "все в порядке". У таких людей нет осознания жизни многих десятков миллионов людей, и они не видят пустующих храмов. В процессе отпадения от христианства город соревнуется с деревней, и, кажется, деревня побеждает. По какой-то закономерности христианство возвращается в первохристианство не только духовно, но, так сказать, и географически: из деревень в большие города: "Рим" и "Эфес", "Антиохию" и "Коринф". Там будут создаваться но-

вые последне-христианские общины, окруженные миллионами неверующих, там будут жить христиане, ожидающие новых пророков и старых апостолов.

*

Рассказывали мне (два разных человека), что недавно умерший в Москве епископ Стефан, когда-то духовный сын отца Алексея Мечева, говорил недели за две до смерти о своем убеждении в том, что перед самым концом истории Церковью будет зримо руководить апостол Иоанн, еще не умиравший, но непостижимо где-то сохраняемый Богом для этого последнего своего служения. Так еп. Стефан понимал слова Христовы Петру в 21 главе Евангелия от Иоанна: "если Я хочу, чтобы он (Иоанн) пребыл, пока приду, что тебе?"

*

Все писания — (апостола Иоанна) — можно назвать непрерывной историей борьбы между тьмой и светом. В Евангелии от Иоанна мы присутствуем в начале этой борьбы вокруг Господа, а Апокалипсис показывает продолжение ее вокруг Церкви. Поэтому слово "побеждать" ("никао") встречается 6 раз в одном первом послании этого апостола и 16 раз в Апокалипсисе, тогда как во всем остальном Новом Завете оно упоминается только 3 раза (Лк. 11; Римл. 3 и 12). (Богослов. Энцикл. 1900, т. 1, стр. 913).

К этому можно было бы добавить, что слово "жизнь" т. е. то, что побеждает смерть, встречается только в одном Евангелии Иоанна, не считая его

посланий и Апокалипсиса, 38 раз. Жезл апостола, данный им, по преданию, св. Авраамию Ростовскому (XI век), находился в Сретенском соборе Зимнего Дворца.

”Возьми мою трость, — сказал апостол, явившийся Авраамию, — и сокруши идола Велеса”.

*

Бог Сам ищет сейчас Своих учеников и тогда, как говорили и Паскаль и Флоренский, к человеку приходит не Бог философов и ученых, но Бог Авраама, Исаака и Иакова, и берет его за руку и ведет.

Все мы знаем картину Иванова ”Явление Христа народу”. Явление Христа душе совершается в каждом человеке, призываемом Богом, в меру сердца призываемого. Душа получает как бы толчок, — иногда через случайно найденное Евангелие, среди выброшенных в мусор книг соседа, иногда через сон, иногда через искусство иконы, иногда через живого носителя святости и любви. Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов, если не будет явления Христа в нас, то мы не можем ни веровать в Него, ни любить Его, как должно.

Недавно рассказывали об одной девушке (неверующей еврейке), увидевшей сон: она бежала в смертельном страхе от кого-то и вдруг припала к Распятию и обняла его с ясным чувством, что спаслась. Проснувшись, она пошла искать Церковь Распятого.

Явление Христа — это зарождение в душе Его чудотворного образа, это личное услышание слов: ”Се Человек!” Только полюбив, можно поверить.

”Кто не может любить Бога, тот, конечно, не мо-

жет и веровать в Него” (Преп. Симеон Новый Богослов).

*

В связи с возможностью ”явления Христа” душе через искусство иконы, вспоминаются слова Флоренского о возможности философского доказательства бытия Божия. Флоренский сказал, что лучшее из этих доказательств помещено в Троице Рублева: ”Если существует ”Троица” Рублева, то значит есть Бог”.

*

С теософией мое знакомство произошло в самом начале революции, когда на стенах домов иногда появлялись объявления о теософских лекциях. Помню обстановку одной из них.

В коридоре и зале множество московских дам, точно цветник, а среди них прохаживающийся здоровый молодой мужчина с правильными чертами лица, в розовом хитоне, с голыми руками и ногами, на которых браслеты. Это — говорят мне — молодой поэт, не то имажинист, не то кто-то еще. На сцене перед кафедрой длинный ряд белых цветов в горшках, из-за сцены доносится тихая таинственная музыка. Публика томится ожиданием чего-то и нервничает, но иногда раздаются антитеософские реплики, и в их сторону направляется с грозным лицом человек в хитоне. Наконец, появляется лектор, тоже дама, по фамилии, кажется, Пушкина.

Она говорит, что человечество ожидает возрождения и приближается к нему, что Великий посвященный поэтому скоро придет, что технический прог-

ресс дает ему возможность быстро перемещаться по всему миру, что мы должны жить внутренне так, чтобы не пропустить его приход, чтобы его заметить.

Когда она кончила, раздались аплодисменты, а за стеной опять заиграла музыка. И вдруг в середине зала поднялся на стул С. Н. Дурылин (тогда еще далеко не священник) — маленькая фигурка в золотых очках и синем пиджаке — высоко поднял руку и громко сказал: "Не верьте: когда придет Христос, Его нельзя будет не заметить, 'ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого'."

*

Через два года, кажется, после этого С. Н. Дурылин принял священство и служил на Маросейке у о. Алексея Мечева. Помню, как на литургии в Великую Субботу С. Н. говорил слово о том, что "сия есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, ибо почил от всех дел Своих Единородный Сын Божий" (стихира).

В С. Н. была большая личная любовь к Христу, именно та личная любовь, которая светит нам в жизни и в писаниях Святых Отцов и о которой так вовремя и так хорошо напоминал Достоевский.

И вот остается факт: несмотря на уже принятое священство, С. Н. отошел, в конце концов, от Церкви. Пожалуй, лучше будет сказать по-другому: *благодаря* тому, что он принял священство, он отошел: бремя оказалось непосильным для его плеч. Для слабого духом, и при этом искреннего и любящего, невыносимо увидеть на Тайной Вечери зло. Для того, чтобы, увидев, устоять и быть истинным священни-

ком, нужно быть готовым всегда повторять слова апостольские в ответ на слова Христа: "Один из вас предаст Меня". — "Не я ли, Господи?" — ответили апостолы.

Какая бездна смирения и проникновения в тайну Промысла Божия! Только это спасает и ведет каждого к Церкви, и тем более стоящего в алтаре. Там повторяется Тайная Вечеря.

Но к этому смирению можно идти только труднейшим подвигом веры. А у С. Н. тогда умерли все его старцы — и о. Анатолий Оптинский, и о. Алексей Мечев, и он остался один.

*

Я раза два был у о. Алексея Мечева и на службе и в доме. Помню, с каким детским удовольствием он вдруг бросался в переднюю подавать кому-нибудь — совсем незначительному — шубу. Я говорил мало (в противоположность С. Н., который *говорил все время*), точно к чему-то прислушиваясь.

"Вот меня считают ясновидящим или прозорливым, — сказал он одному человеку, которого исповедовал, — а это не прозорливость, а всего только знание людей. Я ведь их переживания вижу, как на ладони". И он при этом повернул свою маленькую. Он был небольшого роста, с быстрыми движениями и с какой-то точно неудержимой веселостью, которая шла от его премудрых всевидящих глаз. На фоне солидного и мрачноватого, так называемого "филаретовского" духовенства Москвы, он был носителем того "веселия вечного", о котором поется в пасхальную ночь.

Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в Церковь, например, теософы, обычно говорят: "Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность".

Человек влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их, или покупает, и несет их к ней, совсем не считая, что это только "формальная сторона". Это и есть идея церковного обряда.

Любовь к Богу естественно порождает красоту и человечность обряда, воспринимаемого, как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь и суть христианства — влюбленность в своего Бога и Господа и тем самым ощущение, что на земле осталось и живет Его Тело — Церковь. Как же могут эти ощущения не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами?

Если же существует одно внешнее, т. е. мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться в настежь открытую дверь. Это каждому ясно.

Формализм, или, что еще хуже, ханжество, т. е. формализм подсахаренный, не есть христианство, и каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым.

Теософия не так безобидна, как может показаться.

Ее суть в отвержении Церкви как Тела Божия в мире. Тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога, и эта божественная реальность невыносима для высокого темного спиритуализма.

Церковь есть Тело Бога, и этот непостижимый факт жизненно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и тело, вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот, данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в Вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в Божественную Жизнь. О, Пасха!

”Исполнится пророчество вопиющего, глаголет бо: восставлю скинию падшую священного Давида в Тебе, чистая, прообразившуюся. Еяже ради персть всех человеков в тело создася Божие” (Служба Рождества Богородицы, канон п. 9).

*

Бабушка напевает крошечному внуку колыбельную песню Лермонтова: ”... Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой...”. Внук блаженно смежает глазки. Входит мать, дочь бабушки: ”Что это ты поешь? Не надо”.

Конечно, пережитки капитализма могут быть внедрены в сознание и через Лермонтова. Так внутри семей образуются чуждые духовные расы.

Рассказ об этом (недавний) запомнился мне, как нам в молодости открыл С. Н. Дурьлин ”одну мо-

литву чудную” Лермонтова, молитву о тех ”косых лучах”, о которых так хорошо потом говорил Достоевский, сам весь освещенный ими. В русской литературе XIX века — в художественной, в славянофильской — было что-то неизречимо большое, что ”могло бы быть, да не вышло”. И в том, что ”не вышло”, в том, что были только тихие косые лучи перед ночью, есть всем нам нужная религиозная скорбь.

Я люблю читать в Деяниях то место, где описывается прощание ап. Павла с Ефесскими пресвитерами: ”Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его” (20, 37—38).

*

В те годы, когда к нам иногда приходил о. Серафим (Батюгов), у нас жила близкая нам простая женщина. Она была когда-то инокиней (сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11—12), но в это время ничем внешним от нас не отличалась, и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее о. Серафим говорил: она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами. Она умерла у нас утром в Великую Субботу, будучи буквально до последней минуты в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, но переходит в Новую жизнь.

Характер у нее был своенравный и, кроме того, она не любила плохих молений и служб, что, конечно, огорчало о. Серафима, особенно, когда получалось так: он надевает епитрахиль, чтобы служить, а она идет на огород полоть картошку. Я вижу: он читает и

все посматривает с тоской в окошко на ее фигуру, склоненную к ботве. И вот, помню, однажды о. Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз прощается с нами, а перед этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется ей в ноги.

*

О нем еще хочется записать одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу и на вопрос "кто?" — слышу тихий монашеский ответ: "Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас". Я так обрадовался, совсем не ожидал его в это утро, что вместо положенного "аминь", воскликнул: "ах! как хорошо!", и уже после этого, спохватившись, и уже дважды: "аминь, аминь". И вот когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо: радостно-утешенное: он услышал, что его — странника — здесь ждут и любят.

*

Жития святых надо читать, но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнавать что-то, о чем, здесь, может быть, и не сказано. В "житиях" бывает иногда некоторое затемнение образа, — индивидуальность святого, т. е. реальность в божественно-человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой-то благочестивой чудесной стандартности, а великое чудо преображения человека, то "дуновение Иисусово", которое несет в своем дыхании

каждый святой, — все это, благодаря туману, делается незримым и неслышным.

В житиях преп. Сергия, и в особенности преп. Серафима нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преп. Серафима так особенно близок нам, так всемогущ в отношении нас, вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, вот эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровом, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании: я действительно живу вместе с ним под единым голубым неумирающим небом русской Церкви.

*

В "Изложении Веры" св. Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмат о Церкви: "Два существа (о Сыне) исповедуют одно единосущное Отцу по Божеству, а второе единоедушно матери по человечеству".

Христос единоедушен не только Отцу, но и матери, а это значит, что Богочеловек единоедушен человеку и, тем самым, Церковь единоедушна Христу. Вот почему и сказано апостолом, что "Церковь есть Тело Его", тело Богочеловека, и вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это богочеловеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога.

"Приходит от чертога чрева Твоего Бог, якоже Царь, одеянный боготканною багряницею обаяния тайного пречистых кровей Твоих, Безвестная, и

царствует над землею” (Канон утра недели мясоп., песнь 7).

*

”Троице всесвятая, единый и трисолнечный Свете, ущебри мир ” (пятн. нед. Вайи. Канон песнь 9).

Больше всего меня поражает в ”Троице” Рублева это видение в центре Троицы Евхаристической чаши на трапезе Трех Странников, ”трисолнечного Света”. В центре этой предвечной тишины — Евхаристическая чаша: Отец указывает дланью на нее и склоняется направо к Сыну, то ли говоря Ему о ней, то ли уже отпуская Его на совершение Любви. Это — видение Предвечного Света о необходимости Голгофы. Но в этой чаше уже существует Церковь, а поэтому это есть также видение предвечного бытия Церкви. ”Се жертва тайная, совершенная, се входит Царь Славы”. Вот почему апостол пишет: ”Он избрал нас в Нем прежде создания мира” (Еф. 1, 4), ясно говоря этим о до-временном бытии Церкви в Агнце Божиим. Прежде создания мира очами Божиими уже видна была Церковь, а тем самым и Богоматерь. На ”Благовещение” мы так и поем: ”Совет предвечный, открывая Тебе, отроковице, Гавриил предста...”

О Пресвятой Деве был предвечный Совет Божий. ”Через нее исполнился древний совет Божий о воплощении Слова в нашем обожении” (св. Иоанн Дамаскин, ”Слово на Рождество Богородицы”). Когда мы так говорим о Церкви, мы называем ее Софией, неизреченным Домом Премудрости Божией. Еще в Совете предвечном ”Премудрость созда себе дом”.

Вот почему Хомяков сказал, что Церковь — это ”основное таинство мироздания”. И вот почему на-

чинают делаться нам понятными загадочные, как будто, слова св. Ирины Лионского: "Когда Церковь в конце (истории) будет внезапно взята отсюда, то будет, — сказано, — скорбь, какой не было от начала и не будет" (Против ересей, кн. 5).

*

Через таинственное соучастие в Телe Богочеловека тело всякого человека входит в лучи Вечности, становится нетленным. Догмат об истинности Боговоплощения, об истинности человеческой плоти второго Лица Святой Троицы, есть утверждение целостности спасения, т. е. преображение всего человека в Бога по благодати. И этот же догмат есть основание догмата о Софии. София — это воплотившееся Слово Божие, Бог в твари. Божественное в тварности, это одновременно и человеческая природа Бога, и Церковь как тварное Тело Божие. Непонимание Софии есть непонимание нераздельности человеческой природы Христа от Его природы Божественной.

*

Я знаю современников, уверовавших, когда им было 20—25 лет. Если родители их активные атеисты, то эти молодые люди придумывают себе язвы желудка для того, чтобы как-нибудь сохранить в семье возможность поста. Эти молодые христиане входят в пустыню подвига более пустынную, чем египетская. В пустыне египетской человек мог изнемогать, но при этом он мог мыслить о каждой душе человеческой как о живой воде, как о спасительном оазисе. В пустыне великого города чуть ли не каждый

человек может открыться или просто показаться горчайшей пустыней. Вот где разница прошлой эпохи с теперешней.

Господи, помоги! Господи, помоги! Люди Твои, Господи, кричат к Тебе.

*

Глядя на стариков и молодых в метро, иногда думаешь, что молодые чище.

О. Александр Ельчанинов спрашивает себя: "Если "те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут" (Римл. 2, 12), то не значит ли это, что "те, которые не имея закона", не согрешили — спасутся?"

В наше время, когда уже прочно и по всему миру оформилось новое язычество и когда живет множество людей, совершенно ничего не знающих о христианстве, не должны ли снова применяться к этим людям слова того же апостола о тогдашних язычниках: "Дело закона у них написано в сердцах"?

О. Нектарий Оптинский говорил: "Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как может, волю Его, — спасется". И он же добавляет: "А тот, кто, зная о христианстве, идет индусским мистическим путем, — нет".

Это тот самый оптинский старец, который проявлял интерес к Велемиру Хлебникову, а о Блоке сказал: "Он теперь в раю. Скажи его матери, чтобы была благонадежна".

Известно, что В. Хлебников ездил к Флоренскому.

*

Нужно знать учение Отцов о том, что в то время, как всякое доброделание, например, пост, может сделаться своим и привычным для человека, — молитва всегда останется как бы непривычной. Отцы говорили, что молитва — это доброделание ангелов. Как часто убеждаешься в этой особенности молитвы, вводя себя с таким трудом на утренние молитвы, то есть на такую, казалось бы, хоженную тропу. Вот почему, учат Отцы, так опасна всякая прерывность в молитве и, наоборот, благотельно принуждение своего "правила", понимаемого как кнут. "Царство Божие нудится", т. е. силой берется, принуждением себя. Сказано также, что это Царство Божие — в сердце. Надо взять сердце в руку, теплую, но твердую, и тогда начинает укореняться молитва.

Отец Валентин Свенцицкий учил, что непрестанную молитву не надо прекращать и во время богослужения.

*

Я только раз в жизни испытал радости щедрости, а ведь есть (и сейчас) люди, которые несут щедрое сердце всю свою жизнь.

Это было в Бутырской тюрьме осенью 1922 года, и это было как светлый ветер, выметающий сор души. Я готовился к этапу и раздавал, что имел, и чем больше раздавал, тем глубже дышал воздухом свободы, в которой мы призваны быть всегда. И это время тюремного дерзания так и осталось счастливейшим временем жизни. Почему я тогда не умер?

*

И еще раз я стоял у громадного окна в новом районе Москвы. Была ночь и между облаками выходили звезды, как маяки. С души сошло бремя, точно вокруг нашлась потерянная где-то в темноте нить жизни, сплетенная из надежды и радости, и город уже не казался чужим, но жилищем страдающих людей. Мы не озлобились за эти 50 лет и сейчас молимся в этом городе, как у изголовья тяжело больного. Это земля Твоих людей, Господи!

*

Та простота и вера, к которой зовет апостол, конечно, не есть упрощение. Это только введение всех своих мыслей и чувств в евангельское ученичество Христу. И только это и может провести людей в лабиринте и в туманной современности.

О людях Христовой простоты так сказано: "Эти те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел... И в устах их нет лукавства" (Откр. 14, 4–5).

*

Подвиг жизни в христианстве не может не быть каким-то посильным страданием. Но страдание в христианстве — это только неизбежность родов, процесса мучительного, но радостного по результатам. "Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир" (Ин. 16, 21).

И наше христианство проверяется этим сочета-

нием: рождается ли в нас уже теперь, сейчас, "этот младенец радости"? "Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше" (2 Кор. 1, 5).

Когда мы ожесточаемся и то и дело брюзжим по всякому поводу, — это очень опасный признак. Надо иметь, если не радость, то хотя бы благодушие, а если не благодушие, то хотя бы юмор к своим напастям и искушениям. В глазах Христовых наше "интеллигентское изнеможение" от жизни есть уже какой-то отказ от креста. Первую историческую Церковь Он хвалит в таких словах: "Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал" (Откр. 2, 3).

*

"Прежде честнаго Твоего Креста, воином ругающимся Тебе, Господи, умная воинства дивляхуся; обложился бо еси венцем поругания, землю живописавый цветы, багряницею поругания одеялся еси, облаки одеваяй твердь. Таковым бо смотрением разумя Твое благоутробие, Христе. Велия Твоя милость, слава Тебе" (Вел. Пятница. Тропарь, 3-го часа).

По апостолу, мы "наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться" (Рим. 8, 17). "Если только". Страдание утверждается в христианстве, что оно есть "средство для великого восхождения к Богу" ("Цитадель"). Хотящему быть христианином неизбежно открыть в своем сердце некую теплую боль, животворную язву: свое соучастие в жизни и страдании Христа и людей.

Вот почему мы ежедневно призываемся молиться

словами: "Любовию Твоею уязви души наши" (6-й час). И христиане живут со своею открытой раной.

*

О. Александр Ельчанинов говорил: "Смысл страданий в соучастии в страданиях Христовых и в созидании Тела Христова в мире". Вот почему Отцы домостроительство нашего спасения называли "домостроительством страдания".

В мире сейчас наблюдается одно страшное явление: этот мир все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания и в то же самое время все больше ненавидит саму идею страдания. Христианство предпочитает обратное этому соотношению.

Страдание в христианстве двойко. Первое — это со-страдание, т.е. любовь, почти со-существование: человек со-страдает своему распятому Богу и через Него сострадает человеку и страдающей земле. Это страдание безусловно неизбежное, которого не может не быть в христианстве, в меру любви каждого. Второе — это условное страдание подвига. Условно оно потому, что зачастую это и не страдание вовсе, когда Господь несет наш подвиг за нас, видя стремление наше к Нему. Кроме того, святые Отцы учили, что некоторые люди спасаются совсем без обычного подвига, т. е. вне второго вида страдания, только через одно свое смирение и любовь. Поэтому здесь надо помнить слова блаж. Августина: "Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, — его любишь".

*

"Скорбь — главная пища любви; и всякая любовь,

которая не питается, хотя бы немного, чистою скорбию, умирает, подобно новорожденному, которого стали бы кормить, как взрослого. Нужно — увы! — чтобы любовь плакала, а весьма часто именно в тот самый момент, когда поднимаются взрыды, цепи любви куются и закаливаются на всю жизнь” (Мор. Метерлинк, ”Сокровище смиренных”).

О. Николай Голубцов говорил: ”Многие святые видели ангелов плачущими”.

*

В трех первохристианских источниках находится запись следующих слов Христа, не записанных в Евангелии (аграфы): ”Кто близ Меня, тот близ огня; кто далеко от Меня, тот далеко от Царства” (Ориген. толк. на Иерем., 20, 8; Дидим, толк. на пс. 7, 8; ”Еванг. от Фомы”, найден. в 1941 г.).

Христианство обжигает мысль людей страданием, но без огня в человеке не рождается Бог.

Сейчас не только мир ненавидит идею страдания, но и люди, называющие себя христианами и даже церковными деятелями. От этой ненависти питается так называемый ”христианский атеизм”, ложное христианство.

*

Догмат о человечестве Христа — это раскрытие неизреченного обнищания Бога, страдания Бога. Он так же нам и необходим, как догмат о Его Божестве. Не книги об этом надо читать, а стоять в ночь на Великую Субботу и слушать ”Припевы на Непорочных”, когда ”дыхания моего Податель бездыханен

носятся"... когда "Троицы един во плоти ради нас претерпе смерть".

"Иисусе, сладкий мой и спасительный Свете, во гробе темне како скрылся еси!... Жизнь како умираеши!"

"Жизнь во гробе положился еси, Христе, и ангельская воинства ужасахуся, снисхождение славяще Твое".

*

Если мы совершаем что-либо, например, постимся или богословствуем (иногда очень рьяно) вне голгофского света, то мы на данный момент находимся вне Церкви. "Не любящий брата пребывает в смерти" (1 Ин. 3, 14), а значит, пока "не любит", он не пребывает в Церкви, так как "Церковь Бога Живаго" и смерть – несовместимы.

Митр. Антоний (Блум) пишет: "Где нет любви – нет и Церкви, есть только видимость, обман, который отталкивает людей. Вот почему пустуют наши храмы, отпадает молодежь... Помогите нам, Господи, стать Церковью, а не только видимостью ее" (Слово на притчу о расслабленном).

Голгофой создана Церковь, это "цена" ее создания, и только этой ценой мы можем входить в нее.

*

И блаж. Августин учит: "Историческая Церковь есть Тело Господне истинное и смешанное, истинное и *кажущееся*. Страшное это слово – *кажущаяся*, только видимая, притворная Церковь!

Лжехристианство.

По слову Божию, любовь противопоставляется беззаконию, угождению плоти, т. е., иначе говоря, не-святости. "И по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь" (Мф. 24, 12).

"Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу" (Гал. 5, 13).

Святость в христианстве это и есть любовь, а не-любовь — не святость.

Природа любви непостижима, как природа божественная, но одно мы знаем, что если есть гордость, то значит нет любви, что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других: для Бога и детей Божиих.

Грех же, наоборот, есть "память о себе" и забвение других, самоутверждение и самоугождение, грубо-физическое или тонко-душевное. Поэтому все грехи есть большой или малый отказ от любви, большая или малая гордость.

"Попечения о плоти, — говорит апостол, — не превращайте в похоти" (Рим. 13, 14), не самоуслаждайтесь, не побеждайтесь своею самостью. Но не то же ли самое, только в душе, совершается в общении с людьми, когда вместо отдачи себя им, заботе и тревоге о них, я занят опять же собой и внутренне себя перед ними утверждаю, и, разговаривая с ними, посматриваю на себя в зеркало?

А когда я стою на молитве, то не бывает ли так, что вместо Бога я молюсь "на самого себя" — люблюсь собой или пребываю в тщеславии. Во всем этом, и во множестве другого, — когда я осуждаю, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, присваиваю, жадни-

чаю, я в основе всегда делаю одно и то же: утверждаю себя, свою грешную самость, свое "Я", вместо "не-Я", вместо Бога и людей, вместо любви.

И наоборот. Перечислив многие совершенства, к которым мы призываемся (а в их лице все остальные совершенства), апостол заключает: "Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства" (Кол. 3, 14), ибо в ней совокупно существует весь путь к Богу. Она излагает гордость, отменяет самость и самоугождение — плоти и духа. Вот почему существует мрак не только разврата, но и ложной добродетели, не только безделия, но и подвига, или, как говорили Святые Отцы, "лучше поражение со смирением, чем добродетель с гордостью" ("Отечник" еп. Игнатия). Вот почему истинная святость и любовь есть одно и то же. Блаженный Августин так говорил: "Всякая добродетель есть любовь".

Для того, чтобы понять это опытно, некоторым нужно прожить десятки лет, слушая слова Отцов, учителей светлейшего подвига. Это корень аскетики, которая и есть — борьба за любовь в себе и в мире.

*

Епископ Феофан Затворник, говоря о непрестанной молитве, учил: "Существо дела в том, чтобы приобрести навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свести в сердце и там его усадить, сочетать ум с сердцем" (Добротолюбие, т. 5). Иначе говоря, все дело в том, чтобы "сочетать ум" в любви. Вот в какую глубину ведут нас Отцы, в какое тепло! А мы-то, бедные, только начнем молиться, как уже

”стоим умом” в тщеславии все на том же месте: *в самих себя*.

Макарий Великий говорил: ”Надо иметь ум пригвожденным к любви Христовой” (”Беседы и слова”, 288).

*

У святых Отцов очень много сказано о том, что спасение человека от греха, или, иначе говоря, его возведение к Богу, идет через ближних, через людей, и через них же идет к нему его духовная смерть.

Мы можем на людей злиться, перед ними гордиться, на них дышать похотью; в этом трояком зле мы умираем. И мы можем любить человека, смириться перед ним и взирать на него чистым оком. И когда это в нас совершается, мы вдруг познаем, что ведь каждый человек — это ”нерукотворный образ”, за которым Сам Христос. Практика христианской жизни поэтому и сводится к тому, чтобы между мной и каждым человеком всегда стоял Христос... Надо видеть людей только через Христа.

*

Вот почему надо писать о любви и не-любви, о святости и не-святости. Здесь узел духовного бытия.

Но писать о любви означает прежде всего писать о смирении, точнее говоря, — о смирении любви, так как ”любовь не ищет своего”, но забывает о ”своем” и отдает ”свое” в смирении. Только смирение может о себе забыть. Смирение есть сама природа отдающей себя, жертвующей собою любви.

”Чтобы положить основание любви, надо начать с

жертвы”, — так ”святоотечески” сказал военный летчик Экзюпери.

Смирение и есть ”жертва”: ”Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит” (Пс. 50).

*

В одном письме 1937 года о. Серафим (Батюгов) писал о смирении так: ”Смирение — это непрестанная молитва, вера, надежда и любовь трепетной души, предавшей свою жизнь Господу. Смирение есть дверь, отвергающая сердце и делающая его способным к духовным ощущениям”.

*

Самое, может быть, трудное в смирении, это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверно, можно вздыхать об этом (”Господи! — я замерзаю”), но нельзя требовать, даже внутренне. Ведь нам дана заповедь в нашей любви к людям, но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к себе от этих людей — нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божия любовь и заполняет все.

*

О. Валентин Свенцицкий говорил мне: ”Вот мы учим о любви и смирении, а случись, что нам в автобусе наступят на ногу, и мы тотчас же этого человека ненавидим”.

Смирение на словах есть порождение гордости, учили Отцы. Всякий, стремящийся к христианскому мышлению, без большого труда, а иногда с каким-то большим удовольствием скажет о себе, что он "великий грешник", или на просьбу о молитве ответит по утомительному смиреннословному стандарту: "Моя молитва недостойная". Но попробуйте сказать о себе искренно: "я просто нехороший человек" или "я нечистый человек" — и вы поймете, как это трудно, может быть даже непосильно.

Вот я считал себя смиренным, а мат. Смарагда прямо сказала: "в С. И. духовная гордость", и за неделю до своей смерти ее обличила.

*

Я помню смерть мат. Смарагды. В это майское утро я шел к обедне и по дороге зашел узнать о больной. Когда я вошел на крыльцо, то увидел, что две ее келейницы стаскивают с чердака давно приготовленный гроб. "Как матушка?" — "Плохая". Я прошел в комнату, где около постели были три женщины, наверно самые близкие ей по духу. "Читай отходную", — сказала одна из них мне. Я начал читать вполголоса, но не прочел и страницы, как услышал уже какой-то совсем другой, задыхающийся шепот: "читай! читай!" и понял, что уже "подносится чаша"! Когда-то задолго до этого, матушка сказала: когда человек умирает, к устам его "подносится чаша". Мы еще долго стояли в тишине. Когда умирает святое сердце, это уже не скорбь, а только таинство.

Вот почему, когда через 8—9 лет после ее смерти я приехал на несколько часов в этот городок и пошел на кладбище, то, увидев среди сплошного снега, за-

несшего в ту зиму даже кресты, верхушку ее креста на бугре, я, к удивлению проходящего мальчишки, сошел с узкой тропинки и буквально пополз по снегу к этому еле видимому знаку, как утопающий к острову, и, подобравшись, целовал его со слезами, как целовал бы материнский крест.

*

В тургеневской Лебедяни в 30-х, начале 40-х годов нашего века ходил по округе странник Илларион. Он был из евреев, по профессии портной, а где стяжал христианство и духовную власть — неизвестно. Может быть, через тех бывших Оптинских духовников и монахов, которые доживали в эти годы рассеяния свой век в этих краях.

Я его лично не знал, я застал только живых людей, которые спустя много лет после его смерти жили в атмосфере его духовного наследства. Нигде в истории Церкви или в епархиальных отчетах он, конечно, не будет упомянут. Он совершил свое апостольское учение и ушел. И на могиле его рядом с храмом и теперь можно увидеть свежие цветы или, в праздник, зажженную свечку.

Одна, тоже праведница, Катя, рассказывала мне, как он у нее ночевал. "Проснулась я ночью и слышу, что он на печке тихо поет: "Иже херувимы тайно образующе". Так проходят ночи праведников, и не страшна им ночь мира.

*

В реальности Церкви, в ее духовной жизни, все такие трудные для интеллигентов и молодых хрис-

тиан понятия, вроде "добродетели" или "благочестия", принимают тепло и жизнь необычайных, но понятных вещей.

О понятии "подвига" уже я говорил. Вот еще несколько трудных слов.

"Добродетель есть вещь некая горячая и зело приличная возжечь пламень любви Божией и сотворить душу всю огненной" (преп. Никита Стифат). "Благочестие... есть то, чтобы призирать (опекать) сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира" (Иак. 1, 27).

"Бесстрастие есть не то, чтобы не быть бориму от бесов, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать неборимыми" (блаж. Диадокх). "Сила детства — сияние нерастраченного пола" (свящ. А. Ельчанинов).

*

Проповедь в храме должна находиться в каком-то смысле слова на одном уровне с данным богослужением, чтобы то, что говорится, и то, как говорится священником, не стаскивало бы, так сказать, молящихся куда-то вниз с того уровня, на котором их духовно поставило богослужение.

Богослужение вдохновенно, а мы даже этого слова "вдохновение" боимся, ссылаясь на то, что его любил Пушкин, и оглядываемся на Типикон: есть ли оно в нем?

"И пришел он (Симеон) по вдохновению в храм" (Лк. 2, 27).

Я думаю, что если бы нас перенесли на богослужение апостольских времен, когда люди, вдохновляемые Духом Святым, говорили "иными", т. е. иност-

ранными, языками, или пророчествовали, то мы бы, наверно, решили, что это сектанты.

*

В одном большом московском храме я наблюдал в праздник такое явление. Выходит священник с Чашей, возглашая "Со страхом Божиим и верою приступите". Но вместо того, чтобы начать причастие, он вдруг спускается с амвона и через громадную толпу, опасливо прося расступиться, идет с Чашей в боковой придел, где и причащает. "Тело Христово примите" здесь уже не поется: нельзя отвлекать людей от слушания проповеди. Оказывается, когда этот батюшка пошел с амвона с Чашей, из алтаря вышел другой ("академик") и начал проповедовать. Перед ним вся толпа людей, а здесь, у Крови Христовой, какая-то оставленная в молчании кучка. Литургическое завершение перенесено с причастия Вечности на проповедь.

*

Еще в одном храме я наблюдал аналогичное явление. Был тот же праздник, было много народу, в том числе исповедников. Вышел священник с Чашей, приглашая: "приступите", но тут же повернулся и ушел в алтарь: певчие пропели "аллилуйя", как после причастия, затем диакон прочел ектению, в которой говорится о нашей благодарности за причастие Святых Таин, хотя никто еще их не принимал.

Литургия закончилась, и тут же начался торжественный молебен. И вот, когда и он, наконец, торжественно закончился и народ расходился, когда алтар-

ница сердито и громко бранила за что-то на клиросе маленькую монашку, а за ящиком слышалось щелканье счетов и чей-то громкий бас сказал: "О, мы сегодня хорошо поторговали, Иван Федосеич", — тогда, в этой пустыне, к людям, все еще ждущим у амвона, была наконец вынесена Чаша. Оказывается, — "певчих нельзя задерживать причастниками".

Один верующий диакон (в другом храме) мне рассказывал, что в одном приходе, в начале его там служения, он за всенощной получал иногда в алтаре такие записки от певчих: "Не затягивайте, сегодня интересное кино".

*

Недавно один православный священник, охотно дававший религиозные книги своему знакомому студенту и вдруг узнавший, что он "пятидесятник", сказал ему: "Теперь между нами все кончено, теперь вы мой враг и я ничего вам не буду давать".

Такое же отношение сектантов к нам. Мы для них "идолопоклонники", так как кланяемся иконам. Себя они называют "верующими", имея в виду, что мы "неверующие".

Где-то наверху, над нами и над ними, ученые люди говорят благонамеренные речи на международных экуменических съездах, а внизу вся многомиллионная масса людей, призывающих Христово имя, пребывает в древней темноте отчуждения и неприязни. Современное экуменическое движение практически ни на шаг не уменьшило конфессионального разрыва масс.

Неприязнь я ощущаю в себе. Возникает какая-то невыносимая досада, когда видишь, что люди отво-

рачиваются от глаз Владимирской Богоматери и не принимают откровения Рублевской Троицы, т. е. не понимают того, что Церковь и есть эти глаза и этот Божественный покой, а совсем не "я", не "он", т. е. не тот человеческий грех, который растлевает людей во всех религиозных обществах без исключения.

Но иногда мне кажется, что в сектантах протестантского толка есть что-то от семени Первоначальной Церкви, и что все их непонимание ее когда-нибудь кончится. Так мне кажется, когда я читаю все эти слова Откровения: "И расвирипел дракон, на жену (т. е. Церковь) и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа" (12, 17). Если эти "прочие" сохраняют заповеди Божии и "свидетельство Иисусово", то это на фоне современного мира есть факт величайший и потрясающий.

*

Вернувшись после ссылки в Москву в 1925 г., я был раз на литургии у о. Валентина Свенцицкого. Я пришел к ее концу, и, когда он вышел с заамвонной молитвой, меня поразило его лицо. Я иначе не могу передать моего впечатления, как сказать, что это было лицо человека, который только что принес себя в жертву, принес реально и мучительно, и вот сейчас выходит к нам, никого еще не замечая от потрясения. Я тогда понял, что такое стигматы.

А свою глупость я проявил и здесь. Вместо того, чтобы подождать его для разговора, мне нужного, я вошел в алтарь. И вот он властно поднял руку, останавливая меня, и сказал: "Сюда могут входить

только верующие в Бога. Вы в Бога веруете?” Мы не виделись три года, а он, получив обо мне неверные сведения, проверял меня, дерзнувшего войти в его святая святых.

*

Женщина умирала в больнице, в коридоре, и все никак не могла умереть, заживо разлагаясь. Родных не было, никого не было. Наконец, ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная, за всю жизнь, а священника нельзя было позвать. Няня исповедь приняла и утром отнесла в церковь, а к вечеру женщина умерла.

*

Когда я писал о Достоевском, я не заметил еще одного источника для "Карамазовых". Это *"Откровенные рассказы странника"*. Там рассказывается про одного князя, который ударил камергера, и тот на следующий день умер. Затем, через 6 недель он стал являться князю, а также все другие обиженные им люди. Наконец, и он осознал свои беззакония, исповедался, дал свободу служившим ему людям и пошел скитаться по России нищим, служа по дороге всем бедным. Причем, "лишь только я на сие решился, — рассказывал он, — как тут же кончились беспокоящие меня видения. Я чувствовал такую отраду и сладость от примирения с Богом, что я не могу вполне сего изобразить. *Вот здесь я опытно узнал, что значит рай и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших*". Это запись странника, дей-

ствительного факта. А вот запись в романе Достоевского о "таинственном незнакомце", тоже убившем человека и приходившем к светскому еще Зосиме. Когда, наконец, после долгих лет мучения он признался властям о своем преступлении, он сказал Зосиме: "Радость чувствую и мир... Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было... Предчувствую Бога, сердце как в раю веселится" (ч. II, кн. 6, гл. 2).

"Предчувствую Бога!" – какие духовно верные слова умел находить этот удивительный человек.

*

Говорят, что о. Влад. Криволицкий, придя домой из лагеря и ожидая скорой смерти (он знал, что у него рак), сам отпел себя, т. е. совершил над собой обряд отпевания. И недавно я понял, что это как-то возможно, что человек может вдруг отойти от самого себя и, глядя на себя сбоку, горько заплакать не о "себе", а вот об этом лежащем рядом бездыханном грешнике, сделавшем так много для того, чтобы затемнить лик Спасителя.

"Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразну, бесславну, не имущую вида".

*

Я ничего не понимаю в мировом страдании, кроме одного: в него вошел Творец мира, в него послал Он Своего Любимого Сына. Христианство учит о страдающем Боге, страдающем не по вине, а по состраданию, по любви. А если так, значит страдание не страш-

но, так как его не отделишь от любви и не отделишь от Бога. "Страдает плотию Бог..."

Вот почему мы с дерзновением просим: "Страданий Твоих общника мя покажи" (Стихира на Госп. воззв. Вторн. 2-й нед. Великого Поста).

*

Таня – молодой искусствовед – собирала иконы. У нее стали допытываться: "Уж не верующая ли ты?" Она отвергла: "Я не верующая". Потом попала в психиатрическую больницу, и вот, лежа в инсулиновом шоке, т. е. без сознания, она громко спрашивала: "Господи, есть ли Ты? Скажи мне: есть ли Ты?"

*

То, что Флоренский как-то прислушивался к Оригену, – заметили все и осудили, а вот то, что он приблизил нас *к ощущению геенны*, – мало кто заметил. Даже если он сомневался в вечности геенны, он не сомневался в том, что она есть, и подвел нас к ее краю, и дал заглянуть. А не заглянувши, мы ничего не поймем, и тем более ничего не сделаем.

*

Церковная статистика 1907 года: Епархий 66, число церквей 51.413, часовен 20.113, библиотек при церквях 19.659, монастырей мужских 622, женских 218, монашествующих мужчин 17.583, женщин 52.927 (вместе с послушниками в обоих случаях) (Ист. Вестн. 1916, 10).

В 1959 году две женщины, одна из которых и сейчас еще благополучно живет, поехали к матушке Матреше. Матушкой ее звал народ, шедший к ней во множестве за праведность, хотя монахиней она не была. Она жила в районе Куликова поля, на берегу Красивой Мечи, у стен закрытого монастыря, основанного блаж. Илларионом, русским подвижником первой половины XIX века, и тоже не имевшим никакого духовного звания. Матреше в это время было уже за 80 лет. Замуж она никогда не выходила, жила с детства в бедности со своей матерью в деревне, окружающей монастырь, и в течение более чем 50 лет занималась тем, что ходила читать псалтирь по покойникам. Когда она была еще совсем молодая, вспыхнула в той местности эпидемия холеры. "Вот отчитаю я, — рассказывала она, — всю ночь по одному, по двум, приду домой, чтоб отдохнуть, а мама говорит: "Матреша, вот приходили такие-то, они совсем бедные, им нанять невозможно, уж ты пойдешь сейчас, почитай и у них". Начну возражать: "Мама, да ведь я устала!" А она скажет: "Как же быть-то, ведь они бедные. Ты уж сходи". Я вздохну, да и пойду. Однажды мне пришлось так за сутки над пятерыми читать. А у иных помещение было такое, что только гроб стоит с покойником, из которого еще что-то все течет, совсем рядом. Мне соломку постелят для стояния, а сзади мне по ногам дверь хлопает с холодным ветром. Вот, изверно, оттого у меня ноги и больные".

Жила она в наше время в старой баньке, ушедшей уже настолько в землю, что приоткрытая дверь не закрывалась, образуя некий "лаз" в метр высотой

крохотного помещения, где на каких-то полатах она и лежала, не вставая от болезни уже многие годы. Последние 4—5 лет помещение зимой совсем не отапливалось, кроме только как от огня ее свечи, при свете которой она вычитывала богослужение по книгам и молилась. От проходящих к ней людей она ничего не брала, кроме вот этих свечей. Но всех она встречала с любовью, хотя иных обличала тут же, при всех, а кто не знал молитв, особенно "Верую", надеяла их списками, которые для нее готовили более грамотные ее ученицы. Покормить ее к ней приходила ее племянница, но в ее теплый дом, стоявший в этой же деревне, она отказывалась переехать, так до смерти и дожив в своей холодной избушке в постоянной молитве за людей.

*

Одна старая женщина недавно прислала своим близким письмо. В нем такая фраза: "Помолитесь о мне грешной, да не измет Господь души моей в день нечаяния, в день злобы".

*

Митр. Макарий говорил: "Любовь в нас вложена, как зерно" (письма С. П. 1915). Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне, так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые "новоначальные" должны ее иметь.

"Все труды и подвиги, которые *начала* своего не имеют в любви с духом сокрушенным, — тщетны и

бесполезны” (Преп. Симеон Новый Богослов, вып. 2, с. 8). Не о том ли же божественном зерне сказано в притче: ”Царство Небесное подобно зерну горчичному,... которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков... и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его” (Мф. 13, 31–32).

Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда-то как укрывающиеся в их совершенной любви.

*

”...начало греха – гордость” (Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 10, ст. 15).

”Гордость есть себя-любие, само-любие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, созидаящая град Божий, есть начало и источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящие Вавилонскую башню, есть источники всех грехов” (Блаж. Августин, ”О Граде Божиим”, П.Л., 41, 43).

”Любовь есть корень, источник и мать всего доброго” (Св. Иоанн Златоуст). Все пороки исходят от гордости, а все добродетели – от смирения и любви.

*

О Вл. Соловьеве говорили, что у него был замечательный смех и что вообще он как личность был гораздо интереснее, глубже и ценнее, чем как писатель. Действительно, многие его работы кажутся нам теперь, после всех пережитых катастроф, поверхностными и бедными. Для понимания Церкви неизмеримо больше дает Хомяков, для необходимого пости-

жения зла больше получишь от Достоевского. Но как личность Соловьев был, быть может, выше их обоих, духовнее их. В профессорских журналах он печатал холодные, бестактные и несправедливые статьи против славянофилов и в то же время писал удивительные по духовности прозрения стихи. Но стихи его мало кто знает. Написал он и одну удивительную вещь в прозе: "Повесть об Антихристе". Написал и умер, а эта вещь осталась неумирающей, формирующей сознание многих. Помню, на могиле его в Новодевичьем монастыре и в прежнее время приходящие писали на его могиле строчки из его стихов, например:

Смерть и время царят на земле:
Ты владыками их не зови,
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Крест был деревянный и был весь исписан.

*

Не могу удержаться, чтобы не вписать из еп. Феофана эти пять выписок:

"Лучше ничего не загадывать — ни в монастырь, ни за монастырь, ибо не в том числа. Внутренность свою надо уязвлять и тревожить, чтоб не уснуть. Во сне Самсона связали. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское будь или не будь — все равно. В сердце монастырь — это Бог да душа" (Еп. Феофан Затв. "Письма о христ. жизни", СПб, 1880, с. 3). (Значит и "монастырь в миру" — это "монастырь в сердце".)

"Монашество есть, с отречением от всего, непрестанное умом и сердцем пребывание в Боге..."

”...Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” (Кол. 3, 3) ... ”Не черная ряса и клобук есть монашество, даже не жизнь в монастыре. Если бы все сие могло измениться (т. е. не стало бы ни ряса, ни монастырей), то монашество во веки пребудет, пока будет на земле человек-христианин” (Еп. Феофан Затворник, там же, сс. 16–17). ”Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель... Самоотвержение — это только средство, а цель — пребывание в Боге” (там же, сс. 10, 207). ”Церковь существует для Богообщения в Господе Иисусе Христе, и она постольку истинною является, поскольку осуществляет сие единство” (там же, сс. 405–406).

”Что есть Церковь по духу своему? — Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу Иисус Христом, Церковь есть лицо богослужащее, жертвующее, святительствующее непрерывно, разумно, духовно. Всякий вступающий в нее должен стать с нею единым духом, быть тем в *малом*, что она в *большом*...” (там же, с. 324), (т. е. чтобы быть в святой Церкви, надо самому стать ”малой церковью”).

*

Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика г. Загорска, лет 10–11, Боря, Миша, Сережа пошли под вечер 27 августа, т. е. под Успенье, в сторону Черниговской в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили, не видя выхода. Кто-то из них сказал: ”Ну что ж, надо помолиться”. Это было поручено Мише: ”Миша, ты помолись, ты умеешь”. Миша несколько раз перекрестился.

После этого они опять пошли искать дорогу, но все же не находили. И тут они увидели, что сквозь ветви уже темного леса показался мигающий огонек. "Наверно, сторож или лесник", — сказали они и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека "в шапке, какую носят батюшки". В правой руке у него был большой крест, а в левой "что-то, чем он все время помахивал" (так они, очевидно, восприняли кадило). Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: "Молись, молись". И как только он "замолился", человек "в шапке, как у батюшки" начал осенять крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу и шли по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги собственно, под ними не было, а шли они по дороге света. И подходя к своим домам, они решили: "Завтра в шесть утра пойдем в церковь".

Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что преподобный осенял не только их, но и всю Лавру, свой "град", и некоторые, уже решившие эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой.

*

Небесный мир может быть лучше всего нами осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля или Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись — это то, что в архитектуре назы-

вается "ложными окнами", сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка, отмечая соблазн телесной красоты, проникнуть в тайну Божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через "юродство проповеди". Вот почему проповедь древней иконы "не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы" (1 Кор. 2, 4).

Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час нашей духовной жизни нас начинает влечь к познанию иного мира, к тому, чтобы подойти к узкому, узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир.

*

Отца Дмитрия Крючкова знакомые звали "садовником", т. к. отойдя от церковного служения в эпоху 30-х годов, он действительно работал несколько лет садовником в каком-то высоком учреждении. Поскольку он одновременно оставался духовным сыном и "послушником" о. Серафима (Батюгова), эта его садовническая работа не спасла от переезда в 46-м году в Сибирь. Там я его и узнал. Это был человек не книжный и, в каком-то смысле, мирской. Он любил выпить немного водки и много курил. Но он был человек прямой, нелукавой веры. Помню один его рассказ. Еще до отхода от служения он страдал невыносимыми головными болями, доходившими почти до потери сознания. Однажды такая головная боль началась во время торжественной соборной службы в московском храме. Шла всенощная перед праздником преп. Серафима и все служащие священ-

ники — их было много — стояли парами на середине храма перед образом преподобного. ”И тут я почувствовал, — рассказывал мне о. Дмитрий, — что больше терпеть не могу. Я вдруг вышел из своего ряда под удивленные взгляды всех служителей, подошел к горевшей перед иконой лампадкой, опустил в нее палец и помазал лоб. Боль прошла в ту же секунду, пока я еще мазал, и я опять встал на свое место. С тех пор болезнь не возвращалась”.

Тут удивительно не столько чудо, сколько прямая связь его с прямой верой, не боящейся себя обнаружить, не думающей о нарушении общественного благочиния или приличия. Только исповедничество веры, в том числе и такое, какое совершил о. Дмитрий, может спасти человека и мир.

*

Вслед за о. Дмитрием Садовником встает в памяти о. Иван-столяр. Он был из Касимова, где и столярничал, не служа в церкви, так как был из так называемых ”непоминающих”, т. е. ушедших в какой-то раскол. Говорят, ученики и сторонники св. Иоанна Златоуста, после того как его выслали и, по существу, обрекли на длительную смерть, тоже ушли в раскол, который держался лет 30, пока останки замученного не вернулись торжественно в Константинополь, при новом императоре.

Отец Иван был совсем русский старичок, с удивительно иконописным лицом. Он был очень тихий и кроткий, но в вопросе о поминовении был тверд и даже настойчив. ”Это какой-то начетчик”, — с досадой говорил мне о. Дмитрий. Помню обе их фигуры, идущие рядом, фигуры бородатые и абсолютно го-

лые. Это нас ведут в баню, в те блаженные минуты, когда получаешь тепло и свободу в пределах нескольких шаек почти горячей воды. А разговор их на пути был, конечно, о поминовении.

Потом была та этапная камера, о которой я писал в воспоминаниях, где люди задыхались от тесноты, где "капелла" исполняла для меня "Однозвучно звенит колокольчик", и где я впервые отметил Рождество Христово по новому стилю с лютеранином.

Вереницы людей прошли мимо, прошли мимолетно, но так коснулись сердца, что сердце пошло куда-то за ними, бездумно и неудержимо, не желая их оставлять, стремясь снова найти их, но уже в пристанище Христовом. Я не богослов, и не знаю, что это такое. Может быть, надо не знать, а идти.

Этап от Москвы до Новосибирска был тяжелый. Где-то на пути нас построили и повели к пересыльной тюрьме. Овчарок, кажется, не было. Мы с о. Иваном замыкали колонну, а сзади нас был только один маленького роста солдатик с добродушным лицом, но, конечно, с автоматом. И вдруг, о. Иван упал, не споткнулся, а обессилел, лежал на снегу с абсолютно белым лицом. Я подумал: это лицо святых мощей. Кое-как мы его подняли. Солдат не только затревожился из-за задержки, но и явно пожалел старика. "Вставай, отец, вставай!" Потом была в этом Новосибирске ночь под Рождество, уже по старому стилю. Мы с ним лежали рядом, и когда наконец умолк, уставши, профессионал рассказчик уголовно-похабного эпоса, и кое-где уже захрапели, тогда о. Иван начал потихоньку петь ирмосы Рождественского канона: "Христос раждается, славите! ...Христос на земли, возноситеся!.." — "А вот восьмой-то ирмос и забыл. Все слабеет, и голова. Не дни мои, а часы соч-

тены. Может ты, Сергей, помнишь?" Мне было очень неприятно, но и я не помнил. "Чуда преестественного росодательная изобрази пещь образ..."

Дня через два мы расстались. Дальше на Красноярск я поехал с поминающим о. Дмитрием.

*

Перед тем как начать с нами обед или ужин, о. Серафим (Бат.) сам обычно читал молитву. И после окончания сам тоже читал, причем не одну и не две, а иногда много разных молитв, и с особенной любовью, явно ведя нас туда же, после обычной человеческой еды, в какие-то сверхчеловеческие дали. Обычно эта вереница послеобеденных молитв начиналась с особенно часто им повторяемой: "Едят узоби, и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его. Жива будут сердца их во век века".

В связи с этим вспоминается мудрая формула аввы Силуана Афонского о норме еды: "Есть надо столько, чтобы после еды хотелось молиться, т. е. если пища не нарушает какой-то путь молитвенной непрестанности, то она нечрезмерна".

*

Однажды, когда за обеденным столом было много народа, о. Серафим рассказал некоторые случаи из своего соприкосновения с "миром духов злобы поднебесных". Кое-что мне удалось запомнить. "Пришла ко мне на квартиру одна знакомая мне бесноватая. Поговорив с ней немного, я встал и пошел к шкафу, где у меня стоял святой елей. Слышу, она говорит: "Князь, а он меня маслом хочет мазать".

Одна его молодая духовная дочь ему рассказывала. "Всю ночь мне снился страшный мужчина. Утром я пошла на работу и вижу, что он идет ко мне навстречу по тротуару и говорит: "Хорошо я тебя сегодня помучил?"

Помню еще, как о. Серафим сказал: "Если правильно относиться к тому, то можно не бояться бесов". Так учили и древние Отцы.

*

Схи-игуменья Мария, о которой я уже упоминал, пошла в монастырь лет 16-ти. Отец ее был богатый купец, а матери она не помнила. Была у нее добрая и верующая по-настоящему няня. И вот отец решил, что пора ее выдавать замуж. Был назначен день, когда придет сваха с женихом и будут "смотрины". В этот день она, печальная и о замужестве своем не думающая, должна была надеть какое-то особенное парадное платье из красного атласа. В этом платье она и сидела одна в большом двухсветном зале, ожидая гостей и жениха. Гости задержались, а она, положив руки на стол, а на руки голову, неожиданно заснула. И вот она видит, что открываются двустворчатые двери и в комнату входит высокая Госпожа в таком сияющем одеянии, что ей стало страшно. Госпожа прямо подошла к ней, взяла ее левую руку и трижды намотала на нее четки со словами: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Девушка проснулась и бросилась к няне с рассказом о видении. Няня сразу и твердо сказала: "Никаких женихов! Пойдем наверх к себе". Там она велела повязать щеку платком, а сама пошла к отцу и объявила, что "у девочки заболели зубы". Смотрины были отменены, а вскоре отец,

устрашенный видением, сам отпустил ее в монастырь.

Я только один или два раза был у матушки Марии, уже в 50-х годах. Она так поддержала меня в это время большого моего одиночества.

*

Мой отец накануне принятия священства был чиновником Московского Окружного Суда и жил со своей молодой женой где-то около Сивцева Вражка. Случилось так, что их знакомая — монахиня Заиконоспасского монастыря — впала в тяжелый плотской грех, в результате чего была изгнана из монастыря, подверглась многим поношениям и лишилась всякой поддержки. Была она молодая красавица. Моя мать особенно запомнила, что волосы у нее были почти до полу. И вот приходит мой отец домой и говорит, что деваться ей некуда и что надо ей помочь. "Будешь ли ты против, — спросил он, — если мы приютим ее у себя?" — "И тут, — рассказывает мне мать, — я заплакала и бросилась ему на шею в чувстве какой-то благодарности". Так изгнанная поселилась у них и была опекаема.

Мой отец не был ни в семинарии, ни в академии, но можно сказать, что тут он сдал свой экзамен и мог ехать принимать священство. Посвящал его замечательный архиерей — Алексей, архиепископ Виленский.

*

Мне кажется, что если бы в Символе вместо слов: "и страдавшего, и погребенного, и воскресшего"

было сказано: "и страдавшего, и умершего, и воскресшего – была бы сильнее передана действительность вочеловечения Христа. Воскрес в третий день, Он, конечно, не по Божеству, которое никогда не умирало, а по человечеству, так что словом "воскресшего" а также словом "страдавшего" действительность вочеловечения уже передается. Но везде, и в Писании, и у Отцов Церкви подчеркивается факт смерти Христовой, и мне кажется, это делается для того, чтобы через нее, как через крайнюю точку Его человечности, еще ослепительней засияла Его Божественность. Слово же "погребенного" догматически ничего не доказывает и передает только факт. Но есть ряд великих фактов из жизни Спасителя, например, Крещение, Преображение и другие, не нашедших отражения в Символе.

"Христос Иисус умер, но и воскрес" (Рим. 8, 34).

"Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего" (2 Кор. 5, 15).

"Иисус Христос есть первенец из мертвых" (Апок. 1, 5).

Чем ближе к человеку, да и ко всему миру, – Голгофа, тем все больше им нужно Откровение о смерти Христовой, неотделимой от Его воскресения. Чем глубже мы познаем в свете Божественности Христа Его человечество, тем спокойней и уверенней становится на сердце, потому что ведь и мы "всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем" (2 Кор. 4, 10).

"Я есмь Первый и Последний, и живой; я был мертв и се жив во веки веков, аминь" (Апок. 1, 17–18).

*

”Для того Слово Божие сделалось человеком, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим” (св. Ириней, конечно, хочет сказать: ”тело Церкви Его”) (Св. Ириней Лион. ”Против ересей”, 1871, кн. 3, гл. 6, 19, 20).

У св. Ипполита Римского (II век) есть мысли о Церкви такой же глубины: ”Церковь, *всегда рождая Христа* — мужское и совершенное отроча Божие, проповедуя Бога и человека, учит народы все сему” (Толков. на Апок. ”О жене, облеченной в солнце”).

*

К современному экуменическому движению приходится иметь как бы двойное отношение.

Та форма, в которую оно вылилось, для нас неприемлема. И дело здесь не просто в форме. Если есть ”Совет Церквей”, то это означает, что в истории до сих пор еще не было никогда Церкви, т. е. зачеркивается все первохристианское созидание ее и все последующее отеческое учение о непрерывной жизни единой апостольской Церкви.

”Экуменическое движение по своему существу это путешествие в неизвестность”, — сказал ученый немец и экуменический деятель Лука Фишер (”Экуменич. очерки”, Франкфурт-на-Майне, 1972).

Мы можем мыслить только апостольски: ”Бог один и Церковь одна”, идея какого-то церковного интернационализма кощунственна. Неверие в ”одну Церковь” есть неверие в одну и единственную Пятидесятницу. Современный экуменизм — это еще не

вселенское христианство, а только некое вселенское объединение лютеран и им сочувствующих, "пан-лютеранство".

"Совет Церквей" есть "Совет неверия в Церковь", или, как говорил Хомяков, "призрак единства". Он же говорил: "Церковь не государство, потому не может допускать условное соединение... Церковь не есть гармония разногласий... В десятке различных христианств, действующих совокупно, человечество с полным основанием опознало бы сознанное бессилие и замаскированный скептицизм" (2-й том).

Но на знании этого нельзя останавливаться. Тот же Хомяков говорил, что "сокровенные связи, соединяющие Церковь с остальным человечеством, нам не открыты". Но это означает, что они существуют и могут быть открыты. Сама жажда в лютеранстве христианского единства уже говорит о жажде Церкви, а жажда Церкви не есть ли начало ее?

Недавно я слышал, что будто бы именно в недрах лютеранства, но вне связи с "советом церквей", возникло недавно движение "монастыря в миру", "белого иночества", то есть внутреннего подвига.

Конечно, "Бог силен из камней сих создавать детей Авраама". Но для этого чуда надо, чтобы эти "камни" как-то захотели стать "детьми".

Вот все дело сейчас сводится к этому: искренна ли в лютеранах и в нас эта жажда Церкви? Или же мы только подражаем миру, спеша на самолетах на международные экуменические съезды?

Ведь все же знают: где-то в религиозных низах живут сектанты, считающие нас, православных, "неверующими" и "идолопоклонниками", а где-то наверху, в залитых электричеством залах, в это же самое время сидят образованные, сытые люди и благопо-

лучно разрешают экуменические проблемы. Соединяются христиане не "экуменически" и не "организационно", а только благодатно. Если будет в них жить благодать, то она научит и организации. А для стяжания благодати нужны не съезды, а подвиг святости, который состоит в личном покаянии и в личной любви к Иисусу Христу.

*

Матушка Смарагда рассказывала:

"Сидит одна женщина на базаре, торгует чем-то от своего огорода. Платок натянула совсем на глаза: во-первых, солнце печет, а во-вторых, чтобы меньше отвлекаться на окружающую суету "творит она молитву Иисусову". Сидит она, опустив глаза, молится, и вдруг слышит, что подошедший нищий старик говорит ей: "А ты бы попроще, — только "Господи помилуй", так-то тебе легче будет". Сказал и пошел. Видела она его в первый раз. Молитву творила, конечно, про себя: слышать он не мог. Вот какие у нас бывали и торговки, и нищие", — в заключение сказала матушка Смарагда.

*

Почему сейчас же после слов Символа о вере "во едину святую, соборную и апостольскую Церковь" мы произносим слова: "исповедую едино крещение"? "Едина" или одна Церковь и одно крещение. Почему именно об этом напоминает Символ, а, скажем, не о причащении или о ином таинстве? В первые века христианства было много споров — перекрещивать ли еретиков или отпавших и потом вновь прихо-

дящих к Церкви? И восторжествовала мысль: перекрещивать нельзя, так как благодать крещения, если оно было совершено в определенной форме, на этих людях осталась, несмотря на их дальнейшие заблуждения. И сейчас Церковь не перекрещивает некоторых весьма далеких от нее сектантов, получивших это крещение в своей еретической общине. Крещение есть дверь в Церковь. Но в таком случае, если сектант не перекрещивается, то не означает ли это, что он в каком-то сокровенном смысле уже прошел эту дверь, что он сохранил и в сектантстве эту связь с Церковью? Наверно, это и есть догматическое подтверждение формулы Хомякова о непостижимых связях Церкви с "прочими" христианами мира. Для католиков и для некоторых православных Церковь — это духовенство. По посланию Восточных патриархов 1848 года, Церковь — это весь православный народ. После смерти мы, может быть, увидим, что ее границы еще шире...

*

Хомякова надо знать, а многие знают о нем только то, что сначала он был гвардейским офицером, а потом основателем какого-то, по их мнению, "романтического богословия".

Вот кусочек из совсем уже неизвестных воспоминаний о нем Ю. Ф. Самарина:

"Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся.

Утренняя заря едва-едва освещала комнату. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доносились сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день вышел он к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь” (Татаевский сборник, 1899).

*

Архимандрит Федор (Бухарев) считал, что основа греха католичества совсем не в главенстве папы, а в уклонении от главенства Христа. Христос — это действительность Голгофы и воскресения каждого в Него верующего, это сверхъестественное преобразование человека еще в этой жизни. И вот человек и Церковь, в смысле ее руководства, страшась безмерности этого пути, стараются уклониться в то, что в общем ни к чему не обязывает, в чем нет терновых шипов. А их нет в любой внешности, будет ли это только внешний экуменизм, или внешняя обрядность, или мертвенная подзаконность, т. е. упование на спасение от своих подвигов и дел (“Ферапонтовщина”), или слепое подчинение иерархическому авторитету, или даже наивное византийское типиконство.

Во всем этом мы уклоняемся и от простоты во Христе, и от главенства Христа. И наблюдая жизнь, мы видим, что и в Православии, в его религиозных

типах, эта жизнь полна таких уклонений.

Поэтому и произошло разделение, потому мы никак и не можем вновь соединиться. Для соединения мы все, и они, и мы, вновь должны вернуться к главенству Христа.

*

Наши опасения за молодых христиан, конечно, имеют основания. Иногда они слишком слепо принимают все, что передала им наша смутная церковная эпоха, не различая внешнего от внутреннего, условного от безусловного. Иногда же они принимают христианство только как наиболее умную философскую теорию, т. е. не входят в него как в трудную жизнь Церкви.

Но не надо эти опасения преувеличивать. Мы видим и другое. Сама благодать учит и ведет людей в наши дни. Часто поражаешься, что какой-нибудь аспирант, всего только несколько лет назад узнавший и принявший христианство, понимает его и говорит о нем лучше, глубже, чем, скажем, Вл. Соловьев.

Бог знает избранных Своих.

*

В конце этой войны 6—8 солдат шли домой из окружения к своим на восток. Шли и дорогами и целиной, чтобы не попасть к немцам. К вечеру одного дня они, совсем обессиленные, по колено в снегу, вышли на какое-то поле. "Верно, здесь нам и замерзать", — сказал кто-то. Вдали увидели огонек и пошли на него. Это была совсем крошечная избушка, стоящая на горке среди поля. Кто-то из них постучал и вошел:

там сидел старичок, занятый подшивкой валенок. Просить не пришлось: старичок велел сейчас же входить и ночевать. Все вошли и повалились на пол: в тепло и в сон. Потом кто-то открыл глаза. Было уже утро. Все они в куче лежали не на полу, а на земле, слегка запорошенные снегом. Над ними была не крыша, а небо, и в его тишине где-то близко раздавался благовест. Это было в Западной Украине. Они вскочили и пошли на благовест. Когда они вошли в храм, кто-то из них громко сказал, указывая на икону св. Николая: „Вот и хозяин наш”.

А в начале войны немцы были недалеко от Загорска. После ночной смены на заводе одна жительница этого города шла домой. Это было как раз в день преп. Сергия. Солнце только поднималось, освещая траву, цветы. Но ни цветы, ни солнце не замечались от великого страха перед приближением фронта: в доме у этой женщины были маленькие дети. И вот ее встречает незнакомая женщина, они идут вместе, и незнакомая ей говорит: „Ничего не бойтесь. Мы под защитой преподобного. Он сказал, что „град его будет во веки цел”. А чтобы вам это было понятно, я расскажу. В 20-х годах здесь жил Зосимовский старец о. Алексей. Здесь он и умер в конце 20-х годов. Когда начали открывать мощи, старец очень страдал об этом и много молился, недоумевая — почему Господь попускает такому делу? Однажды вечером, когда он встал на молитву, рядом с ним стал преподобный и сказал: „Молись три дня и постись, а после этого я скажу тебе то, что нужно”. В следующие два дня, когда о. Алексей вставал на молитву, снова вставал с

ним рядом преп. Сергей. О. Алексей эти дни питался просфорой. На третий день преподобный сказал: "Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, дабы град мой во веки был цел". И тогда, — добавила рассказчица, — думали, что это о сыпном тифе, который в те годы свирепствовал, а вот теперь поняли, о чем он говорил".

Женщина, выслушавшая этот рассказ, пришла к своему дому, еще спящему, села на крыльцо — потрясенная и успокоенная, — и тут впервые за это утро увидела и цветы и солнце.

*

Преп. Сергей был святой в XIV веке, о. Алексей Зосимовский в XX веке. В Церкви всегда есть святые.

"Каждый из нас, — говорил Хомяков, — постоянно ищет того, чем Церковь постоянно обладает".

Святость Церкви не аллегорическая, т. к. она живет в реальных людях или для реальных людей, сколько бы их ни было, хотя бы только "два или три, собранных во имя Мое".

Но входим ли мы в это число "двух или трех"? Ищем ли мы, как надеялся Хомяков, благодати Святого Духа, воцерковляющей нас, освещающей нас, т. е. делающей нас святыми? Знаем ли мы хотя бы о том, что надо молиться о стяжании Святого Духа, то есть и своей святости?

"Утешителю, моего смысла, яко благ, скверну очистив, святости Твоя покажи (мя) исполнена".

”Святой Душе... святость всем подаждь в Тя верующим”.

”Прииди к нам, Душе Святой, причастники Твоя содеявая святости, и света Невечерняго, и Божественныя жизни, и благоуханнейшего раздаяния. Ты бо река Божества, из Отца Сыном происходящий” (Канон Святому Духу, глас. 1, песни 1, 8, 6).

*

Недавно я видел такую молитву Святому Духу:

”Душе благий и истинный. Прииди ныне с высоты святыя Твоя и вселися в ны, отыми от нас сердце каменное, и даруй нам сердце плотяное, — и благодатным веянием Твоим потреби в нас глетворные страсти, и дух правый обнови во утробах наших. Да облагодетельствованные Тобою, мы единомысленно воскликнем: видехом Свет Истины, прияхом Духа Небесного. Ему же со Отцем и Сыном подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь” (Записано на молитвослове Киево-Печерск. Лавры, Киев, 1876).

*

Отцы учат, что в словах Книги Бытия о начале сотворения мира, когда была еще ”тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою”, надо видеть откровение о творческом акте Святого Духа.

Митрополит Филарет Московский пишет: ”Действие ипостаси Святого Духа изображается (здесь) словом еврейским (таким-то), которым в другом месте (Втор. 32, 11), Моисей выражает действие птицы, гнездящейся или сидящей с распростертыми

крыльями над птенцами и их согревающей” (Записки на книгу Бытия, изд. 1876, с. 7).

Дух Святой Своим божественным теплом *выводил жизнь* из ”безвидности”, ”тьмы”, и ”воды”. Вот где начало тепла мира! А нас хотят соблазнить дарвинизмом.

*

Чем ближе конец жизни, тем сильнее любовь к умершим. Не есть ли это предчувствие встречи? Чувствуешь с радостью не только их, но и обстановку, с ними связанную, какие-то вещи, старое Евангелие и кресло, тропинку в лесу, запах сена, колокольный звон. Ничто, очевидно, не умирает из того, что как-то нужно было человеку на земле, что как-то вело его к Богу.

”Все от Него, Им и к Нему”. Если, как сказал Дионисий Ареопагит, — ”все вещи предсуществуют в Боге”, то это значит, что все благое не может, и сейчас, и потом, и в будущем, не существовать в Боге. Мы все встретим, — все тепло земли, очищенное и святое, охватит нас и обнимет, и мы уже никогда не расстанемся с ним. Мы идем не к индийской нирване, но в Дом Божий, в котором будем искать глазами и найдем всех, кого успели полюбить на земле.

*

Святость есть действительность причастия Святого Духа. Поэтому весь вопрос о Церкви сводится к ее святости, — к ее наполненности Святым Духом,

к наполненности людей, ее составляющих, Святым Духом.

Если Церковь не святая, она уже и не единая, и не соборная, и не апостольская.

В лице своих представителей Церковь — мы видим — теряет свою святость, и человек поэтому все меньше в нее верит, и она все меньше значит для мира. Международными религиозными съездами и их призывами к социальным реформам или действиям человека не обманешь. Слишком много он за свою горькую историю уже видел и слышал умных съездов и прекрасных программ. Человек знает, что спасти его может только Бог Своею Кровию и Своею Силою, которую, как бы в ответ на эту кровь, должны были любовью и подвигом воспринимать все люди. Поэтому так страшно оскудение святости в мире и в Церкви. Мир не хочет подвига и не хочет любви.

Когда круг будет замыкаться, на земле останутся непобежденные в своей святости "двое или трое" — Церкви Христовой, и свет их святости будет такой, какой уже невозможно будет вместить этой истории. Это и будет ее конец. Эти непобежденные "два" покажут, что Царство Божие и Воля Божия осуществились в них "и на земле, как на небе", и что все человечество могло бы стать таким же, как и они.

*

Мат. Смарагда была из монастыря, который в двух-трех километрах от Усмани, где мы жили. Монастырь был основан келейником св. Тихона Задонского, и в нем, по его закрытии, хранились некоторые реликвии Святого. В наше время, т. е. в XX

веке, с этим монастырем были связаны два юродивых: Алексей и Христина. К юродивым особенно относится древнее определение монаха: "Монах тот, кто, пребывая в отдельности, живет в единстве со всеми людьми". Можно сказать, что если не живет в этом единстве, то он и не монах. И еще было в древности сказано: "Схимничество в том, чтобы молиться за весь мир". И они молились. Куда это все ушло?

Алексей, когда приходил в монастырь, его на ночь помещали в "хлебную". Однажды одна монахиня рано утром решила посмотреть, что он делает, так как он долго не выходил. Уж не помер ли? Заглянула, а он стоит с воздетыми руками, молиться, от пола на воздух поднятый. Она в страхе убежала. А когда днем они где-то встретились, он только погрозил ей пальцем молча. Вот такие могут и обличать мир после молитвы за него, спасая его. Что-то грозное бывает тогда в их глазах. Я видел это в 21-м году у Гаврюши в Оптиной. Что-то такое мелькало иногда и у Павла, которого я встретил в Минусинске в 47-м году.

*

Павел для меня очень дорогой святой человек. Собственно, никаких типичных проявлений юродства у него не было. Просто он шел среди людей, не замечая их требования ко всем быть обычными, быть как все, не замечал, весь погруженный в ему ведомую глубину. Поэтому он мог, когда шел по улице и ему подавали милостыню, остановиться у какого-нибудь магазина или учреждения и долго, долго молиться, очевидно за подавшего, или, может быть за тех, кто не подает.

Он неожиданно появился в городе, может быть из

лагеря, в какой-то рваной одежде, весь запущенный, еще совсем не старьй, но изможденный чем-то перенесенным. Изможденность была явной, но в нем совсем не было угрюмости. "Не угрюмничайте" – вспомнились мне слова еп. Феофана (Затв.).

Я как-то увидел его сидящим на земле недалеко от церкви и положил ему на колени несколько яблок, а он впервые поднял на меня большие глаза и тихо с любовью сказал: "Спасибо, брат!" Потом я встретил его на базаре и спросил имя и попросил помолиться. А в последний раз я видел его в ночь на Великую Субботу в храме, когда собранные вокруг Плащаницы люди стояли со свечами и действительно провожали в смертный путь своего Спасителя. "Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим"... "Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне"... Он стоял немного впереди меня, без свечи, и я послал ему свою. И он обернулся вдруг, и, не поднимая опущенных глаз, твердо осенил свечой мое пространство крестообразно.

Почти 30 лет прошло, а я все еще чувствую тепло этой свечки от него ко мне.

*

Мы очень многого не знаем. Ясно нам только одно: ночь истории подошла к концу. Флоренский где-то сказал, кажется, так: "На маковках Святой Церкви уже давно видны розовые отсветы Грядущего Дня".

Может быть, вся задача нашего уходящего поколения в том и есть, чтобы передать молодым христианам это чувство рассвета, чувство приближения сроков. Мы воспитывались на Оптиной пустыни, Досто-

евском, Соловьеве, Флоренском. Самое памятное мое воспоминание юности — это вечерняя служба на Страстной неделе в весенней Москве, когда поют "се Жених грядет в полунощи". В те вечера наша эпоха с чем-то прощалась, к чему-то грозному и светлому готовилась.

Очень мало сил имело наше поколение, очень ограничено было его знание. Оно все, в общем, только в знании совершения истории. Это, конечно, и не то слово — "знание". Это, как сказал Блок,

Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно радость придет,
И пребудет она совершенной.

*

Религиозная правда и всегда, а особенно в наше время, может иметь силу только в словах, доказанных жизнью говорящего. Если не доказал, то и не говори. Миру нужны не ораторы и не философы, а святые. "Царство Божие, — сказано нам, — не в слове, а в силе".

Когда мне было 20 лет, я вошел в приемную Оптинского старца Нектария, в скиту. В приемной кроме меня никого не было. Я ждал недолго, удивляясь какой-то неслыханной тишине этого места. Быстрой походкой вышел ко мне старец, которого я видел впервые, благословил меня и сразу, без всякой подготовки и без каких-либо обращений с моей стороны сказал: "Есть ли у вас невеста?" И, не дожидаясь ответа, продолжал: "Поезжайте к святейшему патриарху Тихону и просите его посвятить вас. Перед вами открывается путь священника".

Я молчал, ничего подобного не ожидавший, ошеломленный.

”Не бойтесь, — сказал он, — и идите этим путем. Бог вам во всем поможет. А если не пойдете, испытаете в жизни большие страдания”.

Он тут же встал, благословил меня и ушел.

Это был первый призыв на подвиг, и я не пошел на него.

Второй призыв к нему был еще более осязаемый, в 1939 году, от другого старца, о. Серафима (Батюгова), который, кстати сказать, одевал о. Нектария в схиму... О. Серафим уже не говорил о священстве, он говорил только о твердой жизни и вере, и около этого старца я не чувствовал смущения, но чувствовал силу и решимость. Помню, я написал о себе стихи и он их настолько одобрил, что даже переписал и кому-то давал.

Будет время и я замолчу,
И стихи мои будут ненужны.
Я зажгу золотую свечу,
Начиная полночную службу.

Будет ночь, как всегда, велика,
Будет сердце по-прежнему биться,
Только тверже откроет рука
За страницей другую страницу.

И, начавши последний канон,
Я открою окно над полями,
И услышу, как где-то над нами
Начинается утренний звон.

И все-таки я не пошел на призыв. Стихи остались стихами, и чтение канона не началось, и сбылось слово старца Нектария о страданиях. И вот мне теперь хочется просить у всех прощения, всем поклониться.

Тяжкую вину несет всякий, кто, получив знание и Света и Тьмы, не определяет себя к Свету. Достоевский сказал где-то: "Каждый из нас мог бы светить, как "Единый безгрешный", — и не светил!"

И мне ясно, что в каком-то смысле я умираю в бесплодии. Это я ощущаю не как самоуничтожение, а как характеристику.

Больше того: это как-то уживается во мне с надеждой на прощение и благодарностью за жизнь.

*

Да! Иногда неудержимая благодарность наполняет сердце за жизнь, за эту Землю, — "подножие ног Его", за каждую улыбку, встреченную где-нибудь на улице.

Идешь иногда в магазин и, точно после причастия, шепчешь: "Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже".

Мы видели много зла в мире и в церковной ограде, а еще больше в самих себе. Но вот, почему-то, в душе остаются одна благодарность и одна надежда. Наверно потому, что Господь Бог наш "все покрывает, всему верит, всего надеется", и наше воздыхание о правде, может быть, принимает за самую правду. Такова Его милость! Как говорил Макарий Великий, "душа присозидается к Церкви не потому, что сделала, а потому, что возжелала".

Господи! Пусть будет так!

*

И еще есть одно слово утешения, слово обетования.

В том же воспоминании о моем отце его духовной

дочери (написанном в виде письма) есть такие строки:

”Хочется написать о его последней проповеди. Он говорил о Божией Матери, говорил весь светящийся радостью и победой, а окончил словами Дмитрия Ростовского: ”Радуйтесь, грешники! — праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников — Сама Божия Матерь”. Это ношу в сердце (пишет эта духовная дочь), когда не мертвая моя душа, на этой радости кончаю, мои любимые, эти воспоминания”.

*

”Архиепископ русской православной Церкви Василий Брюссельский, характеризуя суть модернистского течения, развивающегося в англиканской Церкви, назвал его *”христианским атеизмом”*, так как эта обновляющая религия отрицает, по словам архиепископа, ”самые основы христианского вероучения — веру в личного Бога, Творца и Промыслителя, веру в Божество Христа, в Его воскресение и будущую жизнь” (*”Известия”*, 26 июня 1969 г., № 114).

Основа ”христианского атеизма” — неверие в христианство как в чудо, перемещение его с пути в Вечность на дорогу земного благоустройства. Легче всего заменить путь на Фавор, путь благодатного преобразования естества человека в его божественное сверхъестество — заботами о земных болезнях человечества, а Голгофу Христову — общественной или научной работой. Но это будет уже не христианство, а неверие в него.

Но только ли дело в англиканстве? Там, может быть, не побоятся как-то открыто сомневаться в догмах, но ведь можно в них открыто не сомневать-

ся, а внутренне им совсем не верить и не жить догмами. Догмат о воскресении мертвого тела Христа только тогда делается для человека догматом, когда он — этот человек — сам начинает приобщаться, через свою голгофу к Христову воскресению, когда он сам умирает и сам воскресает. Когда же внутри — неверие в догматы, тогда не начинается ли "христианский атеизм" еще и при наличии догматической внешности? Не есть ли христианский атеизм всего лишь последняя стадия древнего общецерковного обмирщения?

Сторонники этого лжехристианства свысока называют христиан, верующих по-прежнему, т. е. так, как, скажем, верили апостолы, — "традиционалистами, сторонниками архаического христианства". Я, когда прочел об этом, горько стало мне на душе: "Зачем, — подумал я, — Господи, так долго я живу?" И тут почему-то вспомнилось мне стихотворение Пастернака о его предчувствии преображения и того, как на его похороны шли друзья по лесу.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому —
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

*

Эсхатологизм, апокалипсическое мироощущение, столь свойственное русской душе, может быть иногда

только маскировкой духовной лени и духовного себялюбия. "Если все так плохо и скоро конец мира, то буду заниматься только собой, своим спасением". Достоевский говорил, что это есть теория жизни в свое "духовное пузо".

Первохристианство оставило нам противоядие от этого зла: свое учение (никогда соборами не осужденное) о возможности "первого воскресения", указанного в загадочной 20-й главе Откровения, т. е. какого-то торжества христианства на земле. Если возможно, хотя бы только в общецерковном масштабе (а не в общечеловеческом), и при этом на ограниченное историческое время (символически названное "тысяча лет"), торжество Христовой правды еще на этой земле, то отсюда следует, что каждый из нас должен как-то участвовать в этом уповании и работать для его осуществления. И если мы когда-нибудь искренно и непредвзято принимали к смыслу слов "да будет воля Твоя и на земле, как на небе", то нам делалось ясно, что недопустимо замыкание в себе, независимо от того, правильно ли первохристианство понимало слова Откровения, или неправильно.

Мы должны носить в себе какое-то воздыхание о земле, о претворении правды Божией во всем земном: в личной и общественной жизни, в науке и искусстве, независимо от того, — осуществится ли эта мечта или нет. Это не догмат, а именно воздыхание и молитва.

"Во Христе возглавлено все человеческое, а значит, все может быть предметом ваших занятий, изучения, участия, но при свете Христовом, при направлении души к Тому, Кто принял на Себя все человеческое" (архим. Федор Бухарев).

Но здесь нужно сказать, что такая христианская

точка зрения на историю означает несколько не меньше, чем означает все христианство в целом, а именно: для того, чтобы это упование осуществилось, необходимо преодоление в подвиге тленного естества человека, необходим какой-то точно выход из него, из человеческих душевных измерений в измерения и глубины ангельские, из человеческого холода объединенности в первозданное тепло Божественной жизни.

Это непостижимо для земной истории и для грешной души, поэтому, если это осуществится, то, и будучи еще в пределах и нормах этой земли, это "1000-летнее царство святых" в то же самое время будет уже как бы за его пределами, являясь общецерковной подготовкой перехода в Вечную жизнь. Именно о такой подготовке Церкви в "Тысячелетнем царстве" учит св. Ириней Лионский. Поэтому это царство святых на земле должно быть воспринимается нами тоже эсхатологически, т. е. сверх нашего исторического постижения и сил. Его осуществление возможно, но только как чудо Благодати, а не как результат той организации христианством научных работ во всепланетном масштабе, которую проповедует Тейяр.

Воздыхание о земле есть часть нашей веры в Новую Землю и Новое Небо.

*

Когда мы встречаемся с каким-либо искажением христианства в ереси или расколе, мы должны знать, что данное искажение, возможно, возникло как противопоставление, как антипод тоже какому-то искажению, уже существующему в церковной жизни. Арианство, т. е. умаление Божественности Христа

есть реакция на умаление Его человечества, на то, что среди верующих Церкви реальность страждущего Сына Человеческого стала забываться внутренне, стала уходить в какие-то неболезненные и ни к чему, в общем, не обязывающие "божественные туманы". И, борясь с арианством, мы должны искать причину его, его *антипод* в *своей* не-арианской среде, и с этой причиной тоже бороться.

Учение Тейяра (а в России XIX века отчасти учение Н. Федорова и Вл. Соловьева), есть реакция на ложный апокалипсизм, духовное себялюбие. Оно зовет, под знаменами христианства, к всемирной научно-общественной работе над преобразованием всего человечества. Для того, чтобы сделать эту научно-общественную работу центральной в своем понимании христианства, Тейяр производит над христианством следующую двойную операцию: своим эволюционным полигенизмом удаляет факт первородного греха, совершенного одним для всех праотцем и являющегося источником всяческого искажения мира ("грех вошел в мир и грехом смерть" — говорит апостол), а вслед за этим удаляет или затемняет идею сверхъестественного спасения от этого греха через Голгофскую жертву. Первородный грех, отравивший кровь человечества, только и может быть снят сверхъестественно, а поэтому, если его нет в реальности, то и понятие сверхъестественного вмешательства становится ненужным. И тогда открывается простор для утверждения чисто человеческих, "естественных" усилий в науке для создания нового человечества.

В каком-то смысле все христианское учение можно свести к двум понятиям: греха и Благодати. У Тейяра нет ни того, ни другого, или и то, и другое

закрыто могуществом человеческих научных и общественных сил, закрыто обычным эволюционизмом, не имеющим отношения к христианству. Можно утверждать, без особого вреда для людей разные вещи, но при чем тут христианство, ясно изложенное нам в Новом Завете? Или у Тейяра мы имеем тот "Третий завет", о котором мечтал Мережковский? Да и не только Мережковский. В одном письме прошлого столетия (К. Леонтьева к моему отцу) я прочел следующее: "Гармонии (Достоевский), "всеобщей любви", конечно, не будет, для этого, как я давно думал, надо нам "химически" переродиться... Впрочем Соловьев, кажется, и до этого домечтался. Астафьев еще в 83 г. рассказывал мне следующее: он спросил у В.С.: "Что такое будет у вас в вашем предполагаемом третьем отделении, т. е. в Теургии?" (теософия, теократия, теургия). Соловьев отвечал: "Там будет о семи Таинствах, под влиянием которых после примирения Церкви, весь мир переродится не только нравственно, но и физически, и эстетически". Вот как далеко он (Соловьев) поднялся. Поэтому и Фурье ему нравится, у него тоже предсказываются 40 000 лет апогею блаженства на земле под влиянием приятной и любвеобильной организации общества не против страстей, а по страстям и влечениям. Изменится даже вкус моря на приятный, разовьются новые органы у людей и т. д. Консидеран, ученик Фурье, предложил ему теорию в 40-х годах".

Таково письмо Леонтьева 1891 года. К нему можно добавить только то, что всевозможные мечтания возникли в человечестве еще гораздо ранее Фурье... Даже и сам первородный грех нашего праотца возник в результате его мечтания стать самочинно богом.

У нас же есть "Камень веры" – Христова Кровь.

Учение Тейяра, католического священника и иезуита, вышло из недр католицизма. Рим официально осудил его, но, конечно, он в самом себе несет искажение христианства именно с этой "тейяровской" стороны, несет в себе "теократизм": замену "Новой земли" Апокалипсиса благополучным теократическим концом истории под главенством "Великого Инквизитора". Для достижения такого конца весьма необходима и "христианская химия" по Фурье-Тейяру.

В данный момент Рим осудил его учение, но ведь в арсенале Рима есть очень удобная и эластичная теория "догматического развития Церкви", используя которую, он, быть может, через некоторое время это свое осуждение снимет.

Но мы верим не в Рим и не в Константинополь, а только в Евангелие.

"Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего" (Откр. 3, 11).



Есть жизнь истинной Церкви. Ее неисповедимость прежде всего в ее непобедимости. И есть еще иной аспект: некий "внешний двор храма". Есть Церковь Божия, и есть вокруг нее как бы общая церковная ограда. И истинная Церковь выражает себя вовне, т. е. она не только внутренне, но и вовне, в истории, существует, но есть еще нечто, что существует только "вовне", а внутри "исполнено лицемерия и беззакония" (Мф. 23, 28).

"И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и пок-

лоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попираť свяťый град сорок два месяца (Откр. 11, 1–2).

История Церкви – в этом со-существовании, начиная с Тайной Вечери. В нем и ее предыстория: с одной стороны – ”горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры... гробы повапленные” (Мф. 23, 27), а с другой – тут же и опять же в общей ограде обрядности Ветхозаветной Церкви – Иоанн Креститель и будущие апостолы, и уже ”рожденная Церковь”: Мария Богоматерь.

”Внешний двор” может сходить в истории почти на нет, и может он шириться и наполняться тьмой.

И в начале христианства христиане как-то даже еще оставались внутри ветхозаветного храма, исполняя его обряды, продолжали молиться в нем с тем иудейством, которое распяло Христа. Конечно, они с самого начала ”по домам преломляли хлеб” (Деян. 2, 47), т. е. отдельно совершали Евхаристию.

И в этом нам опять дан образ существования света и тьмы. Не таков ли будет и конец истории христианства? Не наблюдаем ли мы все более ускоряющийся процесс оформления этого ”внешнего двора” Церкви?

*

Флоренский в конце 20-х годов говорил, что вполне можно себе представить какое-то умирание поместной Церкви: обетование непобедимости вратами ада дано не ей, но Церкви Вселенской. Аналогичные мысли есть у еп. Феофана Затворника. В 70-х годах прошлого века, казалось бы, такого благопо-

лучного для Церкви, он писал: "Память о детстве и духе родителей еще держит (детей) в некоторых пределах. Каковы будут их собственные дети? И что тех будет держать в должных пределах? Закрываю отсюда, что через поколение, может через два, иссякнет наше православие" ("Письма о христианской жизни", 1880, сс. 70—71).

Отдавая себе полный отчет в этом процессе умирания, о. Серафим (Батюгов) одновременно верил, что Церкви, и не только Вселенской, но и Русской, еще предстоит эпоха духовного расцвета. Он очень высоко ценил малоизвестную работу Л. Тихомирова: "Апокалипсическое учение о семи вселенских церквях", в которой, кажется, впервые было высказано предположение, что "Филадельфийская Церковь" — это обозначение исторической эпохи предстоящего и уже близкого для нас духовного расцвета Вселенской Церкви перед концом истории.

"Эта благодатно написанная книга", — помню, говорил он, и термин "Филадельфийская Церковь" стал для некоторых людей понятием церковного возрождения. Один священник этот термин употребил даже в качестве характеристики отдельных людей, черты духовного склада которых как-то совпадали с определением этой Церкви в Откровении: "Верьте ей, — помню, говорил он об одной женщине, — она истинная филадельфийка".

Может быть это и так, и незаметно, может быть, уже и начинается эта духовно-историческая эпоха, — как неслышно заходят один за другой круги на воде, — и кто-нибудь, может быть, уже "сохраняет слово терпения" и крепко держит в себе сокровище благодати, ощущая его всем своим грешным нутром; может быть, уже сейчас из тысяч, только но-

сящих имя христиан, отбираются те, в сердцах которых нет нечистоты, лукавства и боязни — этих трех великих грехов современных церковных людей, — отбираются те, которые ”следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел” (Откр. 14, 4).

*

Я пришел проститься с о. Серафимом (Батюговым) в последний день его жизни: 19 февраля 1942 года. Это было часа за 4 до его смерти. Он уже давно сказал близким, что умирает. Его лицо было покрыто какой-то легкой церковной тканью: наверно, последний вожденный ”затвор” перед переходом. Ведь при жизни настоящего затвора ему, всегда окруженному духовными детьми, так и не удалось осуществить. А может быть, нам нельзя было видеть, как уже просветляется в эти часы его лицо?

Одна из присутствующих у его постели сказала: ”Батюшка, Сергей Иосифович пришел проститься”. И тогда глухо, точно не из-под покрывала, а из глубины каких-то уже не наших миров, донеслось до меня его знакомое ласковое приветствие: ”Пресвятая Богородице, спаси нас”. И еще раз чуть громче. Этой молитвой он обычно встречал своих духовных детей, и говорил не ”спаси”, но ”спасай” точно выражая мольбу о многократности спасения. Потом было долгое молчание. Я видел, что из комода уже вынута земля, привезенная из Дивеева, лопатка благословенной земли, по которой ходили верные ученики Преподобного, — чтобы положить ее в тоже уже давно приготовленный и стоящий в доме гроб. ”Верую видеть благая Господня на земле живых”.

Когда я собрался уходить и ему опять об этом ска-

зали, я услышал еще раз напряженный и теперь уже еле слышный голос: "Идите с Богом. Всем благословение Божие".

И я так бы хотел иметь духовные силы, чтобы передать от него это благословение тем, кто, может быть, никогда не видел святых. Ведь мы, старые и, несомненно, как сказано, "боязливые и неверные", только для того, наверное, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершать передачу этого единственного своего сокровища — благословения святых, тех святых, через которых и мы увидели край лазури Вечности: Церковь Агнца. Знание этого сокровища определяет наш заканчивающийся путь даже и в том, что при всем ужасе ощущения церковного двойника, не дает нам осуждать тех, кто с этим двойником так или иначе сливается: ведь они никогда наверно в своей жизни не знали людей, которых знали мы, никто не показал им в живом дыхании, — что такое Святая Церковь, никто не прижимал их голове к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили, никто не говорил им: "чадо мое родное", — этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие, и что еще удивительнее, — все грехи.

Святое сердце этих людей — это и есть Дом Божий, обитель Божия, по сказанному: "Мы придем к нему и обитель у него сотворим". Это и есть Церковь, и мы можем стоять у ее пречистых стен.

ИЗ КНИГИ "ЗВЕЗДНАЯ СВЕТЛЫНЬ"

*

Мыслью в мир невидимый
Снаряжусь,
Красоты невиданной
Нагляжусь.
По крутому бережку
Подойду,
В путь-дорогу бережно
Поведу...
Сквозь аркаду радуги,
За дождем,
От избытка радости
В каждый дом.
Бросят люди горести
Суеты,
Поспешат на поиски
Красоты.

*

Кротость июньской погоды,
Кратких ночей полоса,
Входят в озерные воды,
Млечным путем Небеса...
Благоговейные струи,
Робко качают Миры...
Тонкие звездные струны,
Тихо звенят до зари.

РОЗА

Я ждал торжественного звона,
Но ты еще в ночи спала...
Твои зеленые бутоны,
Церквей российских купола.
Пролетный дождь благоговейно,
Бутоны влагой окропил,
И Царь земли перед царевной
Завесу храма приоткрыл...
Величем цвета, в недра света,
Идет царевна под венец...
Вдали, аркадой семицветной,
Сияет царственный дворец.

СЕНТЯБРЬ

Лето кончилось. Все созрело.
Даль торжественная светла.
На себя деревья надели,
Тонкой бронзы колокола.
Устремленные в неземное,
Настороженные стоят,
Освещает братство лесное,
Кротким взглядом ясный закат.
Загудят деревья неистово,
По сигналу первых ветров,
Полетят семена и листья,
Как осколки колоколов.

ЖУРАВЛИ

Проникновенным голосом Земли,
В осеннем небе стонут журавли.

Волнующий, знакомый сердцу стон
Влечет меня в таинственность времен.
Летят, летят, незримый чуя след...
Я видел вас десятки тысяч лет...
И вновь с благоговением гляжу.
Велик порыв, но слов не нахожу...
А журавли, как исповедь Земли,
Стихая, растворяются в дали.

*

Вечер прохладен и мглист,
Желтые клены дремлют.
Упавший широкий лист,
Втоптан в сырую землю...
Ночь наливалась свинцом,
Кленам руки вязали,
Грудой холодных птенцов
Утром листья лежали.

ДЕКАБРЬ

Укрылись воды в панцирь ледостава.
В пожаре зорь заметно тают дни...
Приди, зима, земля уже устала,
Укрой ее снегами, сохрани.
Земля тебя воспримет без боязни,
Твои снега — не тяжесть ледника...
Наступит сон, и будет сниться праздник
Спасенным душам каждого ростка.
Проникни в сны невиданным виденьем,
Неслыханные сказки сотвори,
Земля расскажет музыкой весенней,
Волшебные фантазии твои.

Приди, зима, бери свое начало,
Поторопи широкую метель,
Сомкни объятия долгими ночами,
Спаси зима, людскую колыбель.

*

Я в жизнь вошел, как зверь в кольцо,
Где по программе — умираю...
Обеспокоенный концом,
Я вспоминаю отблеск Рая...
Душа зовет нездешний Свет...
И вопреки стеченью злого,
Таясь иду искать ответ.
В пределах пиршества земного.
Под взглядом муки и тревог,
Мир сумасшедший обнажился...
Молю Тебя, незримый Бог,
Чтоб Ты душе моей явился...
Чья злая воля надо мной,
Зачем сознанием наделенный,
Не зная участи иной,
Иду к концу недоуменно?..
Земная жизнь, зачем ты мне:
Не соглашаясь — умираю?..
Стою над бездной, как в огне...
Но я же помню вечность Рая!

*

Без Тебя я бессонно измучен...
Но явленье Твое возлюбя,
Навсегда убежденно научен:
Не жалеть во спасенье себя.

Оживи оскорбленное тело,
Разомкни угнетающий круг,
Дай подняться душе до предела,
Где свободный, спасительный Дух...
Сознаю неместимость отрады...
Дай возможность стремленье сомкнуть,
Отвергая земные награды,
Завершить мне назначенный путь.

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Я забежал в родные сени,
И, долго стряхивая снег,
Смирял в слабеющих коленях
Внезапно прекращенный бег.
И, замыкая круг семейный,
В последний день твоей зимы
Смотрел в лицо благоговейно,
Вникая в древние псалмы.
Все огорченья и боязни,
Предвосхищая дальний путь,
Ты собралась, как в светлый праздник,
Решив немного отдохнуть...
Лицо предпразднично сияло,
Все молчаливо разошлись...
А ты незримо уплывала,
В свою таинственную высь.

*

Мы в эту жизнь приходим налегке,
И налегке уходим в одиночку.
Дела вместив в стыдливейшую точку,
Неся ее в трепещущей руке.

*

Я знаю, есть такие Горы,
Где негасимый плещет Свет...
Где бесконечные просторы,
Где времени и смерти нет!
И, побеждая расстоянья,
Живут в реальной полноте...
Цветут порывы и желанья,
В невыразимой красоте...
Там лучезарная Дорога,
В первичном Свете зоревом,
Там все живут Любовью Бога,
Ликуя сущностью Его...
Внизу шумит, мятется море —
Людское наше бытие...
Я знаю, есть такие Горы —
Обетование мое.

*

Колоколов тоскующая медь —
России дух ошеломленный,
Неужто вам придется умереть
На высоте закрепощенной?
Крепостники, чья совесть, ум и честь...
Себя богами возомнили:
Бессмертия действительную весть,
Бессмертьем мнимым заменили...
Колоколам связали языки
Веленьем вставшего кумира:
В надменном простирании руки —
Душа обманутого Мира.
Но все равно колокола звенят,

Ликует звонное сиянье...
Бессмертный Дух неодолимо свят...
В себя приходят россияне.

*

Унылый брат, дающий смерти дань,
Ты каждый день свою справляешь тризну...
Твой дух угас, но я прошу, восстань!
Ты сын Небес и ты к бессмертью призван!
Имеющий от царствия ключи,
Ты умираешь в низменном угаре...
Иди и отработав получи
Создателем обещанный динарий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Заметки неофита

Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9, 36–38).

1

Так вот именно оно и было — вчера, сегодня и еще завтра будет — Он увидит толпы народа, увидит, что они изнурены, рассеяны и сжалится над ними.

Любому неофиту, думаю я, легко утверждать такое и в этом явное его преимущество перед его оппонентом.

Иногда мне кажется, что мир состоит из неофитов и их оппонентов. Оппонентов, естественно, больше. И если бы катастрофическое сознание неофита не было столь закалено в отчаянии пробиться к оппоненту, неофитов давно бы испепелили смех и издевки.

Катастрофическое сознание рождается в отчаянии, как полагал Кьеркегор, подаривший неофитам драгоценные свидетельства некоторой общности переживаний. Отчаяние и предваряет рождение личности, отчаяние создать рай на земле может стать первой ступенью к небу.

Но "чтобы воистину отчаяться, нужно воистину

захотеть этого, раз, однако, воистину захочешь отчаяться, то воистину и выйдешь из отчаяния”...

Путь выхода из отчаяния — путь разрушительный и прежде, чем в хаосе, ввергнувшем тебя в отчаяние, услышится и увидится пронзительная глубина и радостная непостижимость гармонии, на тебя будут рушиться глыбы и груды, оставляя лишь узкие щели меж собой. Пролезая сквозь эти щели, ты всякий раз будешь удивляться, что небо еще не оставило тебя.

Тогда в коротком затишье и узнается то, что Кьеркегор сформулировал, по всей вероятности, в полемике с предшествовавшей ему философской мыслью: Истину нельзя знать, в ней можно только быть.

Простейшая мысль эта, однако, является камнем преткновения не только в философии, она есть начало и конец споров между неопитами и их оппонентами. И совсем не оттого, что неопит, якобы, существует в Истине, а оппоненту его представляется, что жить в ней невозможно, а значит незачем стремиться к этому и полезней знать о ней столько, сколько удастся.

Нет, так вопрос не стоит — ни ”качество”, ни ”количество” существования в Истине (ведь оппонент может завтра стать неопитом, а неопит — оппонентом) не может быть учтено и признано за критерий. Это принадлежит не нам и не нам доверен суд: Важен принцип.

Он тоже чрезвычайно прост. Речь идет об имени.

Иметь или не иметь. А если иметь — то отдать или не отдать.

Мой оппонент — знаток, эксперт, дегустатор и собиратель. (Впрочем у любого неопита оппонент —

знаток). Знаток в том виде, в каком он встречается сегодня среди нашей мыслящей публики, — явление примечательное.

Но это вовсе не значит, что сознание знатока (чуть дальше я попробую его описать) — новое историческое и духовное образование. Оно может показаться новым в сегодняшней России, ибо расцвело на почве, казалось бы, никак не приспособленной к этому. И, тем не менее, именно наша почва стала кормилицей такого сознания.

Это сознание стяжателя, который среди разрухи, грабежей и произвола в никем не подозреваемом месте возделывает свой огород. (Почти по Вольтеру, призывавшему "возделывать свой сад"). Земля мала, но усердие дает свои плоды и вот наступает время, когда стяжание богатства спасает от духовного голода, оно мнится свободой, избранничеством, добытым в трудах, и, наконец, становится имением, которое отобрать никому не дано, ибо ни денежные реформы, ни навязанная тебе безработица не властны над этим имением. Напротив, оно становится уникальным капиталом, который неожиданно может даже прокормить...

Л. Толстой в "Круге чтения" сделал такую запись: "Ученый тот, кто много знает из книг; образованный тот, кто усвоил себе все самые распространенные в его время знания и приемы; просвещенный тот, кто понимает смысл своей жизни".

Говоря о просвещенном, Толстой, надо думать, имел в виду просвещение Истиной. А это предполагает решение того самого вопроса вопросов: иметь или не иметь, отдать или не отдать.

"Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим;

и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною” (Мф. 19, 21).

Юноша, к которому были обращены эти слова ”отошел с печалью”. Он и заповеди знал и сохранил ”от юности своей”, по-видимому, понимал он в том, толстовском смысле, цель своей жизни, но сокровище свое отдать не решился.

Среди многих значений и смыслов этой истории есть один смысл, открывающий суть различия между верой и религиозностью. Он существен для этих замечаний и потому я задержусь на нем.

Различие это, казалось бы, родилось с Адамом, и тем не менее каждое соприкосновение с ним переживается как мучительное потрясение.

Проповедь Спасителя и Апостолов была обращена к религиозному сознанию, которое призывалось к вере. Синедрион, приговоривший Бога к смерти, состоял из священников, а народ, который кричал ”распи Его!”, был религиозен.

В статье ”О духовности, церковности и мифах” прот. А. Шмеман, отмечая ущербность религиозной мысли на Западе, занятой ”реабилитацией мифов” как неких духовных реальностей, определяет трагическое различие между религиозным сознанием и верой: ”Соединение неверия ума с религиозностью, именно религиозностью, а не верой сознания”.

В этом заключена суть религиозной трагедии Запада, как считает А. Шмеман. Возникает со всей остротой эта проблема и в России. Именно теперь, в пору ее религиозного обновления. И обнаруживается наиболее открыто и демонстративно эта суть в культуре. В целях и направлениях ее.

Понятно, что говоря о том, что ”христианство всегда было, есть и будет разоблачением мифов, вечно

затемняющих человеческое сознание, и духовным освобождением от них”, А. Шмеман, обращаясь к опыту России, говорит об опасности мифологизации духовных реальностей, легко укореняющихся в религиозном сознании современного просвещенного человека, но чуждых христианской вере и потому неизменно оборачивающихся ложью.

Ложь начинается не тогда еще, когда собирается ”имение” для религиозного сознания, в ту пору только идет как бы процесс мифологизации, а сокровища знаний и ценности сведений укладываются в сундуки — схемы, системы, программы и даже ”учения”.

Ложь начинается на следующем этапе мифологизации, когда ”имение” хотят приспособить ко Христу. Это значит, что вопрос — отдавать или не отдавать — решен. Решено — не отдавать.

Так мифологизация религиозного сознания приводит к его упадку — оно становится обскурантистским, знания утилитаризируются, а значит обесцениваются, ложное представление об их непреходящей ценности и есть свидетельство незнания, обскурантизма.

Все эти общие соображения должны помочь нам представить то сознание, которое я условно называю здесь сознанием знатока.

Знаток — это потребитель и создатель секулярной мифотворческой культуры. Охранитель ее традиций, она существует ради знатоков и благодаря им. Она и есть их имение.

Наши споры с моим оппонентом начинаются с России. Ему кажется, как всякому знатоку, что он хорошо знает ее. И потому, видно, когда я принимаюсь убеждать его, что в России начинается новая пора, связанная с религиозным обновлением, он не соглашается и говорит: ”чего только не бывало в

России?” И уверяет меня, что религиозные течения (как он называет переполненные церкви, длинные вереницы причастников) никак не могут теперь повлиять на ее историю, и нечего, мол, нам от этого обновления (есть оно или нет, понять трудно, это всегда лишь — дело субъективного взгляда) ждать.

Как же так, не соглашаюсь я, значит мой субъективный взгляд видит то, чего его субъективный взгляд просто не хочет замечать?

И тогда я вспоминаю лица моих соотечественников. Я смотрю на них и хочу понять, зачем они так отличаются от тех лиц, что я вижу в церкви: неужели они так печально, так неузнаваемо изменились или это действительно совсем другие — ”изнуренные и рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря”, — гадаю я.

И уже не раз посещавшая меня мысль о двух Россиях, живущих на территории моей родины, устанавливает, казалось бы, все на свои места. Ну, конечно же все просто: две России — одна, что стоит в храмах, гонимая и блаженная, другая — та, в которой бесчинствуют, где наши отцы умерли без причастия, а сыновья спиваются от лжи...

Ну да -- две России и ничего сложного, сказано, ведь: не мир Я принес, но разделение.

Как две Германии. Но там — граница. Здесь же только разделение — по живому, по сердцу. Но потому, видно, и не может быть двух России, как двух душ в одном человеке, и неправыми были мысли мои.

Одна — она, разделенная, но разделение каждый день убывает, должно убывать, хотя и не сойдет никогда на нет, так как принесено Словом Божьим. Но потому, что она — одна, разделенная трагически, по

живому, так трудно бывает порой различить ее лик и маску, натянутую на нее силой.

Один русский священник, когда его спросили: "Чем сохранялись великие нации? Что их сберегало и уничтожало?" — ответил: "Язык и вера. И вера больше, чем язык".

В этом кратком ответе, пожалуй, уложилась в основном теория о нации как о личности. Она излагалась не раз, почти каждый русский религиозный философ, начиная с XIX века, касался так или иначе этой идеи. Н. Бердяев в "Философии неравенства" сформулировал ее так: "Нация не есть эмпирическое явление того или иного отрывка исторического времени. Нация есть мистический организм, мистическая личность, ноумен, а не феномен исторического процесса. Нация не есть слагаемое, она есть нечто изначальное, вечно живой субъект исторического процесса, в ней живут и пребывают все прошлые поколения, не менее, чем поколения современные. Нация имеет онтологическое ядро. Национальное бытие побеждает время... Вот почему в национальном бытии и национальном сознании есть религиозная основа, религиозная глубина" (Письмо четвертое. О нации).

Итак, нация — личность. Но что же такое личность, каков основной ее признак?

Личность — это образ Божий в человеке, свобода человека по отношению к своей природе, учит св. Григорий Нисский.

Православное богословие именно так решает этот вопрос: личностью человек становится только перед лицом Бога. Сам по себе никто личностью стать не может, он останется индивидуальностью, отличающейся от другой индивидуальности.

Может ли личность, как понятие, существенно из-

мениться, если его применить к нации? Вряд ли. Тогда стоило бы поискать иного определения. По-видимому, личность—человек и личность—нация есть процесс, путь, движение. Но тогда, когда выбор уже совершен, иначе рождение личности невозможно. Путь при определении выбора ясен: "Я есть путь и истина и жизнь" (Ин. 14, 6).

Значит нация может стать личностью (но может и не стать ею), должна стать личностью, более того, это — единственный путь для ее сохранения.

Каким образом может осуществляться это движение нации в истории к ее личностному бытию?

Только в Церкви нация может осознать себя личностью и с о б р а т ь себя в личность.

Когда же собрать — в исторической данности или в метафизическом бытии? И как собирается личность — что это своеобразное накопительство — число, количество и чем больше членов Церкви, тем совершенней нация—личность? Но Господь сказал: "Не бойся малое стадо" (Лк. 12, 32) и "где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20).

Не числом, не количеством собирается нация—личность. Она — "святой остаток", который образуется в неустанном и вечном труде собирания в Церкви. И поэтому, видно, св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе обращается по велению Господа к каждой из семи церквей, среди которых есть уже обретшие личностное бытие перед Богом: "И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле". Но есть и презревшие труд собирания, накопившие уже имение свое: "Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею

нужды'; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамota наготы твоей" (Откр. 3, 10, 17–19).

Нам не дано знать, что говорит Господь Ангелу российской Церкви, но ясно, что она не может отказаться от того, чтобы стяжать "золото, огнем очищенное" и "белую одежду"...

Поэтому оно и убывает — это разделение — в сегодняшней России, а путь нации к личностному бытию продолжается. И потому нельзя разлучить две России — ту, что в храмах стоит, и ту, что глумится над святынями.

Но ведь все это "субъективный взгляд", — говорит мой собеседник, — чего только не бывало в этой стране и откуда такие надежды на то, что "разделение убывает"? Да и где же, наконец, доказательства этого убывания?

Что я могу сказать? Действительно — чего только здесь не бывало! Может быть, так оно и было издавна. А когда-то было еще так, что Иоанн Креститель, "призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?.. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне" (Лк. 7, 19, 22–23).

Все эти предварительные слова мне надо было сказать, чтобы перейти к изложению главной мысли моих заметок. Она не нова, проста и доступна, но убедить в ее правоте совсем не просто.

Если "слепые прозревают, хромы ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают", то может ли это, совершающееся на наших глазах, чудо остаться за пределами русской культуры, или она должна, наконец, уподобиться тем слепым, что начинают прозревать, и глухим, которые вдруг услышали? Может ли русская литература воскреснуть, или жребий ее столь печален, что, тяжко соблазнившись однажды, она не сумеет теперь оторваться от соблазнов.

Я предвижу, что слово "соблазн" может быть истолковано не так однозначно, как мне хотелось бы, и потому поясню, что имею в виду.

Девятнадцатый век был веком высшего расцвета русской литературы, но это был век, в котором секуляризация литературы тоже достигла своего высшего расцвета.

К началу этих двух расцветов русское художественное сознание достаточно насытилось вольтерьянством и просветительской гуманистической мыслью (русский гуманизм XVIII века) и внецерковной религиозностью (протестантизм западной философии).

Нигилизм и радикализм в литературе XIX века укореняются на почве правдоискательства, столь свойственного нашей словесности.

Однако правдоискательство не может стать прямой столбовой дорогой: на ней обязательно будут роковые перепады, развилки и даже не сразу обнаружи-

ваемые бездны. Если искать правду не на путях поисков Истины, правдоискательство непременно становится соблазном. Самостоятельная, автономная от Истины, правда, как бы ни была она абсолютизирована, все равно — ущербна, она есть вывернутая наизнанку ложь.

Ложь перед лицом Истины.

Мы не можем сказать, что вольное обмирщение литературы XIX века было ее "идеологическим импульсом", жестким выбором, как скажем, выбор соцреализма в сегодняшней литературе.

Никак нет, это был живой процесс и об этом свидетельствуют две огневые точки в словесности XIX века — Гоголь и Достоевский.

В середине века и уже в предчувствии исхода его — два крика об опасности рокового обмирщения общества и культуры.

Это — другое правдоискательство. Оно — соль русской литературы от Радищева до Солженицына.*

Соблазн поисков правды (социальной, психологической, правды факта, правды чувства — правды эмпирии), как это ни парадоксально, весьма легко и порождает кесареву литературу, подцензурную письменность, в том виде, в каком она сложилась сегодня у нас (не на пустом же месте она родилась:

* "Если бы закон или государь, или какая бы то ни было другая власть на земле принуждали тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся ни унижения, ни мучений, ни страданий, ни даже самой смерти", — писал Радищев. И почти через два столетия солженицынский крик: "Жить не по лжи!", в котором уже не радищевское предостережение, а страдальческая любовь к соотечественникам и надежда пробудить их волю к спасению.

из просветительски-гуманистических и революционно-демократических литературных традиций вылилась), если они отделены по целям своим от поисков Истины, коль скоро ее считать тем, что она есть: "Я есмь путь и истина и жизнь".

Соблазн этот отнюдь не порождение XIX века, в ту пору он уже и в соблазнах не числился, а стал нормой для художественного сознания. Ведь уже протекли века с тех пор, как культура, как блудный сын, по словам о. Сергия Булгакова, ушла на "страну далече" из Отчего дома — из Церкви.

История расточения Отчего имени есть трагическая история христианской культуры, история утраты памяти. Она запечатлена и в ее творениях, как утрата человечеством Бога, и вместе с тем отражена в историческом опыте человечества, отказавшегося от хлеба насущного, от церковной культуры, и вынужденного питаться свиными рожками.

Уйдя из Отчего дома — из Церкви, — культура претерпела разделение, как и мир, достоянием которого она стала. Разделение не изменило ее определения, она так и зовется христианской культурой (ясно, что речь идет о культуре христианского мира). Но одна часть ее утверждает "мысль о Христе, пришедшем во плоти", и это является, по словам Е. Трубецкого, основной задачей культуры, так как "раз началом религиозной жизни человеческого общества является воплощение Божеского в человеческом, человеческий ум и человеческая воля призываются к творческому участию в деле Божиим". Другая же часть оказывается лишь номинально христианской культурой, ибо отдельные христианские идеи и взгляды на жизнь, впитываемые ею, есть ни "да" ни "нет"

Христу, а именно та самая теплохладность, религиозность, подменяющая веру в Живого Бога мифами.

Е. Трубецкой в своем определении культуры исходит из принципа, с помощью которого в первом послании Иоанн Богослов учит нас распознавать Духа Божия и духа заблуждения.

Здесь так же, как и во всем Откровении проступает огненная граница меж верой и религиозностью: "всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире" (4, 3).

Понятно, что этот принцип распознавания духов никак не относителен, более того, его абсолютность и максималистичность открывает богатейшие возможности, в частности для понимания специфики проблем духовного творчества. И коль скоро мы будем считать культуру духовным образованием, поверяя ее этим принципом, мы непременно увидим разделение культуры на христианскую и религиозную (атеистической культуры, естественно, быть не может, это — антикультура, культура же, возникшая из культа, всегда была, есть и будет религиозным феноменом).

Есть, правда, и такая опасность, порожденная религиозным, мифологизированным сознанием, как дискредитация культуры, профанация ее. Культура как бы исключается из сферы духовной жизни, ей придается назначение некоей оригинальной по своей специфике с ф е р ы о б с л у ж и в а н и я человека, обслуживания его психологических и эстетических потребностей.

Профанация культуры породила много теорий, самой устойчивой из них была теория "искусства

для искусства". Превращаясь в сферу обслуживания эстетических гурманов, искусство неизменно теряло духовность, становилось имитацией, имитируя и без того уже падшую в нем религиозность.

И все же, когда речь ведется о разделении, то ни в коем случае при этом не имеются в виду закрытые, завершенные "структуры". Речь идет только о главных интенциях, возникающих в процессе существования культуры в истории.

Различие меж двумя видами или типами культуры по сути таково же, как и различие между двумя людьми — верующим во Христа, пришедшего во плоти, и неверующим. Признавая, что христианство — не религия, а откровение Бога людям, завет Бога с человеком, который, принимая завет, выбирает не определенную религиозную систему, а и н у ю ж и з н ь во Христе, можно понять, что такое различие складывает два р а з н о п р и р о д н ы х бытия.

Человек — кто он, каков и зачем он? — вот чем определяется в культуре выбор Духа Божия или духа заблуждения.

Культура мифотворческая, религиозная и культура христианская не только исповедуют разных духов, в основе их лежат разные учения о человеке. И различает эти учения — вера в воскресение Христа, пришедшего во плоти в этот мир, чтобы спасти погибшее.

Этот "камень преткновения" может быть отвергнут строителями любой из доктрин и тогда представление о человеке и о его назначении в мире будет кардинально отличаться от свидетельства Истины. Вслед за этим происходит "перемещение оси" — положения человека в мире — ось повисает над бездной. Человек перестает б ы т ь тем, кем он есть в ре-

альности, он начинает казаться. Казаться тем, каким на самом деле не является или, если является, то частично.

Святоотеческую антропологию, раскрывающую евангельское учение о человеке пронизывает настоятельная мысль, высказываемая всегда с жесткой определительностью: человек совсем не тот, кем он мыслит себя вне Бога. Он никак не царь и не раб вселенной! И жизнь ему дана вовсе не за тем, чтобы "достойно умереть", а чтобы достойно жить, что значит иметь жизнь вечную.

"Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать богом", — в этой сакраментальной формуле св. Василия Великого сконцентрирована суть святоотеческого учения о расколоте грехом цельности человека. Расколоте на "внешнего" и "внутреннего" человека, призванного к собиранию утраченной цельности. Собрать себя, восстановить цельность и значит выполнить повеление: "стать богом".

Таково назначение человека в поюстороннем мире. И. Киреевский так излагает эту святоотеческую мысль: "Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким образом восстанавливают существенную личность в ее первоизданной неделимости".

Внутреннее средоточие бытия, по Киреевскому — это никак не психология, не чувственно-эмоциональная, не эмпирическая жизнь души, это — глубинное

”я”, ядро личности. Оно организуется в тот момент, когда человек решается отдать внешнее имение свое и стяжать внутреннее. ”Горе внутреннему от внешнего, ибо внутренний много терпит от внешних чувств, но претерпев, он должен употребить бичи против внешних чувств”, – учит св. Исихий.

Секулярная, мифотворческая культура не может знать внутреннего человека, ибо он познается в труде собирания, совершаемом только в Церкви.

Секулярная культура знает внешнего человека во всех его тонкостях и сложнейших проявлениях, тем более, что внешний человек куда сложнее внутреннего, ведь внутренний – это образ Божий, а внешний – зеркало мира. Зеркало и существует для того, чтобы поглощать и отражать внешнее. Так, знак, как тип сознания потребителя и творца секулярной культуры, поглощает через культуру сокровища мира, загружая ими свою память, как загружают богатством сундуки, и стремится к воспроизводству этих сокровищ по мере движения культуры в историческом времени.

Но теперь нам пора, наконец, расстаться со знатком и вернуться к рассуждениям о русской литературе.

Две части, два пути, два разноприродных бытия в русской культуре и определились они вскоре после крещения Руси. Вот как характеризует в ”Путях русского богословия” Г. Флоровский разделение русской культуры: ”После крещения Руси... в смутных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подпольи, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная. И в сущности слагались две культуры: дневная и ночная... Заимствованная византино-христианская

культура не стала "общенародной" сразу, а долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного меньшинства. Это было неизбежной и естественной стадией процесса. Однако, нужно помнить, история этой дневной христианской культуры во всяком случае еще не исчерпывает всей полноты русской духовной судьбы... В подпочвенных слоях развивается "вторая культура", слагается новый и своеобразный синкретизм, в котором местные языческие "переживания" сплавляются с бродячими мотивами древней мифологии и христианского воображения... Это различие в данном случае можно так определить: "дневная" культура была культурой духа и ума, это была "умная" культура, и "ночная" культура есть область мечтания и воображения".

Понятно, что оба типа культуры формировали определенные типы сознания: "дневное" и "ночное" сознание требовали не только "дневных" и "ночных" идей, но и своеобразной в каждом из типов эстетики.

С течением времени все более редкими оставались творения дневной и ночной культуры в их чистом виде. Они взаимодействовали, пересекались, и непременно боролись меж собой в творчестве каждого крупного художника.

В борьбе и во взаимовлиянии "дневных" и "ночных" идей и возникает драма русского художественного сознания.

Драма эта становится с самого возникновения христианской культуры в России драмой религиозной. Именно в художественной культуре борьба между двумя тенденциями в русской духовной судьбе — христианской и языческой — обретает наибольшую остроту. В силу чисто русской особенности — литература и искусство в России всегда имели огром-

ное значение для ее развития: социального, общественного, философского, религиозного.

Драма эта, вмещающая в себя различные по напряжению акты, длится и поныне. И поныне дневное христианское сознание призывается в России на брань с ночным.

3

Конечно, хорошо было бы повести разговор о типах русского художественного сознания с той поры, с которой и возникло то самое разделение. Начать бы оттуда и тянуть эту, вскоре после разделения запутавшуюся, нить вплоть до наших дней. И тогда можно было бы заметить как вплетаются в нее чужие нити, как свое, российское язычество, сплетается с эллинизмом, как идеалы, взращенные Средневековьем, стремится поглотить возрожденческая стихия, как западные течения жадно впитываются культурой Руси и как отталкивается она от Запада, порождая арсенал охранительных средств, и как под натиском гуманизма арсенал становится принадлежностью музеев.

Однако слишком длинен этот путь, длинен и вместиться может только в многостраничную книгу, а никак не в заметки. К тому же история живет теперь в каждом нашем дне, и, если начать утром, доверившись дневному свету, то к вечеру можно распутать как раз достаточное количество нити, чтобы увидеть оба ее конца.

Тогда суть разделения, не меняющаяся и не способная к изменениям, предстанет во всей своей простоте. Она выражается все в том же вопросе учеников Иоанна ко Христу: "Ты ли Тот, Который должен прийти или ожидать нам другого?"

Языческий российский мир, населенный "другими" богами, оживающими в ночном сознании, порожденном ночной культурой (в основе которой лежит тот самый синкретизм, идейный и эстетический, организуемый многобожием) и "обслуживающей" в свою очередь это сознание, не желает оскудения богов.

Ожидание других богов — это созидание других богов, а значит измена каждому из них. Ожидая "другого", культура постулирует измену как принцип жизни.

Измену — как следствие временности, текучести, ненадежности всего на свете и как причину временности, ненадежности, текучести. Если нет ничего вечного, не было Воскресения, а надо ждать "другого", значит в изменении — начало и конец всего. Значит целью культуры становится стремление зафиксировать изменения и утвердить их неизбежность: во имя воспитания чувств и страстей внешнего человека. Эта цель связана с еще одним обстоятельством: в сознании, ожидающем "другого", неизменно воцаряется скука. Это порабощение сознания скукой удручающе подействовало в свое время на Гоголя: "...непонятной тоской уже загорелась земля, черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и мелет и возрастает только в виду всех исполинский образ скуки. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире".

Но возникает еще одна угроза, уже посерьезней скуки. Измена богам порождает мысль о неизбежности их измены человеку, и ночная культура, осознавая угрозу измены, ищет средств для защиты человека от неверности богов.

Но чем она может его защитить от этого? Только

утверждением его "самости" и удовлетворением его порыва к "самообожествлению"? "Будете, как боги", — сказал змий.

Однако же, служение человеку в культуре становится не только защитой и своеобразной художественной апологией, служение это становится и развенчанием его, во имя более успешного воспитания чувств и страстей, во имя совершенства, понимаемого, все же, как путь к обожествлению.

Измена Единственному Богу в угоду множеству богов, обретающих различные имена и качества, казалось бы, оплодотворяет ночную культуру. Но вместе с тем невероятно драматизирует ее судьбу, а также судьбу человека, питающегося из ее рук.

Утверждая добро, красоту, правду, но ожидая не Того, Кто есть "путь и истина и жизнь", а "другого" и создавая этого "другого", культура непременно свидетельствует о слабости и брэнности добра, красоты и правды, об их поражении в мире, населенном иными богами.

Но свидетельствует отнюдь не прямыми путями, отнюдь не признаваясь в том, что побеждает ложь, зло, ненависть. Напротив, — пытаюсь доказать, что побеждает любовь, правда и добро, — культура, сама того не желая, выдает это за "возвышающий обман".

Это — не парадокс, это противоречие вытекает из ее мифотворческой природы. И понятно, что все "абсолютные истины", не утвержденные на камне веры в Единственного Бога, оказываясь лицом к лицу с жизнью человека, воспитанного этой культурой, становятся мнимостями. Если не в ту минуту, когда они вымолвлены, то в следующую же минуту их самостоятельного пребывания в мире. И тогда отно-

сительность их, выдаваемая за абсолютность, наносит непоправимый вред: ложь дискредитирует все.

Относительность, временность, изменчивость ночного сознания, порабощенного созданными им богами, становится предметом отражения в ночной культуре. Пройдет череда веков с возникновения этой культуры, и она воздвигнет ряд теорий, построенных на принципе отражения. Он станет ведущим методом ночной культуры — стволем, от которого пойдут ветви, — а отражение изменений всех аспектов человеческой жизни станет целью обобщений — философских и художественных. И, наконец, окрепнув и самоутвердившись в отражении временности человеческой — материальной и духовной — жизни, эта культура станет посягать на Божественную жизнь. И Христу — согласно все тому же ожиданию кого-то еще — будет приписываться способность тоже изменяться в соответствии с накопленными этой культурой ценностными критериями других богов, запечатленных в ее памяти и заново избираемых ею в разные исторические эпохи. Христос станет мифом, символом, метафорой в ночной культуре.

Ну, а что же вторая, вернее, первая часть или истинная, дневная культура, куда подевалась она, да и осталась ли вообще?

Подверглась ли и она развитию или не выдержала соперничества с ночной и растворилась, потонула в ней? А если еще осталась, то как неизменность, вечность "пути, истины и жизни" питала самое эту культуру?

Она, естественно, не могла и не может ни исчезнуть, ни потерпеть поражения — "ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша" (1 Иоан. 5, 4).

Но пути победы видны тем, кто хочет их увидеть, а плоды ее запечатлены в творениях Святых Отцов, в церковной православной культуре и в культуре так называемой светской, создаваемой клириками и мирянами, но обязательно питаемой соками церковной святоотеческой литературы.

Но дневная культура, культура духа и ума, не ограничивается святоотеческой и церковной литературой. Это та часть культуры (она может быть, конечно же, и поэзией, и прозой, и драмой), которая, повторю снова, утверждает мысль о Христе, пришедшем во плоти, "земная икона Царствия Божия", как определил И. Евдокимов; "молитва о преображении твари", по словам о. Сергия Булгакова; "творимая икона софийного мира извечных прообразов", как назвал ее Вяч. Иванов в статье о Достоевском. Так определяла и определяет ее православная философия культуры.

Для того, чтобы работать и жить в этой культуре, вовсе не обязательно принимать монашеское пострижение; проповедовать Христа призваны не только монахи и аскеты.

Вера, действующая любовью (Гал. 5, 6), порождает творческую энергию для созидания такого художества, которое может стать для человека хлебом насущным. "Нет, не Пушкин или кто другой, — писал Гоголь по этому поводу, — должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразием ума своего, ни картинною личностью характера, ни гордостью движений своих: христианским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву

народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий” (“В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?”).

Влияние умной культуры на жизнь человека, на мир, на историю и, наконец, на культуру ночную необычайно велико, хоть и внешне незаметно.

Пути этого влияния многообразны — оно движется и прямо и косвенно, через посредничество, и метафизически, и в церковном опыте. Но в каждом случае приобщение к умной культуре уникально.

Вот два достаточно вразумительных примера из истории русской словесности — Гоголь и Достоевский. Оба писателя, каждый по-своему, были окармливаемы дневной, умной культурой, которая определила движение, существо и уникальность их творчества и художественских судеб. Оба они оказали огромное воздействие на русскую литературу, оно не иссякает и в наше время, а напротив, усиливается.

Но воздействие странного порядка — ни у Гоголя, ни у Достоевского почти нет последователей, традиция натуральной гоголевской школы, если и продолжилась, то в искаженном, скорей не в натуральном, а натуралистическом виде, а проза Достоевского вообще не породила традиции.

Я думаю, здесь лежит интересная закономерность: близость к умной культуре, истечение из нее порождает такое художество, которое неповторимо в традиционных формах. Умная культура не традиционна, так же, как связи внутреннего человека с Бо-

гом не могут быть традиционными, а только уникальными.

Это и закрывает возможность создания прямой традиции или создания школы (кстати сказать, Л. Толстой и А. Чехов, породившие в русской прозе XX века сильную традицию, далеко отстояли от умной культуры. И если мы говорим подчас, применительно к чьему-либо творчеству, "толстовский реализм" или "чеховский подтекст", то сыскать у кого-либо реализм Достоевского или гоголевскую художественную концепцию человека и мира затруднительно).

Духовная преемственность, созидаящая умную культуру, проявляет такую самобытность, которая сама становится источником духовной силы. Но черпать из него можно только в том случае, если внутренние духовные каноны умной культуры становятся закваской, побуждающей к жизни новое творение.

Такая верность неизменным духовным канонам как раз и присуща дневной культуре в отличие от ночной, пристрастной к иной каноничности. Каноничности формальной, прежде всего тяготеющей к изменчивости своих форм, к усовершенствованию их и к зыбкости подвижности внутренних канонов.

Один внешний человек отличается от другого внешнего человека разительным образом. Там и там — раздробленность, но осколки ее различны. При отражении ее раздробленности ночная культура стремится найти характерное, типичное в различных осколках. Из типичных осколков и создается мозаика (не случайно общественная мысль в разные периоды нашей истории пользовалась принципом типизации для своих обобщений: "энциклопедия русской

жизни”, ”зеркало русской революции” и т. д. и т. п.).

Измена богам и осознание оставленности порождает еще одну иллюзию: изжить одиночество и скуку в некоей ”круговой поруке” или в стадном чувстве. Для этого важно найти подтверждение тому, что ты не один потерялся в этом мире, что все стадо заблудилось. И ты ищешь подтверждения этому и обязательно находишь его в ночной культуре, убеждаясь, что ты такой же, как все и ничего поделать нельзя. ”Как похоже на меня!” — восклицаешь ты, пораженный собственной сложностью и непостоянством, и радуешься тому, что есть, оказывается, еще непостоянней и безнадежней тебя во сто крат.

”Я узнаю себя в Иване Ильиче”, — пишет с восхищением один советский критик, перечисляя мелкости и гнусности жизни толстовского героя. Чем виртуозней, чем подробнее в одном случае или лаконичней в другом запечатлевает художник мою сложность, похожую на сложность моего соседа, тем дороже мне его творение.

Дневная же культура воспроизводит иную общность — внутренний человек ни в коем случае не повторим и в то же время это то, чем мы не отличаемся друг от друга. Но природа внутреннего человека таинственна при всей ее простоте, потому что может существовать лишь перед лицом Истины, сама же по себе, индивидуально, она не существует и не подлечит поэтому отражению и типизации. Дневная культура не отражает жизнь внутреннего человека, а свидетельствует о ней в рамках духовного канона, свидетельствует о единстве общего и личного, единстве, обретаемом в труде собирания.

Чем старше становится ночная культура, тем сложнее и извилистей становятся пути развития ее канонов. И порой, разглядывая ее отдельные шедевры, видишь, с каким трудом она преодолевает усталость и изношенность своих канонов.

Усталость порой останавливает ее скачку, и она начинает склоняться к дневной простоте. Но тут ее подстерегает угроза арифметического свойства, угроза уменьшения числа почитателей.

Гипноз крупных чисел парализует современное сознание, оно попадает в плен иллюзий, и в идейных, мировоззренческих, эстетических спорах, казалось бы, побеждает не Истина, а арифметическая сумма.

У кого больше сторонников и почитателей, тот и прав... Но Хозяин оставил девяносто девять овец, чтобы пойти за одной, заблудшей...

Ночная культура дорожит числом, девяносто девятью, дневная же идет за одной, заблудшей. И в этом еще одно коренное их различие. "Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души, — писал И. Киреевский, — есть уже торжество для всего христианского мира, каждая сила духовная, создаваемая внутри одного человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы всего нравственного мира".

И все же ночная культура не зловещая, погибельная сила, она — часть нашего существования в мире, где есть день и ночь, свет и тьма, реальность и тень. И если она уводит человека от самого себя в подобие жизни, в игру, то исключительно из гуманных целей.

"Искусство, — писал О. Мандельштам в 1915 году, — не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником искуплен — что же остается? Ра-

достное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа!”

В этой характеристике искусства все спорно. Но можно ли спорить с поэтом, крестный путь которого был как раз следствием отказа от искусства, как игры? ”Воронежские тетради” никак не назовешь ”жмурками духа”... В России так любят стихи, сказал кто-то, что за них даже убивают. Однако же, это толкование культуры при всей его чужеродности для культуры России, весьма популярно среди защитников ночного художественного сознания.

Искусство — искус, игра, культура — арена игры, цирк, где большее количество аплодисментов выпадает тому, кто виртуознее делает сальто... Я утрирую это определение культуры, но игра ведь есть игра. А понимание культуры как игры есть профанация культуры, зачисление ее в сферу обслуживания.

Томас Манн тоже мучался этой проблемой и в ”Докторе Фаустусе” записал: ”Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии. Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией, но хочет стать познанием”.

Чем изощренней становится игра, тем более странные метаморфозы претерпевает ночное художественное сознание.

Но в результате, несмотря на всю свою сложность, оно становится конформистским и неспособным отстаивать нравственные идеалы в историческом и социальном делании.

Как же происходит эта парадоксальная ситуация, как сложность оборачивается косностью и вялостью?

Косность, вялость и конформизм сознания порождаются н и г и л и з м о м.

Христианизация Руси не только повлияла на раз-

деление ее культуры, она явным образом изменила и языческое сознание. Утрачивая богов и порождая новых, языческое сознание неизбежно шло к нигилизму. Мифологизация легко порождает нигилизм.

Но культура не может быть нигилистической по своей природе и художественное сознание не может долго питаться отрицанием. И переживая эти соблазны (отчасти в критическом реализме, в большей степени в революционно-демократической литературе), в конце XIX и начале XX века русское художественное сознание попытается возродиться, обогатившись в символизме.

Одним из стимулов к такому религиозному возрождению явилось творчество Достоевского, маята и мучение внутреннего человека от преступлений внешнего, запечатленные в его созданиях, пробудили во всей мировой культуре жажду к религиозно-нравственному обновлению. Не случайно романы Достоевского стали предметом серьезнейших исследований — и не только в русской религиозной философии.

Культурное творчество начала нашего века, часто называемое религиозным ренессансом, характерно повышенным интересом к Церкви. Но интерес этот проявляется утилитарно: создатели культуры снова вопрошают у Церкви: "ждать ли нам другого?", и нельзя ли придать Христу те черты, которые оживили бы самую культуру? "Религиозное возрождение, — пишет Н. Бердяев в "Самопознании", — было христианообразным, обсуждались христианские темы и употреблялась христианская терминология. Но был сильный элемент языческого возрождения, дух эллинский был сильнее библейского мессианского духа. В известный момент произошло смещение раз-

ных духовных течений”. Одни совопросники, не дождавшись ответа, а другие — пренебрегая им, придают Христу те черты, которые им нужны в художественных целях, называя это новым прочтением старых смыслов.

И все повторяется: ночная культура снова становится языческой. Начинаются интенсивные поиски богов. ”Восторги оргийности”, ”дионисийские экстазы”, описанные Вячеславом Ивановым в его теоретических работах о символизме, естественно вытекают из ”богоборческого почина”. Только это — не богоборчество Иова, а распри и соперничество с богами.

Ночная, темная, богоборческая стихийность, мистическая эротика, пытаясь слиться с христианской тематикой, растворяет ее в себе и надолго гипнотизирует русское художественное сознание, доньше гипнотизирует.

Аллегии, иносказания выдаются за смыслы, изысканность видения земных ракурсов — за мистику, вечный соблазн сбрасывания покровов все чаще подводит: за первыми снятыми покровами обнаруживаются бездны, которые кажутся родниками.

Блок в стихотворении ”К Музе” воспроизвел этот кризис ночного художественного сознания начала XX века. Муза, что смеется над верой, мучает, становится ”мученьем и адом”, но желанна, у нее просит утешения поэт и роковую отраду видит в ”попираньи заветных святынь”, а за это награда: ”безумная сердцу услада — эта горькая страсть, как полынь!”

Пройдет почти 60 лет со времени написания этих стихов, и Н. Коржавин с горечью засвидетельствует в своей статье ”Игра с дьяволом” силу ”роковой отрады”, что дает эта муза в попиранье заветных святынь, засвидетельствует живучесть этого типа ху-

дожественного сознания: "Нетрудно догадаться, — пишет Н. Коржавин, — что сам факт насмешки этой музы над верой нисколько эту музу в моих глазах не компрометировал. За этим словом для меня вставало нечто косное и темное, то есть такое, над чем и следовало смеяться любой уважающей себя музе".

Статья эта интересна не только как своеобразная исповедь "сына века", постигающего незнакомые доселе ему величины, но и как фиксация специфики ходов конформистского художественного сознания.

Но не столь прост, конечно, путь развития того стереотипа сознания, который я бегло очерчиваю здесь. От язычества и человекобожества к нигилизму и обратно — от нигилизма к язычеству и снова к нигилизму. От этих "вех" идут разные дороги, но ясно одно: куда бы они ни вели, если они уводят от дневной умной культуры, художественное сознание становится конформистским.

Конформистское сознание в том виде, в каком оно предстает сегодня, это — декадентское сознание уставшего знатока, художественного "образованца" (термин, найденный Солженицыным, оказывается очень вместительным, когда речь идет о вере в мнимые величины, формирующие "образованщину" как качество сознания).

Косность сознания знатока особенно неподвижна, ибо укреплена традициями, стадным чувством, тоже воспитанным традицией, властью числа.

И потому сознанию знатока присущи интеллигентский индифферентизм, усталость, скептицизм, а значит, в конечном счете, и нигилизм: все уже было, к чему же так горячиться?!

К счастью, "Архипелаг ГУЛаг" А. Солженицына взорвал это сознание. К счастью, потому что в сознании этом отразилось поражение России и не только отразилось, но и узаконилось. И узаконилось поражение русской культуры, ее уход со сцены истории на задворки.

Я не могу сказать, что с появлением этой книги ночное художественное сознание прекратило свою жизнь — это было бы неправдой. Оно именно взорвано, ибо книга эта, помимо всех прочих заслуг перед Россией и миром, воочию убеждает, к чему приводит человека безбожное существование, что сделала с ним культура, уговаривая его, с тех пор, как она ушла из Церкви, в том, что он "звучит гордо". Когда убивают Бога, платят за это Архипелагом...

Да, так оно и есть, все связано теснейшими узами и все за всё в ответе и, если внушать человеку, что Бога нет, что он, человек, произошел от обезьяны, он однажды поверит — и эта вера может превратить его в обезьяну. Тогда из-за куска хлеба он убьет себе подобного и через недолгое время создаст ГУЛаг. Он будет называть это, как ему заблагорассудится: «классовой борьбой или гуманизмом», но это будет убийством и самоубийством.

Отныне, после этой книги, русский писатель не может надеяться на то, что созданное им послужит человеку и обществу на пользу, если он не учитывает опыт, запечатленный в "Архипелаге ГУЛаг". Ибо это опыт не частный, а всечеловеческий, совсем не случайно реализовавшийся на нашей многострадальной земле. Реализовавшийся в результате — это надо

обязательно помнить — работы над человеком и его сознанием секулярной ночной культуры.

Я нарочито обостряю эту мысль о связи воли к убийству, лжи и насилию с культурой, но после "Архипелага", эта, совсем не новая, мысль звучит с новой определенностью.

Конечно, было бы легкомыслием полагать, что осколки ночного сознания не будут стремиться друг к другу, чтобы вновь образовать целое. Будут — и возможно интенсивней, чем прежде, они потребуют творчества*, которое должно будет укреплять подтачиваемую трагическим опытом нашей истории идею человекобожества в культуре, будут требовать они, по-видимому, наркотической власти "дионисийских восторгов", ложного мистицизма, "эпилептического безумия" и прочих средств, чтобы забыть то, что засвидетельствовано в "Архипелаге ГУЛаг". Ибо, если помнить, значит надо возвращаться.

* Так, в статье "Судьба христианской культуры" Е. Барабанов, утверждая, что "христианство хиреет", "мельчает не случайно, а вполне закономерно" (ни одна, кстати сказать, атеистическая статья не обходится без таких утверждений), что Предание "выродилось у нас" и мы превратили его в "магический круг", что Церковь будто бы приняла секулярную культуру, признала ее правду и даже приспособилась к ее власти, призывает к творчеству. О каком же творчестве идет здесь речь? Е. Барабанов звет к "глубокому преобразованию самих оснований (не больше, не меньше. — З. К.) нашего христианского мироотношения". Тогда мы сможем, полагает он, найти новые слова, чтобы "заклясть демонов нашей эпохи". Предание, дескать, устарело для заклинания или мы им неправильно "заклинаем"... Все эти призывы связаны у автора с его неприятием средневекового церковного сознания. Но такой опасности не существует для плененной русской Церкви.

Возвращаться к дневной культуре, к вести о спасении и к мысли о возможности спасения.

А это значит — возвращаться к проповеди.

Литература — как амвон, как проповедническая деятельность, как миссионерское служение — эти качества были присущи русской литературе, той ее части, что рождалась из духовных канонов дневной культуры.

Она и раньше была презираема и гонима, эта проповедническая литература, гонима и властями, но чаще теми, к кому взывала.

Профетизм, обнаженность мысли и нищета форм отпугивали от нее.

Так отпугнул русское общество Гоголь, дерзнувший бросить ему высокий упрек, позволивший себе проповедь в "Выбранных местах из переписки с друзьями".

"Наши критики смотрят на Гоголя, — писал Вяземский, — как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи"...

История с "Выбранными местами" — типичная российская история, и потому спор об этой книге не может иссякнуть.

Это — спор о назначении литературы в России, о праве ее на религиозную проповедь. "Я был гражданином земли своей и хотел служить ей, — писал Гоголь, — а для того, чтобы истинно честно служить России, нужно иметь много любви к ней, которая поглотила бы уже все другие чувства, нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином, во всем смысле этого слова".

Русское общество, соблазненное уже в ту пору нигилизмом в лице тех, кто взял на себя обязанность выражать "дух общества", не могло признать за Гоголем право на поучение.

А Гоголь до самой смерти отстаивал это право. В "Авторской исповеди" он писал: "Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творение свое в поучение людей... Нужно, чтобы в сознании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за научение себя научением его".

Таким наученьем века для русской литературы была религиозная проповедь, хотя слышалась она не всегда с одинаковой силой.

А когда пресеклась — разверзся архипелаг ГУЛаг...

С тех пор, как пресеклась проповедь, изменилась и русская идея. В речи о Пушкине Достоевский вопрошал у русского общества, надеясь на несомненный для него ответ: можно ли возвести "здание судьбы человеческой", если для этого "надо замучить одно человеческое существо", пусть смешное существо, "не Шекспира какого-нибудь", а "просто честного старика", — "опозорить, замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести наше здание!"

Прошло не так уж много лет — и была совершена в России попытка "возвести здание судьбы человеческой". И для этого прежде всего замучали миллионы исповедников веры Христовой, а вместе с ними и всех, кто попадался под руку...

"Бездомный скиталец", искатель мировой гармонии, воспетый Пушкиным и выразивший в своей судьбе русскую идею, ушел со сцены русской культуры. На его место взошли другие. Буржуа и узник. И

та русская коммунитарность, которую отмечал Н. Бердяев в "Русской идее", раскололась: есть коммунитарность буржуа и коммунитарность узников. И странничество, связанное с эсхатологическим русским сознанием, изменилось, теперь странник — это блудный сын, слепой в стране слепых, глухой в стране глухих, к которому возвращается память, зрение и слух. Но стать всечеловеком, по Достоевскому, русский страдалец сможет, видно, только тогда, когда он осознает себя блудным сыном.

Прав Г. Федотов, сказавший, что "наш век сделал наивным все, что писал о России XIX век".

Трагически упростилась и высветлилась русская идея. И границы меж двумя этими типами, буржуа и узником, характерными для русской судьбы XX века, столь же подвижны, как и меж двумя Россиями.

Эта подвижность и временность разделения и позволяет особо уповать на действие проповеднической миссии культуры.

Потому ее главной задачей вновь становится утверждение идеи собирания.

Но для этого ей нужно возвратиться в Отчий дом.

Путь этот невероятно сложен, ибо прервалась преемственность с тех пор, как пресекалась христианская проповедь в культуре. Но, как уже говорилось, духовные каноны дневной, умной культуры активны по влиянию на мир.

Понятно, что главная сложность этого пути — в преодолении ночного художественного сознания. Декадентского сознания. Нигилистического сознания. Сознания знатока, не желающего расставаться с именем своим.

Мы слишком много потеряли, почти все потеряли, как тот самый блудный сын, промотавший наследст-

во отца. Как вернуть утраченное, если не проповедью, как собрать рассеянное, если литература безмолвствует или лжет?

Но здесь у каждого знатока свои резоны. Конечно, уверен знаток, проповедовать куда легче, чем изображать, а указывать проще, чем показывать. Однако же, пояснит он, искусство и литература не указывают, не предписывают, а внушают. И для этого существуют свои средства, своя эстетика, на которую человечество затратило века. Как быть с ней, разве проповедь вместится в эту эстетику, или она требует с в о и х художественных законов?

5

Но прежде, чем перейти к последней теме моих заметок, я вынуждена несколько отвлечься и разобрать "теорию таланта художника", которая, как мне кажется, поможет понять некоторые проблемы эстетики дневной и ночной культур.

Эта "теория" содержит в себе ряд основополагающих положений, распространенных со времен Просвещения в "учениях" об искусстве и литературе.

Для изложения и разбора ее я воспользуюсь книгой Абрама Терца "В тени Гоголя". Здесь теория эта не только описана, но и продемонстрирована в самой плоти словотворчества.

Концепция А. Терца неоригинальна: христианство погубило Гоголя. Как человека и как художника. Эта мысль старая, ее высказал в свое время Белинский и в парламентских выражениях и в брани: "проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия!"

А. Терц не скрывает своей преемственности с Белинским. "Мы привыкли думать, — признается он, — что Гоголя погубила религия, по вине которой он оторвался от литературы, впал в мистицизм и т. д.

С тех пор, как революционно-демократическая критика сделала это открытие, время продвинулось на столетие. То, над чем мучался Гоголь, в чем принес публично покаяние и о чем рассказал русскому обществу в "Выбранных местах", стало трагической темой в русской культуре.

После Достоевского русская литература не могла и не может испытывать презрение к пророчествам Гоголя, тем более, что история России побуждает возвращаться к ним снова и снова.

И тем не менее косность и конформизм художественного сознания охраняют уже однажды приобретенное. И первое, чем пользуются для охраны этого, — дискриминация.

Дискриминация направлена, как правило, в одну и ту же мишень: дискредитируется идея, но под видом "несовершенства" ее изложения.

Так, автор "Выбранных мест" объявляется полутрупом, последнюю свою книгу, по свидетельству А. Терца, он "пишет на грани издыхания".

"Эти колоссальные планы (речь идет о втором томе "Мертвых душ") кишат в голове уже полутрупа, — объясняет А. Терц, — и потому они и зародились, и появились на свет, эти планы, что составитель их уже умирал, продолжительно, бесцеремонно, не испытывая никакого подъема, находясь уже в стадии безобразного распада, маразма".

Дискриминация непременно нарушает "презумпцию невиновности" и поэтому, скажем, если дискредитируется идея, то менее отважные ее ниспроверга-

тели непременно выражают ей недоверие. Если нужно, к примеру, какому-нибудь советскому литературоведу доказать, что Достоевский в Бога не верил, то "доказывается" это следующим образом: "Достоевский в Бога не верил, это видно из его сочинений" — и цитируется Иван Карамазов. Или о Гоголе: "поддельными добродетелями" называет А. Терц призывы Гоголя к нравственному возрождению человека, мысли о смерти и вине перед Россией трактуется как фарс: "По дороге на кладбище, навостывая упущенное, Гоголь, громко охая, соскакивает с автобуса и становясь в центре арены, чтобы всей России давить на психику своим авторитетом и саном раскаявшегося писателя и здесь же, не отходя от кассы, дирижировать своей панихидой".

Интересно наблюдать за стилем изложения своих идей Терцом, он органичен его "теории таланта": слово обладает ничем не стесненной "свободой", разнузданность и блуд словом выдаются за иррациональность...

Дискриминация идеи предполагает также и свою интерпретацию этой же идеи.

Подозревая Гоголя в лжи и подлости, Терц защищает христианство от Гоголя. Терц уверен, что Гоголь лжет, когда говорит: "Дело мое — душа и прочное дело жизни". Это есть решение утилитарной задачи, — утверждает Терц, — Гоголь печется о своей выгоде. Но и этого мало, Гоголь — "проповедник, сжигающий за собой мосты, — по мнению Терца, — претендует на неземное владычество", решает "уподобить себя Тому, Кто пришел как залог человеческого единения с Богом" и потому, — делает вывод Терц, — "прочное дело жизни зияло открытой могилой" и т. д. и т. п.

Здесь мы вновь встречаемся не только с обскурантизмом знатока, но и со знакомым признаком такого сознания — со стремлением приспособить Христа к своему имени. Преемственность с Белинским и здесь налицо. Когда-то ведь и Белинский защищал Христа от Гоголя и от... Церкви: "Но Христа-то зачем вы примешали тут?.. Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства, и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии... Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти Его и кость от костей Его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные".

Талант Гоголя, — уговаривает Терц, — разрушается, гибнет, маразмизирует и, наконец, смердит. Отчего же? От рационализма: если дело с литературой застопорится, — объясняет Терц, — не выйти ли теперь с голым словом проповеди? Но как же застопорилось "дело с литературой" и как "голое слово проповеди" разрушило талант художника, Терц объясняет подробнее уже в конце книги. А пока на протяжении многих десятков страниц он демонстрирует фокус: "раздевает" Гоголя и сам объясняет свой метод раздевания персонажа книги: "... иные писатели испытывают чувство вражды и гадливости к отделившимся от них воплощениям, в котором временами проскальзывает неназванная боязнь за себя перед этими плодами фантазии и услужливого ис-

куства, от которых они с таким трудом отвязались...”

Это, так сказать, ”кухня” ночного художественного сознания, рецептура метода отражения.

Можно подумать, что рецептура подсказана Гоголем. В главе ”Четыре письма к разным лицам по поводу ”Мертвых душ” Гоголь пишет о своем методе и целях изображения человеческих пороков. Пишет, казалось бы, о том же самом, но с другим знаком. Не ”боязнь за себя”, как полагает А. Терц, побуждает художника бичевать пороки, испытывая к ним отвращение, а ”желание быть лучшим”. ”...по мере того, как они (дурные качества. — З. К.) стали открываться, — писал Гоголь, — чудным, высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них...” А дальше Гоголь отвечает на вопрос: ”почему не представлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей? Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам, хоть сколько-нибудь, на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоеешь силою в душу несколько добрых качеств, — мертвечиной будет все, что ни напишет перо твое и, как земля от неба, будет далеко от правды”.

Здесь — личная драма писателя, но она-то и вызывает отвращение у его критика. Именно этот ”рационализм” мерзок Терцу в Гоголе: ”...причуды... сообщают облику Гоголя сходство с каким-то насекомым, не допускающим нас до контакта с собою и подчиненным заказанной нам, жуткой целесообразности. Словно, прости Господи, какой-нибудь тарантул, Гоголь живет внеположенными нашему разуму и морали (разрядка моя. — З. К.) соображениями, озабоченный своими личинками, своей глу-

бокой норой, распространяя вокруг атмосферу удушливой отчужденности". И еще: "практикуемое в духе христианской аскетики самовоспитание обставлялось у него настолько отталкивающими подробностями, что право было бы нравственной не пытаться ему делаться лучше (разрядка моя. — З. К.). Здесь сказывался опять-таки рациональный подход к заданию: духовные суммы складывались, как капитал в кубышку".

Принимаясь за суждения о христианском мироощущении Гоголя, его критику не мешало бы знать основы этого мироощущения, как и в свое время Белинскому следовало знать о связи Христа с Его Церковью, чтобы размышлять об этом. Иначе получается конфуз: А. Терц берется судить о "внеположенном его разуму и морали", сам признаваясь в этом.

"Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как денежный, чиновный и временный, приобретает почти одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом" (Из беседы преп. Серафима Саровского с Мотовиловым).

Из суждений А. Терца постепенно выстраивается "теория таланта": жуткая целесообразность попытки быть лучшим, а значит, и порывы к покаянию, стяжание "духовных сумм" — все это противоречит искусству.

Что же органично ему? Что так дорого хулителям Гоголя в имени его, с которым он расстался такой ценой?

"О, я верю, — восклицает Терц, — искусство спасется, не художник — искусство. Выйдя сухим из воды, никому не задолжав. Просто будучи собою, пре-

бывая в собственном свете, допуская в виде милости на себя любоваться”.

Что же такое ”собственный свет” искусства? Магия, — объясняет Терц. Колдовство — первооснова, первопричина искусства. Так и сам А. Терц колдует над Гоголем, шаманствует над его могилой, повторяя одни и те же заклинания (”иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии” и т. д., и т. п.).

Искусство — языческое действо, и когда художник отказывается от того, от чего отказался Гоголь, от лицезрения ”языческих мифов и демонов в собственной душе”, возбуждавшего в авторе ”пронзительное, бесовски-сладкое” чувство (разрядка моя. — З.К.), и когда он, Гоголь, ”был достигнут и взят под контроль христианским вероучением, наложившем на мирозерцание Гоголя узду рационализма”, искусство исчезло, как дым. Ведь Гоголь, как полагает Терц, был более религиозен в тех созданиях, которые возникали из ”языческой изобразительной магии”.

И, наконец, вывод, завершающий теорию таланта русского художника: ”Только с языческими демонами спасется русское искусство”. Христианство, стало быть, губит его.

Художник, отказавшийся играть с дьяволом, становится мертвецом.

6

Надо отдать должное А. Терцу — теория таланта, как ”пронзительного, бесовски-сладкого чувства”, изложена им нелицеприятно и с достаточной полно-

той. Многочисленные ее апологеты не столь отчаянно утверждают эту необходимость отпадения художественного слова от Слова, необходимость отречения тайного или явного.

Альтернатива, возникающая перед художником — творить ли "из ничего", подобно Богу ("будете, как боги", — сказал змий), или относиться к художеству, как к рассматриванию уже сотворенного Богом, "ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы..." (Рим. 1, 20), при выборе одного из путей определяет и замысел художника и его воплощение.

Колдовство, волхование, бесовски-сладкое чувство, пробуждаемые "лицезрением языческих мифов и демонов в собственной душе", имеют определенную цель — извлечь демонов из собственной души. Колдовство есть демонстрация своей силы, добровольно сопряженной с демонской силой. Добровольно — во имя искусства. Восхождением в иные сферы и нисхождением художника в процессе творения "из ничего" управляет лицезрение демонов, они могут и мучать, но отказаться от них, значит погубить талант. Следовательно, надо сжиться с ними и использовать их. Да, художник, побуждаемый бесовски-сладким чувством, испытывает муки творчества еще и для того, чтобы поделиться демонами, приобщить к ним другого. Но вот здесь-то и возникает одно роковое обстоятельство. Дьявол разъединяет.

Разъединяет дьявол и тогда, когда кажется, что другой уже приобщен к сладко-бесовскому чувству, оно перелилось в того, кому искусство позволяет "в виде милости на себя любоваться".

Вот как свидетельствует Блок в "Пушкинской речи" о неизбежности "эстетики разделения".

Гармония рождается из безначального хаоса, говорит он. "Чем больше поднято покровов, чем напряженной приобщение к хаосу, тем труднее рождение звука — тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует человеческий слух". Но каковы же сущности, с которых сняты покровы, что найдено, что родилось из безначального хаоса и для чего, наконец, родился этот неотступный протяжный звук? Ясная форма служит не для того, уточняет Блок, "чтобы достучаться непременно до всех олухов", скорее, приобретенная гармония производит отбор между людьми с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое из "груды человеческого шлака".

Гармония "оборачивается" энтропией.

Колдовство и волхование, "напряженное приобщение к хаосу" творит и свою метафизику. Это не личностное приобщение к единой Истине, познаваемой метафизически, а именно собственная метафизика. И она становится часто почвой для эстетики в ночной культуре.

"Метафизика красного автомобиля" — так хотелось бы мне обозначить это явление. У Фолкнера в романе "Шум и ярость" есть мастерски написанное переживание героя в связи с красным автомобилем. Он становится символом, наполненным автономным метафизическим содержанием.

Символ порождает атмосферу напряженного переживания, но волны этого напряжения слишком коротки и, погрузившись в них, ты не чувствуешь не только ожога, но даже и тепла. Может быть, радостное удивление, подобное тому, что испытываешь, когда акробаты, только что висевшие под куполом цир-

ка, приклеившись пяткой к проволоке, оказываются живы и теперь кланяются тебе.

Трюк удался, ты был взволнован, даже потрясен этим чудом, но чуда нет, есть виртуозность.

Автономность, самостоятельность слова, "самостоятельность метафизики" сложили свои эстетические стандарты в ночной художественной культуре. Стандартами они стали по мере старения секулярной культуры, кумулятивность и накопительство в культуре ведут к изошрению ее эстетики, с одной стороны, и — с другой — неизбежно стандартизируют ее.

Эстетическое прельщение, эстетический гедонизм диктовали свои особые запросы культуре.

Со зрелостью ночная культура утрачивает непосредственность и незащищенность смыслов и приобретает жесткость и беспощадность анализа эмпирической реальности.

Россия получила это в наследство от Запада уже в наши дни. Психологические открытия, сделанные русскими гениями в словесности прошлого века, вернулись к нам теперь в трансформированном — современном — виде: отточенный психологизм, жесткая фиксация состояния души и немотствование по поводу проклятых вопросов: для чего, зачем, почему? Западное художественное сознание поставляло в Россию плоды такой "метафизики эмпирии". Хемингуэй и Ремарк стали любимыми писателями у нас на целые десятилетия и породили поток подражателей.

Основным "строительным материалом" для таких стандартов является двусмысленное слово. Слово, отпавшее от Слова, — лукавое, сложное слово ищет изысканной одежды. Для этого двусмысленное слово "оборачивается" символом. Возникает спекуляция символами. Так, именно двусмысленность и спе-

куляция "на теме" превращает рок-оперу "Иисус Христос — супер-звезда" в безвкусную пародию на евангельскую историю при всей изощренности современных эстетических средств, воплощающих эту пародию. Спекуляция символами и спекуляция смыслами связаны между собой прочными связями.

Но спекуляция смыслами все же как бы вторична, производна. Возникает она тогда, когда в традициях секулярной культуры укореняется мифотворческая стихия. Забвение или отказ от смыслов, причастных Истине, — результат не только измены, но и стыда.

Люди начали стыдиться Бога, с тех пор как вкусили от древа познания добра и зла, тогда они и получили "кожаные ризы". "Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный" (Лк. 5, 8).

Знает такой стыд и ночная культура. Иллюзия "хрупкости" смыслов требует их защиты, но защита со временем подменяет собой сами смыслы. От чрезмерной защиты возникает мнимая символика.

Люди скрываются от Бога, оттого и культуру свою хотят сделать автономной. Это живет в нас грех ветхого Адама и расплата за него.

Кожаные ризы скрыли внутреннего человека, но с приходом Христа во плоти внутренний человек обнажился. Христос не скрывал Себя и нас учит этому. И говорит п р и т о ч н ы м языком. Не затем, чтобы укрывать смыслы, а обнажить, чтобы "вместили" их и "удержали".

Двусмысленное лукавое слово стремится передать новизны. Дневная культура принципиально не ставит своей целью открытия, для нее нет таких категорий. "Истинный художник хочет не своего, во что бы то ни стало, — писал о. П. Флоренский в "Иконостае", — а прекрасного, т. е. художественно воп-

лощенной истины вещей, и вовсе не занят мелочным самолюбивым вопросом, первым или сотым говорит он об истине". Понятно, что истина вещей никак не автономна и не может существовать вне Истины.

По мере того, как в культуре, ушедшей из Церкви, внутренний человек уступал место внешнему, по мере того, как русская литература отходила все дальше от своего начала, от житийной литературы, все определенной различались эстетика дневной и ночной культур. Менялось не только "что", менялось, естественно, и "как". И все же "что" менялось гораздо меньше, да иначе и быть не может, так как обе литературы всегда занимались одним и тем же: жизнью и смертью, добром и злом, преступлением и наказанием. И там и там было символическое и стилистическое единство и обе литературы пользовались условным словом, но слово как бы произносилось на разных языках.

Слово ночной культуры тяготело к сложным формам воплощения, слово дневной, напротив, искало простых и открытых средств.

Наш Бог — простое Существо, — сформулировал известную святоотеческую мысль о. Иоанн Кронштадтский в своих дневниках. "Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, нам ни одного", — говорил Оптинский старец Амвросий, а иногда добавлял: где нет простоты, там одна пустота.

Но не об упрощенности речь идет, повторяю, а о простоте. Упрощенность есть порождение сложности. Самая высокая, непостижимая мысль может быть простой. Бог есть Любовь, что может быть проще этой мысли? Отцы Церкви просили в своих молитвах этой простоты мысли: "Мысль мою Твоим смирением сохрани..."

Бог — прост, прост и внутренний человек, внешний же сложен. Чем ближе человек Богу, тем проще он, чем дальше, тем сложнее. Чем сложнее, тем активнее ищет и создает адекватную себе сложность в культуре. И тем больше гордится, когда ему внятна эта сложность.

Вопрос, заданный Достоевским о "здании судьбы человеческой" в Пушкинской речи, — это вопрос, разъясняющий не только смысл существования человека, но и смысл культуры.

Смысл этот выражается в идее любви. Творение писателя или художника это — акт любви, милости, снисхождения к другому во имя его спасения.

Любовь не боится назидать, быть дидактичной (всех, кто боится этих слов, я отсылаю к Далю, в его словаре сказано, что назидать значит учить, научать, давать духовные или нравственные наставления. К сожалению, эти слова получили отрицательный смысл в ночном художественном сознании).

Назидательно и дидактично евангельское слово, святоотеческое слово. Оно раздражает ночное художественное сознание, и кажется ему юродством и безвкусицей. Но и это понятно: "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть..." (1 Кор. 1, 18).

Ночное художественное сознание боится морализма, но и дневная культура бежит его, ее духовные каноны, как и все, что берет свое начало в Церкви, никак не моралистично. Морализм Толстого был результатом его отречения от Церкви.

Дневная умная культура всегда дидактична, учительна, цель ее — научить спасению. Меняется лишь сила и краски дидактического слова в зависимости от палитры. Достоевский вводит для назидания все монологи и записи Зосимы в роман "Братья Карама-

зовы". Или дает нарочито дидактическое название роману: "Преступление и наказание", чтобы избежать двусмысленного толкования его идеи. Его романы вообще повествуют о преступлении и наказании и полны проповеднического назидания, воплощенного в многообразных формах. Даже тогда, когда сам смысл изображаемого Достоевским открыто назидателен, писатель дает как бы специальную "подсветку" эпизоду, сцене или образу. Так в сцене чтения Соней и Раскольниковым Евангелия, когда прочитано уже о воскресении Лазаря, когда переданы волнения Сони и горячие мечты ее о том, что Раскольников уверует, Достоевский заканчивает сцену, казалось бы, объяснением того, что он уже изобразил в самой сцене. Но это — не объяснительство, и не прямолинейность, это воплощение смысла, сопряженного с замыслом всего романа, с его течением предыдущим и последующим. А, может, ради этой сцены и написан был роман!

"Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги". Слова, поставленные мной в разрядку, открыто назидательны, прекрасно назидательны и в то же время насыщены высокой поэтичностью, благодаря причастности к смыслу проповедуемого.

Обнаженность, простота, однозначность многозначного символа в данном контексте — вот характерные черты поэтики назидания.

Иван Карамазов после убийства отца приходит в третий раз к Смердякову и тот, наконец, говорит "всё" Ивану: "вы тогда смелы были, "всё, дескать, позволено" говорили-с, а теперь вот так испугались!"

и кивает снова на пачки с деньгами. Иван пугается, что Смердяков хочет позвать Марью Кондратьевну и та увидит деньги. И он берет со стола "толстую желтую книгу" и "придавливает" ею деньги. "Название книги было: "Святого отца нашего Исаака Сирина слова".

Смердяков читает эту книгу, она — единственная у него в комнате. Книга придавливает деньги убитого отца (и слово-то "придавливает" неслучайное), Смердяков рассказывает Ивану историю убийства, Иван сходит с ума, а Смердяков кончает с собой. Малая деталь — название книги величайшего подвижника, Отца Церкви Исаака Сирина — озаряет всю эту сцену особым светом.

Но поэтика назидания отнюдь не однообразна: простота не есть примитивность, а обнаженность — не объяснительство, и не риторика.

В поэме А. К. Толстого "Иоанн Дамаскин" поэтика назидания наполнена патетическим лиризмом и передает не только поэтическую взволнованность от прикосновения к святости, но и показывает ее как конкретную реальность.

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса

.
О, если бы мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если бы мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья
И всю природу заключить!

А в "Божественных гимнах" Симеона Нового Божеслова проповедь любви и назидание воплощаются в глубочайших символических образах, вскрывающих сердцевину смыслов, которые свидетельствуют о человеческой укорененности в Боге и о близости Бога к человеку.

Вот классический пример проповеди — "Сон смешного человека" Достоевского. Написан он был за четыре года до смерти, уже после знаменитых романов, но в рассказе этом повторилась в простейшей форме вся философия жизни Достоевского. Повторилась на сей раз почти бессюжетно, в бесхитростном повествовании, наивно-косноязычной речи смешного человека, безумца, юродивого. "Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде".

Некий "современный русский прогрессист и гнусный петербуржец", гордец, уставший от всего и в том числе и от гордости своей, совершив последнюю подлость — оттолкнув от себя ребенка, просившего помощи, решает умереть. Не успев выстрелить в себя, он странным образом (рассказ-то ведь и назван фантастическим), во сне переживает смерть свою, погребение, воскресение и гибельный ужас греха.

Чудак этот, сумасшедший, переживает во сне всю историю человечества. Ну можно ли в нее поверить?

Проповедь не учитывает в своей поэтике и эстетике возможность недоверия к ней. В ней может быть лишь указано на то, что есть люди, которые, по несчастью своему, могут не поверить рассказанному, но доказательств — художественных, философских, богословских — убедительности проповедь никогда не предъявляет. Это — особый художественный

мир, лишенный и психологического "подобия". Творчество Достоевского, все, с начала до конца, игнорирует такое подобие (другое дело, что некоторые современные исследователи писателя, бытийственные, онтологические аспекты его антропологического анализа называют психологией).

Вместо доказательств проповедь в искусстве и литературе передает концептуальную четкость замысла в описании переживаний внутреннего человека, его духовных состояний, прозрений, духовного знания. Оно может быть выражено весьма скудными средствами, как и в этом наивно-обнаженном рассказе Достоевского.

Энергия мысли, взаимосочетаясь с чистотой вероисповедного чувства, выстраивает и композицию, и сюжет, и стиль, подчиняя их себе, подобно тому, как течение вешних вод пробивает себе русло и укладывает берега. Слова расступаются в смятении от напора мысли и порой становятся в неуклюжие, неловкие позы, собираясь во взволнованные и причудливые группы. И как в немощной плоти человеческой может совершаться сила, так и в немощной словесной ткани дышит духовная энергия.

"Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября", — ничуть не стыдясь нелепости своего признания, говорит смешной человек. Он совершенно не заботится ни о правдоподобии, ни об антураже всего свидетельствования. Этот чудак рассказывает, как он растлил целую планету "невинных и прекрасных людей".

"Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту

лжи". Он хотел погибнуть за них на кресте, но они объявили его юродивым и решили засадить в сумасшедший дом...

Так завершилась эта банальная история. Но, как ни странно, испытывая невероятные страдания из-за своего преступления, герой больше не захотел стреляться. Катастрофическое сознание этого чудака преодолевает отчаяние, преодолевает оно и насмешки знатков. "И когда я открыл им, что может быть в самом деле так было, — Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье!"

"О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и возвал к вечной истине; не возвал, а заплакал... Да, жизнь и — проповедь!.. Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу! И вот с тех пор я и проповедую. Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных".

Эстетика проповеди в русской дневной культуре чрезвычайно многообразна. В мою задачу никак не вмещается опись ее арсенала.

Возможно, что основным принципом воплощения в дневной культуре станет и впредь истощание, умаление, аскетизм художественных средств для того, чтобы избежать лукавства, двусмысленности и научить внимать Истине. Возможно, отчетливая концептуальность, синтез умозрений и художественных откровений потребует нового качества простоты в воплощении, мы можем только гадать об этом — это зависит, повторяю, от палитры художника.

...Но пора нам вернуться к началу пути. Как же быть с теми, кто рассеян, "как овцы, не имеющие пастыря"? Пусть усовершенствуют Архипелаг и ро-

ют новые острова его, где наши отцы и наши дети будут умирать без причастия?

Но это невозможно. И поэтому-то нет иного пути у блудного сына, кроме одного единственного пути — к Отцу.

Что же он делает, когда возвращается? ”Сын же сказал ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим” (Лк. 15, 21).

Прежде всего он приносит покаяние и призывает к нему, и это не разрушает искусства, как думают противники Гоголя и Достоевского, а очищает, меняя смысл и природу его бытия.

Затем вернувшийся сын приобщается к богатству отца. Богатства эти сохранила Православная Церковь — там есть, чему поучиться блудному сыну, — могучая и многообразная эстетика ее культуры в великолепии и простоте открывает ему свои богатства: создатели их были поэтами, художниками, зодчими и проповедь их пережила столетия.

Возможно ли это? Человекам это невозможно, Богу же все возможно.

”...итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою”.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Григорий архиеп. Фессалоникийский П а л а м а . Омилия 37	7
--	---

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Архимандрит С п и р и д о н . Из виденного и пережитого	20
--	----

Три сочинения в Бозе почившего Оптинского старца иеросхимонаха А м в р о с и я	68
---	----

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО

Письма преосвященного Ф е о ф а н а З а т в о р н и к а к присяжному поверенному М.Р.Корякину из Задонска	91
---	----

Свящ. Валентин С в е н ц и й к и й . Шесть чтений о Таинстве покаяния в его истории	105
--	-----

Свящ. Александр Ш м е м а н . Таинство крещения	179
--	-----

РУССКИЕ СУДЬБЫ. Литература. Свидетельства.
Проблемы культуры

С . И . Ф у д е л ь . У стен церкви. Материалы и воспоминания	214
Н . М а р ь и н . Из книги „Звездная светлынь”. Стихотворения	376
З . К р а х м а л ь н и к о в а . Возвращение блудного сына. Заметки неопита	383